АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ЖУРНАЛ ОСНОВАН В 1952 ГОДУ

ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД

1

ЯНВАРЬ — ФЕВРАЛЬ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»
МОСКВА — 1975

СОДЕРЖАНИЕ

В. З. Панфилов (Москва). Язык, мышление, культура 3

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

Н. З. Гаджиева (Москва). Задачи и методы тюркской ареальной лингвистики 13
Б. М. Задорожный (Львов). История языка и экстралингвистические факторы 27
В. Г. Адмони (Ленинград). Статус обобщенного грамматического значения в системе языка 39

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

К. С. Горбачевич (Ленинград). Вариантность слова как лексико-грамматический феномен 55
Г. Ф. Благова (Москва). О типах и структурных разновидностях падежного склонения в тюркских языках 65
В. Е. Щетинкин (Новосибирск). Эволюция временной системы индикатива от латыни к французскому языку 81
Н. А. Баскаков (Москва). Происхождение форм повелительно-желательного наклонения в тюркских языках 91

ИЗ ИСТОРИИ НАУКИ

Д. С. Чантуришвили (Тбилиси). Из истории двуязычной лексикографии 104

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Обзоры

Н. М. Терещенко (Ленинград). Основные проблемы изучения самодийских языков 111
И. Блашкович (Прага). Тюркологические исследования в Чехословакии 122

Рецензии

Ф. П. Сороколетов (Ленинград). «Словник української мови» 127
О. Н. Трубачев (Москва). *В. И. Абаев.* Историко-этимологический словарь осетинского языка 131
А. Н. Кононов (Ленинград). *S. Kakuk.* Recherches sur l'historie de la langue osmanlie des XVIe et XVIIe siècles. Les éléments osmanlis de la langue hongroise 135
П. А. Дмитриев (Ленинград). «Хрестоматия по истории русского языкознания» 139

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Хроникальные заметки 144

РЕДКОЛЛЕГИЯ:

О. С. Ахманова, Р. А. Будагов, А. В. Десницкая, Ю. Д. Дешериев, Г. А Климов (отв. секретарь редакции), *В. З. Панфилов* (зам. главного редактора), *Б. А. Серебренников, В. М. Солнцев* (зам. главного редактора), *О. Н. Трубачев, Ф. П. Филин* (главный редактор), *В. Н. Ярцева*

Адрес редакции: 103031 Москва, К-31, Кузнецкий мост, д. 9/10. Тел. 228-75-55

© Издательство «Наука»,
«Вопросы языкознания», 1975 г.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 1 1975

В. З. ПАНФИЛОВ

ЯЗЫК, МЫШЛЕНИЕ, КУЛЬТУРА

Культура в широком смысле этого слова определяется как совокупность материальных и духовных ценностей общества и подразделяется на материальную и духовную культуру. Как совокупность материальных и духовных ценностей общества культура опосредована мыслительной деятельностью человека, и в этом смысле (и только в этом) следует говорить о ее зависимости от мышления. Но средством, орудием осуществления и существования человеческого мышления является язык. В этой связи и возникает вопрос о характере взаимоотношения этих трех рядов явлений, т. е. культуры, мышления и языка, вопрос, который имеет принципиальное значение для широкого круга общественных наук — философии и социологии, этнографии и языкознания и других наук, предметом исследования которых является материальная и духовная культура человечества.

Тот факт, что мышление манифестируется посредством многочисленных языков, существенно отличающихся друг от друга по своему грамматическому строю, совокупности значений, зафиксированных в лексике этих языков, послужил основанием для теорий, согласно которым язык является определяющим фактором по отношению к мышлению, а следовательно, и культуре.

В той или иной форме такого рода теории развивались в некоторых направлениях языкознания и семиотики, а также философии и социологии. В языкознании эта точка зрения была детально разработана неогумбольдтианством в двух его разветвлениях — американском и европейском.

Американское направление неогумбольдтианства, некоторые принципиальные положения которого были впервые сформулированы Э. Сепиром, получило свое развитие прежде всего в работах Б. Уорфа (гипотеза лингвистической относительности Сепира — Уорфа), а в дальнейшем Д. Хаймса и др. [1].

Гипотеза Сепира — Уорфа выдвигает следующие основные положения. Во-первых, утверждается, что язык определяет характер (тип) мышления, сам его логический строй. Так, говоря о соотношении грамматического строя языка и процесса логического мышления, Б. Уорф пишет: «Было установлено, что основа языковой системы любого языка (иными словами, грамматика) не есть просто инструмент для воспроизведения мыслей. Напротив, грамматика сама формирует мысль, является программой и руководством мыслительной деятельности индивидуума, средством анализа его впечатлений и их синтеза. Формирование мыслей — это не независимый процесс, строго рациональный в старом смысле этого слова, но часть грамматики того или иного языка и различается у различных народов в одних

[1] Не имея возможности остановиться здесь на взглядах Хаймса и некоторых других американских этно- и социолингвистов, мы отсылаем читателя к книге А. Д. Швейцера «Вопросы социологии языка в современной американской лингвистике» (Л., 1971), в которой они рассматриваются.

случаях незначительно, в других — весьма существенно, так же как грамматический строй соответствующих народов» [2].

Иначе говоря, гипотеза Сепира — Уорфа отрицает общечеловеческий характер мышления, наличие общего для всех людей логического строя мышления.

Во-вторых, согласно этой гипотезе характер познания действительности зависит от того, на каких языках мыслят познающие субъекты, так что при существенных различиях языков, которыми они пользуются, процесс их познавательной деятельности и его результаты также будут отличаться друг от друга существенным образом. «Мы расчленяем природу в направлении, подсказанном нашим родным языком,— пишет Б. Уорф.— Мы выделяем в мире явлений те или иные категории и типы совсем не потому, что они (эти категории и типы) самоочевидны; напротив, мир предстает перед нами как калейдоскопический поток впечатлений, который должен быть организован нашим сознанием, а это значит в основном — языковой системой, хранящейся в нашем сознании. Мы расчленяем мир, организуем его в понятия и распределяем значения так, а не иначе в основном потому, что мы — участники соглашения, предписывающего подобную систематизацию. Это соглашение имеет силу для определенного языкового коллектива и закреплено в системе моделей нашего языка» [3].

В связи с этим высказыванием Б. Уорфа следует сразу же заметить, что сегментацию, расчленение мира в процессе абстрактного познания неправомерно ставить в полную зависимость от языка хотя бы уже потому, что это расчленение действительности осуществляется на уровне чувственного познания не только у людей, но и у животных, не обладающих языком, что проявляется в так называемом опредмечивании ощущений, в такой характерной особенности восприятия, как его целостность — та или иная совокупность ощущений объединяется в одном образе восприятия как результат воздействия различных свойств какого-либо отдельного предмета. Эта характерная особенность восприятия в психологии определяется следующим образом: «...объект восприятия, будучи комплексным раздражителем, обладающим разными признаками и состоящим из разных частей, воспринимается все же как единое целое. Компоненты этого целого могут действовать или одновременно, или последовательно (одновременные и последовательные раздражения)... Во всех этих случаях комплексный раздражитель выступает все же как единое целое» [4].

Логическим следствием из положения о полной зависимости характера познания действительности от языка является третий принцип гипотезы Сепира — Уорфа, согласно которому человеческое знание не имеет объективного, общезначимого характера. Он формулируется Уорфом как принцип относительности. «Мы сталкиваемся, таким образом, с новым принципом относительности,— пишет он,— который гласит, что сходные физические явления позволяют создать сходную картину вселенной только при

---

[2] Б. Л. Уорф, Наука и языкознание, сб. «Новое в лингвистике», 1, М., 1960, стр. 174.

[3] Там же, стр. 174—175, см. также стр. 190. Нельзя не отметить почти текстуальное совпадение этих высказываний Б. Уорфа о потоке впечатлений, или ощущений, который мы получаем от действительности, и их сегментации, организации благодаря языку с высказываниями Маха и других позитивистов о потоке ощущений и их организации субъектом в комплексы ощущений.

[4] «Психология», под ред. А. А. Смирнова и др., М., 1956, стр. 145—146. Существенно при этом, что у человека в некоторых патологических случаях цельность восприятия может нарушаться без каких-либо нарушений его способности к абстрактной мыслительной деятельности.

сходстве или по крайней мере при соотносительности языковых систем» [5].

Как мы видим, отождествление языка и мышления, содержательной стороны языковых единиц и содержания человеческого сознания приводит Б. Уорфа и его последователей к выводам философского (гносеологического) значения. Философские позиции этих авторов могут быть определены как агностицизм, а точнее говоря, как своего рода лингвистический агностицизм.

Вместе с тем нельзя не отметить, что взгляды Б. Уорфа по вопросу о соотношении языка и мышления не лишены противоречий. Так, Б. Уорф считает, например, возможным процесс мышления без языка. «Мои собственные наблюдения,— пишет он,— дают мне право утверждать, что язык, несмотря на его огромную роль, напоминает в некотором смысле внешнее украшение более глубоких процессов нашего сознания, которые уже наличествуют, прежде чем возникнет любое общение, происходящее при помощи системы символов или сигналов, и которые способны моментально создать такое общение (хотя оно и не будет истинным с о г л а ш е н и е м) без помощи языка или системы символов. Я употребляю здесь слово „внешний" (superficial) в том же смысле, в каком все химические реакции могут быть названы внешними по отношению к внутриатомным, или электронным, процессам. Однако никто не сделает из этого вывода, что химия н е в а ж н а; в самом деле, суть этого высказывания в том, что наиболее внешнее может быть в действительности наиболее важным» [6].

Если согласиться с Б. Уорфом, что язык есть нечто внешнее по отношению к глубинным процессам сознания, то в таком случае остается неясным, как язык может оказывать определяющее влияние на мышление. Аналогия: язык — мышление, химические процессы — внутриатомные процессы никак не может подкрепить этого положения Б. Уорфа.

В другом месте он утверждает, что язык отражает массовое мышление и изменяется в связи с его изменением (см. ниже), т. е. активная роль в соотношении «язык —, мышление» отводится уже не первому, а второму его члену.

Основные положения европейского неогумбольдтианства (Л. Вейсгербер, Г. Гольц, Г. Ипсен, П. Гартман и др.) по вопросу о соотношении языка, с одной стороны, мышления и познания, с другой стороны, во всем существенном оказываются весьма близкими к гипотезе Сепира — Уорфа. В этом направлении неогумбольдтианства [7] язык также рассматривается не как орудие, средство осуществления мышления, в той или иной степени адекватно отражающего объективную действительность, а как некий промежуточный мир (Zwischenwelt, иначе Wirklichkeit) между объективной действительностью (Außenwelt, иначе Sein, Realität) и мышлением, сознанием (Innenwelt, иначе Bewußtsein), характер которого определяет тип мышления, так что мышление каждого народа имеет чисто национальные

[5] Б. У о р ф, указ. соч., стр. 175. Аналогия между принципом относительности в теории А. Эйнштейна, согласно которому пространственные величины объектов и скорость течения времени зависят от величины скорости данной движущейся системы, и принципом зависимости «картины мира» от характера языка, как это декларирует Б. Уорф и другие представители этого направления, не имеет сколько-нибудь существенных оснований хотя бы уже потому, что в первом случае речь идет о закономерностях самой объективной действительности, а во втором — о процессах познания объективной действительности субъектом.

[6] Б. У о р ф, указ. соч., стр. 190—191.

[7] См.: J. L. W e i s g e r b e r, Muttersprache und Geistesbildung, Göttingen, 1929; е г о ж е, Die Sprache unter den Kräften des menschlichen Daseins, Düsseldorf, 1949; е г о ж е, Vom Weltbild der deutschen Sprache, Düsseldorf, 1950; е г о ж е, Das Gesetz der Sprache, Heidelberg, 1951; е г о ж е, Verschiebungen in der sprachlichen Einschatzung von Menschen und Sachen, Köln — Opladen, 1958, и др.

черты и его развитие целиком определяется имманентным развитием национального языка.

Для Вейсгербера язык есть «первичная действительность», и человек по существу познает не объективную действительность, существующую вне и независимо от него, а тот язык, носителем которого он является. Ни одна из различаемых Вейсгербером ступеней человеческого познания — чувственная и рациональная (причем вторая рассматривается как совершенно независимая от первой) — не дает, по его мнению, объективного знания о действительности; каждый народ имеет специфическую «картину мира», характер которой определяется тем языком, носителем которого он является.

Это положение о субъективности человеческого знания тесно увязывается Вейсгербером с принципом произвольности языкового знака — этот последний, по его мнению, есть своего рода результат «произвола духа» и своей идеальной стороной не отражает объективной действительности.

Во многом опираясь в своих философских принципах на философию символических форм Э. Кассирера, Л. Вейсгербер и здесь следует за ним. «Символические знаки языка,— писал Э. Кассирер,— существуют не для того, чтобы обозначать что-либо существующее помимо них. Напротив, бытие выводится из значения этих символов» [8].

Если учесть, что, отождествляя язык и мышление, содержательную сторону языковых единиц и содержание человеческого сознания, Вейсгербер по существу не выделяет понятий как чего-то существующего наряду с языковыми значениями, то положение о произвольности идеальной стороны языковых единиц не может не привести Вейсгербера к выводу о субъективности человеческого знания вообще, к отрицанию того, что в процессе познания человек с той или иной степенью адекватности отражает объективную действительность, существующую вне и независимо от него [9].

Общие принципиальные установки с этими двумя направлениями неогумбольдтианства имеет то направление в семиотике, которое рассматривает естественные (и искусственные) языки как модель мира, однозначно определяющую познавательную деятельность человека, или утверждает, что та или иная научная теория и вообще человеческое знание есть лишь система знаков.

Эти направления в языкознании и семиотике идут в общем русле с экзистенциалистской герменевтикой [10] и двумя основными течениями философии неопозитивизма — общей семантикой и лингвистической философией, общим для которых является тезис о языке как единственной данной человеку реальности. Но особую близость с неогумбольдтианством и рассмотренным выше течением семиотики обнаруживают указанные направления неопозитивизма. Представители этих направлений объявляют язык единственным предметом исследования философии. По их мнению, философские проблемы возникают в результате непонимания языка, его неправильного употребления, и для их решения достаточно описать фактическое употребление языка, связанное с этими проблемами. Как чисто языковая рассматривается ими и проблема человеческого знания вообще и вопрос об его истинности, в частности. «Тот факт,— утверждает Л. Витгенштейн,— что мир есть м о й мир, проявляется в том, что границы языка (единственного языка, который понимаю я) означает границы м о е г о мира» [11].

[8] E. C a s s i r e r, Philosophie der symbolischen Formen, Tl. 1, Berlin, 1923, стр. 42.

[9] Критический анализ теории Л. Вейсгербера дается также в ст.: Л. С. Е р м о л а е в а, Неогумбольдтианское направление в современном буржуазном языкознании, сб. «Проблемы общего и частного языкознания», М., 1960.

[10] См.: Э. В. И л ь е н к о в, Гегель и герменевтика, ВФ, 1974, 8.

[11] Л. В и т г е н ш т е й н, Логико-философский трактат, М., 1958, стр. 81.

Далее, если вначале Л. Витгенштейн исходил из того, что язык так или иначе отражает действительность, то в последующем основным тезисом лингвистической философии становится противоположное утверждение о том, что язык вообще не отражает действительность [12].

Язык действительно оказывает известное влияние на мышление и познавательную деятельность человека. Во-первых, язык обеспечивает саму возможность специфически человеческого, т. е. абстрактного, обобщенного мышления и познания. Во-вторых, в языке в той или иной мере фиксируются результаты предшествующих этапов познания действительности (в значениях слов, в его грамматических категориях и т. п.). Очевидно, что предшествующий уровень познания действительности, в определенной степени зафиксированный в языке, не может не оказывать известного влияния на последующие этапы познавательной деятельности человека, на сам подход познающего субъекта к объектам действительности, в частности, в связи с категоризацией мира в языке. Поэтому можно говорить о своего рода языковой апперцепции, проявляющейся в той активной роли, которую язык играет в познании.

И здесь существует глубокая аналогия между той активной ролью, которая принадлежит языку в процессе абстрактного, обобщенного познания, и апперцепцией в процессе чувственного познания объективной действительности. Апперцепция в этом последнем случае проявляется в зависимости восприятия от общего содержания психической деятельности человека. «Восприятие всегда в той или иной степени дополняется и опосредствуется имеющимися знаниями, прошлым опытом. В силу этого человек и воспринимает действующие на него раздражители как определенные предметы действительности: деревья, дома, других людей и т. д. Вне опоры на прошлый опыт восприятие чего бы то ни было как определенного предмета или явления действительности было бы невозможно. То, что никак не связано с прежним опытом, с уже полученными знаниями, воспринимается как нечто неопределенное, как что-то, чего нельзя отнести к определенной категории предметов» [13].

Человеческое познание в целом не является пассивным, зеркальным отражением объективной действительности. Оно имеет активный характер и происходит в процессе взаимодействия человека и среды. На уровне чувственного познания его активность, в частности, проявляется в таком свойстве восприятия, как константность восприятия величины, формы и цвета предмета, когда, например, субъективно предмет воспринимается как один и тот же по своей величине, хотя он находится на различных расстояниях от человека и его изображение на сетчатке глаза не может вследствие этого не иметь различной величины.

Диалектический характер абстрактного, обобщенного познания действительности заключается, в частности, в том, что в целях адекватного отражения действительности человеческое мышление на каких-то этапах должно абстрагироваться от всей сложности познаваемых объектов, рассматривать их только в некоторых свойствах, непрерывные процессы и явления рассматривать как дискретные и т. п., т. е. как бы конструировать некие идеальные объекты, абсолютизируя отдельные объективно существующие свойства объектов [14]. В частности, для

[12] См. также: E. Albrecht, Bestimmt die Sprache unser Weltbild? Zur Kritik der gegenwärtigen bürgerlichen Sprachphilosophie, Berlin, 1972, стр. 41—48, 72—101.

[13] «Психология», стр. 144.

[14] В. И. Ленин, указывая на эти моменты субъективности человеческого познания, писал: «Мы не можем представить, выразить, смерить, изобразить движения, не прервав непрерывного, не упростив, огрубив, не разделив, не омертвив живого. Изобра-

человеческого мышления на определенных этапах познания оказывается необходимым рассматривать свойства предметов или действия как самостоятельно существующие предметы, что является причиной таких языковых явлений, как субстантивация, конверсия или образование посредством особых морфем абстрактных существительных типа русских *краснота* и т. п. Именно в связи с этим в языке существуют такие общеграмматические значения, как предметность или действие, под которые подводятся соответственно не только реально существующие предметы типа *стол* и т. п. или реальные действия типа *бежать* и т. п., но и качества (ср. *краснота*), действия (ср. *писание*, *бег*) или состояния (ср. *находиться*) и т. п.

Таким образом, в языке, в языковых средствах фиксируются эти моменты субъективности процесса человеческого познания. Исследование этих аспектов языка, несомненно, имеет весьма существенное значение для выявления закономерностей человеческого познания, а также его исторического развития. Нельзя не учитывать здесь также и того, что в том диалектически противоречивом единстве, которое образуют язык и мышление, при определяющей роли мышления язык представляет собой относительно самостоятельное явление [15], обладающее некоторыми внутренними законами своей организации и развития. По указанным причинам язык, действительно, не может не оказывать известного обратного влияния на мышление и познавательную деятельность человека. Однако в неогумбольдтианстве, а также в общей семантике, лингвистической философии и примыкающих к ним направлениях семиотики это обратное влияние языка на мышление и человеческое познание абсолютизируется, чрезмерно преувеличивается, почему эти теории и оказываются несостоятельными.

В-третьих, рациональное зерно в теории неогумбольдтианства состоит также в том, что набор значений, фиксируемых в идеальной стороне языковых единиц и его грамматических категориях, в известной степени варьируется от языка к языку, и в этом отношении в конкретных языках проявляется своего рода избирательность [16], которая определяется факторами разного рода. Эта избирательность, в частности, несомненно связана с различием природных и социально-экономических условий, в которых живут носители соответствующих языков, на что уже обращалось внимание многими исследователями [17].

жение движения мыслью есть всегда огрубление, омертвление,— и не только мыслью, но и ощущением, и не только движения, но и всякого понятия. И в этом *суть* диалектики. *Э т у-т о с у т ь* и выражает формула: единство, тождество противоположностей» (В. И. Л е н и н, Полн. собр. соч., 29, стр. 233).

[15] Подробнее нами этот вопрос рассматривается в кн.: В. З. П а н ф и л о в, Взаимоотношение языка и мышления, М., 1971.

[16] Здесь кажется уместным обратить внимание на то, что на уровне чувственного познания также существует избирательность восприятия, которая заключается в преимущественном выделении одних объектов (или одних свойств, признаков, качеств предметов) по сравнению с другими. Избирательность восприятия определяется субъективными (отношение человека к воздействующим на него предметам, прошлый опыт человека, его психическое состояние в данный момент) и объективными факторами (особенности самих раздражителей, внешних условий восприятия и др.).

Имея в виду эти последнего рода факторы, некоторые психологи выдвигают понятие различимости как определенной количественной характеристики процесса различения, приуроченной к определенной степени различия в самих объектах (см., например: Б. Б. К о с с о в, Проблемы психологии восприятия, М., 1971, стр. 28 и сл.). Поскольку чувственное и абстрактное, обобщенное познание человека совершается в их постоянном взаимодействии и взаимовлиянии, избирательность на одном уровне познания не может не оказывать влияния на другой уровень познания. При этом можно предполагать, что принцип избирательности на ступени чувственного познания оказывал тем более сильное влияние на результаты абстрактного, обобщенного познания, чем на более низкой ступени развития было это последнее.

[17] Интересно отметить, что, пытаясь объяснить специфические черты, которые свойственны, по его мнению, той «картине мира», которую дает язык хопи, в частности,

Однако содержание сознания носителей того или иного языка отнюдь не сводится к набору значений, фиксированных в языковых единицах и грамматических категориях. Посредством ограниченного в каждом языке набора языковых единиц носитель соответствующего языка выражает в речи и такое мыслительное содержание, которое непосредственно не закреплено за какой-либо отдельной языковой единицей (ср. противоположное утверждение Л. Вейсгербера о том, что существует лишь то понятие, которое закреплено за отдельной языковой единицей).

Представители неогумбольдтианства и примыкающих к ним направлений семиотики и философии не учитывают, что содержание нашего сознания и содержательная сторона речи отнюдь не сводится к сумме значений тех языковых единиц, посредством которых репрезентируется сознание или которые используются в речи [18]. Именно в этом и состоит лингвистическая слабость указанных направлений.

Ни существенные типологические различия языков, проявляющиеся в структуре слова и предложения, а также характере грамматических категорий, ни действительно имеющие место различия в сфере значений, закрепленных за языковыми единицами различных языков, не оказывают такого решающего влияния на мышление их носителей, которое бы приводило к созданию особых типов мышления, различий в самом их логическом строе, в законах их мышления [19].

Более того, наличие типологических различий между языками не исключает существенной общности этих языков, позволяющей рассматривать различные конкретные языки как представителей одного рода — человеческого языка. Выявление этого общего, присущего всем конкретным языкам, давно уже является одной из основных задач языкознания, и ее решение осуществлялось и в рамках логического направления языкознания, ведущего свое начало от логической грамматики (и логики) Пор-Рояля, и в рамках теории понятийных категорий О. Есперсена и И. И. Мещанинова, а в последние десятилетия оно получило свое выражение в теории языковых или лингвистических универсалий. При этом многие типологические различия языков могут быть представлены как

в том, что касается временных представлений их носителей, Б. Уорф вынужден поставить их в зависимость от природных и социально-экономических условий (см.: Б. У о р ф, Отношение норм поведения и мышления к языку, сб. «Новое в лингвистике», I, стр. 160).

[18] На это обстоятельство в свое время обращал внимание уже В. Гумбольдт. «Не следует,— писал он,— выводить круг понятий того или иного народа... из его словаря... большое число понятий, особенно абстрактных, может быть выражено необычными и неизвестными нам метафорами или описательным путем» (W. H u m b o l d t, Über die Kawi-Sprache auf der Insel Java, nebst einer Einleitung über die Verschiedenheit des menschlichen Sprachbaues und ihren Einfluß auf die geistige Entwicklung des Menschengeschlechts, I, Berlin, 1836, стр. XXXV).

[19] См. об этом: В. З. П а н ф и л о в, Взаимоотношение языка и мышления, стр. 66—112; е г о ж е, Языковые универсалии и типология предложения, ВЯ, 1974, 5. Б. Уорф, Л. Вейсгербер и их последователи, выдвигая положение о различии «языковых картин мира», определяющих, по их мнению, характер мышления и познания, основывались на различии в содержании одноименных грамматических категорий и в наборе лексических значений в различных языках.

В последние годы ставится вопрос о том, что существенны те типологические черты языков, которые проявляются в области языкового содержания, а не формы его выражения (так называемая контенсивная типология). Очевидно, однако, что сами по себе различия в содержании грамматических категорий (когда, например, в одном языке грамматическую категорию числа образуют единственное и множественное число, а в другом языке в нее входит также и двойственное число), как и различия в наборе лексических значений, не могут послужить основанием для типологической характеристики языков. В этой области типологических исследований кажется более перспективным искать различия в т и п е, с т р у к т у́ р е содержания грамматических категорий и лексических значений разных языков.

результат различной реализации универсалий, свойственных слову и предложению всех языков.

Очевидно далее, что если бы язык (или другие знаковые системы) жестко, однозначно определял характер мышления и познания действительности, невозможно было бы ни развитие мышления, ни развитие познания. В этом случае невозможно было бы также объяснить источник, причины развития и самого языка.

Непоследовательность различных представителей неогумбольдтианства проявляется в том, что они допускают возможность перехода человека к новому типу мышления и новым языковым средствам [20], что противоречит декларируемому ими положению о жесткой запрограммированности мышления тем языком, на котором оно осуществляется.

Очевидно, что само создание противопоставительного языкознания (contrastive linguistics), в задачу которого, по мнению Б. Уорфа, входит «изучение наиболее важных различий в языках — в грамматике, логике и в общем анализе ощущений» [21], становится возможным только потому, что родной язык исследователя отнюдь не определяет так жестко и однозначно, как это декларирует Б. Уорф, его мышление и его познавательную деятельность — только в этом случае он может уловить различия исследуемых языков и сравнивать те «картины мира», которые дает каждый из них.

Аналогичным образом, и те задачи, которые ставит перед наукой вообще и языкознанием в частности Л. Вейсгербер (вскрыть «несоответствия между языковым познанием и чистым познанием», освободить человека от «языкового реализма» и, в частности, от навязываемых человеку языком категорий времени и пространства; изучить «миропонимание» каждого языка, его влияние на мышление соответствующего народа с тем, чтобы человек смог выйти за пределы этого «миропонимания» и т. п.),— могут быть выполнены только при том условии, если мышление человека способно выйти за пределы содержательной стороны языковых единиц.

В противовес принципу лингвистической относительности Б. Уорфа Г. А. Брутяном был выдвинут принцип лингвистической дополнительности, который формулируется им следующим образом: «В процессе познания в связи с активной ролью языка и в силу его специфических особенностей возникает языковая картина мира. Она в целом и в главном совпадает с логическим отражением в сознании людей. Но при этом сохраняются периферийные участки в языковой картине мира, которые остаются за пределами логического отражения, и в качестве словесных образов вещей и лингвистических моделей отношения между ними варьируются от языка к языку в зависимости от специфических особенностей последних. Через вербальные образы и языковые модели происходит дополнительное видение мира; эти модели выступают как побочный источник познания, осмысления реальности и дополняют нашу общую картину знания, корректируют ее. Словесный образ сочетается с понятийным образом, лингвистическое моделирование мира — с логическим его отображением, создавая предпосылки воспроизведения более полной и всесторонней картины окружающей действительности в сознании людей» [22] (разрядка наша.— *В. П.*). В этой формулировке принципа лингвистической дополнительности прежде всего обращает на себя внимание положение о том, что языковая картина мира, дополняющая его логиче-

[20] См., например: Б. Уорф, Наука и языкознание, стр. 188—190.
[21] Там же, стр. 192.
[22] Г. А. Брутян, Гипотеза Сепира — Уорфа, Ереван, 1968, стр. 57.

ское отражение, носит экстралогической характер [23]. Как утверждает Г. А. Брутян, языковая картина мира, мир языковых представлений имеет внелогический характер потому, что он «обусловлен имманентными законами данного языка» [24].

Принцип лингвистической дополнительности Г. А. Брутяна, так же, как и принцип лингвистической относительности Б. Уорфа, вызывает серьезные возражения. Во-первых, в основе его лежит тезис о независимости языка и мышления или, по крайней мере, языка и логического мышления, а также тезис об и м м а н е н т н о м характере языка, который является определяющим и для гипотезы Сепира — Уорфа. Во-вторых, если согласиться с тем, что языковая картина мира имеет внелогическое происхождение, то возникает вопрос, как в этом случае она может в о с н о в н о м совпасть с той картиной мира, которую человек получает в результате логического отражения. Далее, здесь остается неразъясненным вопрос о том, используется ли язык в процессе л о г и ч е с к о г о отражения действительности и, если используется, то как оно может осуществляться, когда содержательная сторона языковых единиц и грамматических категорий имеет в н е л о г и ч е с к и й характер. Наконец, не может считаться достаточным и фактическое обоснование принципа лингвистической дополнительности — Г. А. Брутян в этой связи ссылается лишь на факты различия внутренней формы слов, выражающих одни и те же понятия в различных языках. К тому же здесь необходимо учитывать, что, во-первых, значение слова не сводится к его внутренней форме, а, во-вторых, сама эта последняя не является предметом мысли, в выражении которой принимает участие данное слово.

Из того понимания соотношения языка и мышления, языка и познавательной деятельности, которое развивается в рассмотренных выше направлениях языкознания, семиотики и философии, логически следует вывод о том, что язык определяет не только характер мышления, познавательной деятельности человека, но и тип, нормы культуры и, в конечном счете, структуру и развитие самого человеческого общества. В языкознании эта точка зрения последовательно развивалась в работах Л. Вейсгербера, который полагал, что структура общества и его история полностью определяется языком и историей его развития. Правда, Л. Вейсгербер, отступая от этого основного принципа, был вынужден признать и обратное влияние общества на структуру языка.

Явную непоследовательность проявлял в этом вопросе Б. Уорф. Так, с одной стороны, он говорит о прямой и достаточно жесткой зависимости культуры от языка. Он пишет: «Что было первичным — норма языка или норма культуры? В основном они развивались вместе, постоянно влияя друг на друга. Но в этом содружестве природа языка является тем фактором, который ограничивает его свободу и гибкость и направляет его развитие по строго определенному пути. Это происходит потому, что язык является системой, а не просто комплексом норм. Структура большой системы поддается существенному изменению очень медленно, в то время как во многих других областях культуры изменения совершаются сравнительно быстро. Язык, таким образом, отражает массовое мышление; он реагирует на все изменения и нововведения, но реагирует слабо и медленно, тогда как в сознании производящих изменения это происходит моментально» [25].

Однако в другом месте он же говорит о наличии между языком и культурой лишь определенного рода связей. «Между культурными нормами и

[23] Это положение повторяется Г. А. Брутяном неоднократно (см., например, стр. 50, 55 указ. работы).

[24] Г. А. Б р у т я н, указ. соч., стр. 53; см. также стр. 32.

[25] Б. У о р ф, Отношение норм поведения и мышления к языку, стр. 164.

языковыми моделями,— пишет он,— существуют связи, но не корреляции или прямые соответствия... В некоторых случаях „манеры речи" составляют неотъемлемую часть всей культуры, хотя это и нельзя считать общим законом, и существуют связи между применяемыми лингвистическими категориями, их отражением в поведении людей и теми разнообразными формами, которые принимает развитие культуры» [26]. Бесспорно, что поскольку язык и культура, равно как и мышление, относятся к числу явлений социальных, общественных по своей природе, между ними существуют определенные связи. Несомненно также, что язык, оказывая известное обратное влияние на мышление, тем самым не может не оказывать воздействия и на культуру. Однако вопрос о их соотношении может быть решен только с учетом того места, которое каждое из этих социальных явлений занимает в жизни общества.

Как отмечает П. Н. Федосеев, базис и надстройка, в соотношении которых (как и в развитии общества в целом) базис в конечном счете является определяющим фактором, хотя на него в свою очередь оказывает известное воздействие надстройка, не охватывают всей совокупности общественных явлений. Исторический материализм выдвигает более широкие понятия — понятие материальной культуры и понятие духовной культуры, которые исчерпывают всю сферу общественных явлений [27]. Язык, не будучи надстроечным явлением, представляет собой весьма сложное явление. «В самом деле,— пишет П. Н. Федосеев,— язык обслуживает не только сферу духовной культуры, он непосредственно связан с производством, обслуживает процессы труда, процессы производства. Далее, он непосредственно связан с социальными отношениями, обслуживает их; он есть орудие общения, орудие борьбы и выступает, следовательно, как составной элемент социальной сферы. К тому же в языке есть идеальная и материальная сторона. Но все-таки следует признать, что язык в основе своей — явление духовной культуры» [28].

Будучи одним из компонентов духовной культуры общества, язык не может оказывать решающего влияния не только на материальную культуру общества, но и на остальные компоненты его духовной культуры. Очевидно, что язык придает некоторые специфические национальные черты непосредственно лишь тем явлениям духовной культуры общества, которые выражаются посредством него. Однако национальная специфика этих компонентов духовной культуры не исчерпывается теми чертами, которые обусловлены языковым способом их выражения. Известно, например, что произведения художественной литературы сохраняют некоторые специфические национальные особенности и при переводе на другой язык.

Из проведенного здесь анализа характера соотношения языка, мышления и культуры следует, что язык, оказывая некоторое, но отнюдь не решающее влияние на мышление, не может также коренным образом определять и характер материальной и духовной культуры общества, которая опосредована человеческим мышлением, представляющим собой, как и язык, продукт социального развития.

---

[26] Там же, стр. 168.

[27] См.: П. Н. Федосеев, Некоторые вопросы развития советского языкознания, сб. «Теоретические проблемы современного советского языкознания», М., 1964, стр. 34.

[28] Там же. Б. Уорф также считает язык «своего рода неотъемлемой частью нашей культуры» (Б. Уорф, Отношение норм поведения и мышления к языку, стр. 139).

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 1 1975

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

Н. З. ГАДЖИЕВА

ЗАДАЧИ И МЕТОДЫ ТЮРКСКОЙ АРЕАЛЬНОЙ ЛИНГВИСТИКИ

Ареальная лингвистика является сравнительно молодой отраслью лингвистической науки. Ее возникновению способствовали два основных стимула — появление новых взглядов, связанных с проблемой происхождения индоевропейских языков, и применение новых методов изучения диалектов. Ареальная лингвистика явилась органическим следствием развития диалектологических исследований и как особая отрасль лингвистической науки возникла в связи с переходом к совершенно новой форме описания диалектов, выразившейся в создании диалектологических атласов.

Новый этап в развитии ареальной лингвистики начинается с попыток применения ее методов к истории языка [1]. Соотношение синхронических и диахронических аспектов лингвистической географии, а также использование их отдельных приемов на материале различных языков нашло освещение в коллективном труде «Общее языкознание» [2].

Размах диалектологических исследований в нашей стране, осуществление десятков сотен исследований по диалектам и говорам тюркских языков, развернувшаяся работа по составлению сводных лингвистических атласов диалектов азербайджанского, татарского, башкирского, киргизского и других тюркских языков [3] создает известные условия для развития тюркской ареальной лингвистики. В последние годы в тюркологической литературе стали появляться работы, посвященные описанию различных грамматических категорий географически соприкасающихся языков преимущественно юго-западного региона. Вместе с тем приходится констатировать стихийный характер такого рода исследований; что же касается методики ареальных исследований на материале тюркских языков, то она остается до настоящего времени неразработанной. Э. В. Севортян справедливо отмечает, что до сих пор не только не сформулированы задачи ареальной лингвистики в тюркологии, но пока неясно, какие именно вопросы необходимо разрешать в ареальных темах [4].

---

[1] Большую значимость лингвогеографических исследований для истории языка неоднократно отмечал В. М. Жирмунский (см.: В. М. Жирмунский. Немецкая диалектология, М.— Л., 1956; его же, Некоторые проблемы лингвистической географии, ВЯ, 1954, 4). Основные критерии для построения индоевропейской ареальной лингвистики сформулированы в работе: Э. А. Макаев, Проблемы индоевропейской ареальной лингвистики, М.— Л., 1964.

[2] См.: «Общее языкознание. Методы лингвистических исследований», М., 1973, стр. 121.

[3] О состоянии работы над атласами тюркских языков см.: М. Ш. Ширалиев, Состояние и задачи дальнейшего развития тюркской диалектологии в СССР, «Советская тюркология», 1973, 2.

[4] Э. В. Севортян, Несколько замечаний к тюркологическим исследованиям по грамматике, там же, 1970, 3, стр. 16.

В истории тюркологии имели место некоторые разработки по вопросам, относящимся к анализу ареальными методами. В. А. Богородицкий придавал важное значение использованию методов лингвистической географии для воссоздания истории фонетического развития как отдельного тюркского языка, так и всей семьи в целом [5]. Для теории ареальной лингвистики представляют большой интерес наблюдения Е. Д. Поливанова над языковыми особенностями географически изолированных районов [6]. В тюркской диалектологии имеются известные разработки вопросов, связанных с контактированием языков на смежных территориях [7]. Имеются попытки провести изоглоссные линии межтюркского диалектного характера чаще с целью исторического освещения того или иного лингвистического явления [8], а также применить к тюркским языкам юго-восточного ареала методику сопоставления синхронных исторических срезов языка [9]. В последнее время в тюркологической литературе появляются работы, в которых не ставятся специально вопросы тюркской ареальной лингвистики, но выдвигаются идеи о наличии тех или иных языковых союзов, объединяющих группу языков со сходными типологическими чертами [10]. Что касается пограничных явлений, то они в лучшем случае констатируются [11]. Практически методика квалификации изоглоссных явлений, критериев их разграничения отсутствует.

Прежде всего, следует разграничивать задачи и объекты анализа диалектологии и ареальной лингвистики. Диалектолог, занимаясь языковыми единицами, выявляет диалекты. Лингвогеограф идет дальше, занимаясь пространственной протяженностью явлений. Одним из основных методов ареальной лингвистики является картографирование. Ареальная лингвистика описывает не структуру языка, а явления, существующие в данном языке, изучая не только их пространственное расположение, но и их связи, пути их распространения, зоны инноваций, центры распространения языковых фактов с выявлением ареалов языковых союзов. Если в лингво-исторических исследованиях диалектные данные используются для усовершенствования архетипов, то ареальная лингвистика — область, более тесно соприкасающаяся с историей языка, с исторической диалектологией. Возможности ареальной лингвистики шире, чем у диалектологических исследований. В задачу ареальной лингвистики входит не только изучение протяженности изоглосс и определение источников их радиации,

---

[5] В. А. Богородицкий, Введение в татарское языкознание в связи с другими тюркскими языками, 2-е изд., испр. и доп., Казань, 1953, стр. 101—102, 106, 108—109.

[6] Е. Д. Поливанов, Узбекская диалектология и узбекский литературный язык, Ташкент, 1933, стр. 8—9.

[7] Там же, стр. 8; В. В. Решетов, К вопросу о взаимоотношении узбекских и южных киргизских говоров, «Труды Ин-та языка и лит-ры АН КиргССР», VI, Фрунзе, 1956, стр. 56; К. К. Юдахин, Уйгурско-узбекские языковые связи, «Изв. АН КазССР», Серия уйгурско-дунганской культуры, 1, Алма-Ата, 1950, стр. 29; А. К. Боровков, Вопросы классификации узбекских говоров, «Изв. АН УзССР», 5, 1953; К. К. Юдахин, Итоги и задачи изучения киргизских диалектов, «Труды Ин-та языка и лит-ры АН КиргССР», VI, стр. 54.

[8] См., например: Ш. Х. Акбаев, Фонетика диалектов карачаево-балкарского языка, Черкесск, 1963.

[9] Г. Ф. Благова, К методике историко-ареальных сопоставлений в тюркологии, ВЯ, 1972, 5.

[10] См., например: Т. М. Гарипов, Башкирско-татарские языковые параллели, сб. «Языковые контакты в Башкирии», Уфа, 1972; Б. А. Серебренников, О некоторых отличительных признаках Волго-камского языкового союза, там же; Л. А. Покровская, Об одном балканизме в гагаузском языке и балкано-турецких диалектах, ВЯ, 1972, 3.

[11] См.: В. В. Решетов, Кураминские говоры Ташкентской области. АДД, Ташкент, 1952, стр. 15.

но и изучение пограничных вибраций, т. е. явлений, возникающих вследствие интерференции географически соприкасающихся языков.

Нельзя, однако, утверждать, что ареальная лингвистика несмотря на свой, в известной степени особый объект исследования, имеет специфические, только ей присущие методы исследования. Ареальная лингвистика, как будет показано ниже, использует часто методы, имеющие различные точки опоры.

В задачи ареальной лингвистики прежде всего входит констатация языковых явлений в рамках определенных языковых регионов. В данном случае методы ареальной лингвистики совпадают с методами диалектологии. Чем совершеннее методы описания диалектов, тем успешнее могут вестись лингвогеографические исследования. В описании диалектов тюркских языков часто наблюдается стихийный выбор отдельных диалектов, а не тотальное их описание, тогда как основным принципом ареальных исследований является именно тотальный охват диалектов.

Благодаря фронтальному описанию диалектов, ареальная лингвистика фиксирует в полном объеме все лингвистические факты в рамках известного ареала. Она позволяет детально учесть языковые факты, которые могут отсутствовать в других точках ареала. Всякое изменение в языке редко бывает абсолютно изолированным. Если оно осуществляется в одном диалекте, то в других диалектах есть начальные сдвиги, намечающие возможное изменение. Показательна в этом отношении интерпретация такого явления, как разрушение сингармонизма. Полная утрата типично тюркской фонетической черты — сингармонизма, предполагающей наличие взаимно противопоставляемых гласных (пар гласных) как в основе, так и в системе словообразовательных и словоизменительных формантов, произошла в узбекском литературном языке (городских говорах, положенных в его основу) [12]. Процесс разрушения сингармонизма неравномерно представлен на территории Узбекистана. В узбекских говорах выделяются переходные группы, где лингвально-сингармонистические чередования обнаруживают колебания. Так, например, если в джекающих и жекающих кураминских говорах закон лингвального сингармонизма проводится последовательно, то в их переходной подгруппе намечается первая ступень сокращения лингвально-сингармонистических чередований, состоящая в совпадении негубных контрастирующих пар гласных верхнего подъема; в йекающих кураминских говорах сингармонистические чередования гласных отсутствуют [13].

Факты нарушения сингармонизма наблюдаются не только в ряде узбекских говоров, они захватывают и соприкасающуюся с ними часть уйгурских говоров; ослабление сингармонизма наблюдается и в северных диалектах киргизского языка [14]. Изоглосса, связанная с нарушением палатальной гармонии, проходит и за пределами Средней Азии.

Приемы ареальной лингвистики дают возможность зарегистрировать все сопутствующие разрушению сингармонизма явления, наблюдающиеся в различных тюркских языках. Степень проявления сингармонизма в киргизских говорах связана с противопоставлением/ совпадением фонем *ы* и *и*, *о* и *ö* [15], а в уйгурских — еще и индифферентных *i*, *e* [16]. Та же взаимозависи-

---

[12] См.: В. В. Решетов, Узбекский язык, ч. I — Введение, фонетика, Ташкент, 1959, стр. 116.

[13] В. В. Решетов, Кураминские говоры Ташкентской области, стр. 33.

[14] См.: А. Т. Кайдаров, Развитие современного уйгурского литературного языка, 1, Алма-Ата, 1969, стр. 163; И. А. Батманов, Северные диалекты киргизского языка, I, Фрунзе, 1938, стр. 16.

[15] Там же.

[16] А. Т. Кайдаров, указ. соч., стр. 163.

мость процесса десингармонизации и состоявшегося процесса качественного совпадения контрастирующих гласных тюркского вокализма наблюдается и в узбекских говорах.

Ареальные исследования дают возможность зарегистрировать встречающиеся в различных тюркских языках факты неустойчивости фонемы *а*, ее потенциальной склонности к разного рода фонетическим трансформациям (ср. *а* ~ *ы*, *а* ~ *о*, тенденции к опереднению, явление умлаута), а также совпадения фонем *ы* и *и*, *о* и *ö* (ср. узбекские, уйгурские, киргизские говоры). Все это приводит к ослаблению противопоставления гласных фонем по ряду, что обусловливает появление десингармонизованных рядов. Этот перебой рядов нашел отражение не только в узбекских городских говорах, но и в других тюркских языках Средней Азии и за ее пределами.

Редукция гласных, широко представленная в диалектах тюркских языков Средней Азии, также способствует стиранию гармонии по рядности. Ср. в бахмалском говоре узбекского языка *қар* : *ўй* вместо лит. *қора уй* «юрта» [17]. Неслучайно И. А. Батманов, характеризуя степень снижения сингармонизма в северных диалектах киргизского языка, отмечает, что сначала в них утрачивается лабиализация широких гласных (вместо *а* ~ *е*, *о* ~ *е* имеем *а* ~ *е* или *а* ~ *ə*) в третьих аффиксальных слогах благодаря редукции гласного; потом — во вторых и первых [18]. Редукция, а также совпадение мягко- и твердорядных гласных в одной индифферентной фонеме (ср. узб., уйг., кирг. *ъ* = *ы* + *и*, кирг., узб. *ö* = *о* + *ө*) ограничивают действие губной гармонии. Одной из внутренних причин колебаний передней гармонии являются факты опереднения *к* или его трансформации в *х*, что ослабляет сопротивляемость по ряду [19]. Расшатыванию палатальной гармонии в Средней Азии и главным образом на территории современного Узбекистана способствовало также интенсивное смешение разных тюркских языков, обладающих сходными, но тем не менее специфическими системами вокализма. Ср., например, огузскую систему вокализма с ее фонемами *ө* и *ү* западноевропейского типа и относительно устойчивым *і* и *ı*, с одной стороны, а с другой — кыпчакскую систему вокализма с *ө* и *ү* более задней артикуляции и с менее устойчивыми *і* и *ı*, которые в результате конвергенции в отдельных кыпчакских языках дали индифферентное к (задней или передней) рядности *ъ*. Таким образом, разрушение палатальной гармонии в диалектах и говорах на территории Средней Азии было подготовлено внутренними условиями фонетических систем ряда тюркских языков. Иранское влияние явилось тем внешним импульсом, который усилил десингармонизацию. Поэтому там, где таджикский субстрат был значителен, сингармонизм разрушался более активно. Этим объясняется и то, что центром разрушения палатальной гармонии были сильно иранизованные говоры самаркандско-бухарской группы.

Ареальные исследования убеждают в том, что без внутренних причин ослабления противопоставления по ряду процесс разрушения палатальной гармонии не осуществился бы так, как мы его регистрируем в узбекских диалектах, этот процесс не имел бы такого активного отражения в территориально соприкасающихся диалектах других тюркских языков — уйгурского, киргизского, туркменского. В противном случае нельзя было бы зарегистрировать изоглоссу десингармонизации далеко за пределами Средней

---

[17] Х. Даниярова, Бахмалский говор узбекского языка. АКД, М., 1955, стр. 41.

[18] И. А. Батманов, указ. соч., стр. 16.

[19] О твердости и мягкости *к* см.: Е. Д. Поливанов, Некоторые фонетические особенности каракалпакского языка, Ташкент, 1933, стр. 11.

Азии — в кумыкском, татарском, азербайджанском и других тюркских языках.

Интерпретация собранного материала применительно к задачам ареальной лингвистики имеет особое значение, поскольку без нее не могут быть сделаны соответствующие выводы. Интерпретируются самые различные явления, используемые при решении конкретных лингвистических задач.

Интерпретация результатов языковой интерференции в условиях контактирования языков и диалектов. Процессы языковой интерференции представляют явления исключительной сложности. Здесь немаловажное значение имеют такие экстралингвистические факторы, как историческая или социальная активность носителей языков и диалектов, род их занятий, характер общения, количественный фактор (численность говорящих), географическая среда и т. п. Немаловажное значение имеет также состояние языковых систем, которое может благоприятствовать усвоению особенностей чужого языка или диалекта или, напротив, оказывать сопротивление. Как правило, исследователь видит только конечные результаты языковой интерференции. Тем не менее, используя некоторые лингвистические точки опоры, он может определить особенности самих процессов языковой интерференции. Язык, служащий источником влияния, можно определить по результатам влияния. Гораздо труднее теоретически обосновать, почему та или иная особенность была усвоена языком воспринимающим. В данном случае можно применить лингвистический закон: в процессе интерференции язык или диалект чаще всего воспринимает от другого языка или диалекта те черты, которые отсутствуют в его собственной системе, при условии, если эти черты коммуникативно выгодны или восполняют недостающие лексические и грамматические средства. Так, например, в некоторых южных диалектах казахского языка, носители которых проживают в непосредственном соседстве с узбекским и киргизским населением, заметно увеличивается частотность употребления фонемы *ӓ* (орф. *ә*). Слабое развитие этой фонемы в других казахских диалектах позволяет сделать вывод об увеличении частотности этой фонемы в результате влияния узбекского и киргизского языков. Но это не единственная причина. Фонема *ә* не получила бы такого широкого распространения в южных диалектах казахского языка, если бы ее наличие в фонемном составе не создавало определенных преимуществ, в чем легко убедиться при сравнении двух рядов гласных: *а* : *е*, *о* : *ӧ*, *ы* : *ӱ* и *а* : *ӓ*, *о* : *ӧ*, *ы* : *ӱ*. С точки зрения сингармонизма, второй ряд обладает явными преимуществами, поскольку в противопоставлении гласных по велярному и палатальному ряду участвуют гомогенные гласные *а* : *ӓ*, *о* : *ӧ*, *ы* : *ӱ*. Нетрудно заметить, что в первом ряду противопоставление по ряду соблюдается, но *а* и *е* не являются гласными гомогенными. В сингармонистических языках существует тенденция к созданию симметричности гласных, противопоставляемых по велярному и палатальному ряду. Следовательно, это новшество не отталкивалось фонетической системой казахских диалектов.

Характерной особенностью казахского и киргизского языков, а также большинства диалектов каракалпакского языка является аффрикатизация начального *й*, который с точки зрения возможных звукоизменений переходит в *дж*, а последний — в спирант *ж* (ср. казахский язык). В некоторых узбекских диалектах, соседящих с казахским языком, начальный *ж* также подвергся аффрикатизации. Начальный *й* считается довольно слабым звуком, в языках же существует тенденция сделать начало слова более звонким. С лингвотехнической точки зрения начальный *дж* вместо *й* предпочтителен как более слышимый. Это лингвотехническое преимущество наблюдается в узбекских кыпчакских диалектах; можно предположить,

что в данном случае влияние исходило от казахского языка. Любопытно при этом отметить, что так называемое жекание было усвоено от казахского языка носителями некоторых восточных диалектов башкирского языка, хотя для башкирского языка начальные *дж* или *ж* совершенно не типичны. Все это еще не дает основания для вывода о том, что метод определения направленности языкового влияния, основанный на учете лингвотехнических удобств, является безотказным компасом, позволяющим определить эту направленность абсолютно во всех случаях. Однако в целом ряде случаев применение этого метода может принести пользу.

Учет социальных факторов имеет большое значение при оценке результатов языковой интерференции. Законы, которым подчиняются социальные явления, не совпадают с законами изменения языковых систем. Так, всякому языковому изменению оказывает сопротивление стремление говорящих сохранить язык в состоянии коммуникативной пригодности, в чем сказывается сила усвоенной привычки. Если при контактировании двух диалектов численность носителей одного диалекта будет намного преобладать над численностью другого, то, вероятнее всего, здесь произойдет полная ассимиляция диалекта с меньшим количеством говорящих, и будет усвоен диалект, имеющий большее количество носителей, хотя степень усвоения будет различной. В южных каракалпакских и киргизских диалектах, как и в узбекском, наблюдается начальный *й*, что свидетельствует о большей социальной активности носителей узбекских диалектов, благодаря чему в системе каракалпакского и киргизского языков появилась коммуникативно менее удобная особенность. Можно предположить, что эти говоры являются результатом смешения каракалпакского и киргизского языков с узбекским, где узбекский язык играл явно активную роль.

Следует, однако, заметить, что интерпретация подобного рода явлений представляет большие трудности. Не подлежит сомнению, что большая социальная активность языка, участвующего в языковом взаимодействии, не может не учитываться. Но язык или диалект при взаимодействии может не только навязывать другому языку или диалекту свои особенности, но и способствовать консервации сходных черт, которые в других диалектах воспринимающего языка могут исчезнуть. Так, например, в казахских диалектах, граничащих с узбекским и киргизским языками, сохраняется фонема *ч*, превратившаяся в других диалектах в *ш* (ср. казах. диалектн. *чет* ~ лит. *шет* «край», казах. диалектн. *чын* ~ лит. *шын* «истинный»). В этих же диалектах наблюдается сохранение старого *ш*, которому соответствует в литературном казахском языке *с* (ср. казах. диалектн. *ешек* «осел» вместо лит. *есек*). Другой пример: северные узбекские диалекты, как известно, не подверглись процессу десингармонизации. Очевидно, влияние территориально соседствующих казахского и киргизского языков способствовало консервации более раннего состояния.

Методы определения направленности влияний могут быть применены для исследования языковой интерференции в любой точке языкового ареала независимо от пограничных зон, поскольку процессы языковой интерференции примерно всюду являются одинаковыми.

Не исключена возможность, что результат влияния может быть одновременно обусловлен действием нескольких факторов, в числе которых закономерности языковой системы, различного рода социальные факторы, случаи сохранения старых явлений, а также фактор случайности. Отсюда следует, что методические принципы ареальной лингвистики нельзя рассматривать как жесткие правила, не знающие исключений.

Интерпретация языковых явлений, находящихся в зонах вибрации. Существуют языковые зоны, в ко-

торых различные языковые признаки находятся в колеблющемся, неопределенном состоянии. Так, в некоторых казахских диалектах *ч* > *ш* и *ш* > *с* осуществляются непоследовательно. В узбекских диалектах наблюдается неустойчивость оканья, а также чередования начальных *й* и *дж* и т. д.

Зоны вибрации всегда свидетельствуют о том, что языковые системы контактирующих диалектов в отдельных своих участках оказываются разрушенными, и в самих неустойчивых явлениях взаимодействующие языки уже четко не различимы. В зонах вибрации часто происходят живые процессы, которые с течением времени приводят к ликвидации этой зоны. Большой теоретический интерес представляет изучение причин вибрации, которые не всегда легко определить. По-видимому, «нарушителем» системы является социально более активный язык или диалект, поскольку часто разрушаются особенности языковой системы, с лингвотехнической точки зрения более выгодные. Не исключена возможность, что сначала воспринимается один элемент системы, который затем приводит к ее дальнейшему нарушению. Так, изменение фонемных пар, находящихся в определенном соотношении, может вызвать появление новых фонемных пар. Например, в случае воздействия узбекского консонантизма на казахский появление нового *ч* в последнем может усилить противопоставление *ч* ~ *ш*, вследствие чего могут участиться случаи превращения *с* в *ш*. Зоны вибрации обычно указывают на промежуточные этапы между двумя языковыми состояниями. Специфика подобных явлений исключает предположение о сохранении прежнего состояния, поскольку во всех случаях вибрации языковая система оказывается нарушенной. Вместе с тем иногда возможно и стихийное возникновение вибрации вследствие начавшейся ломки системы. Но такие случаи, по-видимому, редки и очень трудно определимы. В подавляющем большинстве вибрация является результатом диалектного смешения.

Интерпретация межъязыковых изоглосс имеет большое значение в работе лингвиста, занимающегося проблемами ареальной лингвистики. Изоглосса может указывать на пути миграции населения, свидетельствовать о наличии в далеком прошлом определенной языковой общности, быть результатом языковой интерференции или же конвергенции (т. е. случайного совпадения одинаковых черт).

Таким образом, возникают две важные ареальные проблемы: 1) выявление конвергенций, 2) выявление единой по своему характеру изоглоссы и 3) выявление пучка генетически связанных изоглосс.

Выявление конвергентных явлений. Языковые явления могут быть внешне одинаковыми, но это сходство может быть результатом совпадения. Например, в некоторых диалектах уйгурского языка наблюдается переход *к* перед гласными переднего ряда в *ч*, ср. *чим* из *ким* «кто», *чишмиш* из *кишмиш* «кишмиш», *чирди* из *кирди* «он зашел». Такой же переход наблюдается и в нахичеванской группе диалектов азербайджанского языка, наример, *чим* из *ким*, *чиши* из *киши* «человек» и т. д. В кураминских говорах узбекского языка *т* перед гласными переднего ряда может переходить в *ч*, ср. *чъш* из *тиш* «зуб». То же явление имеет место в истории чувашского языка, ср. чуваш. *чĕлхе* «язык» и татар. *тел*. Такого типа сходство может носить случайный характер, поскольку языки удалены друг от друга на значительное расстояние.

Пратюркское *q* в чувашском и якутском языках превращалось в *х*. Ср.: чуваш. *хур*, якут. *хāс* «гусь», татар. *каз*, чуваш. *хура*, якут. *хара* «черный», татар. *кара* и т. д. Можно предположить, что в чувашском и якутском языках данное фонетическое явление возникло независимо. Это подтверждается и тем, что якут. *х* имеет совершенно другую дистрибуцию по

сравнению с чуваш. *х*: в чувашском языке *q* > *х* осуществлялся тотально, тогда как в якутском *q* не переходит в *х* в положении перед *ы* и *у* (ср. якут. *ык* «давить» из *syq*, *кыыс* «девушка» из *qyz*, *ук* «всовывать» из *suq* [20]).

Изменение *ч* > *ш* характеризует казахский, каракалпакский, северные диалекты алтайского языка, тувинский и шорский языки. Переход *ч* > *ш* в ногайской группе языков и в тюркских языках Сибири происходил в разное время. В ногайской группе языков *ч* > *ш* влекло за собой *ш* > *с*, тогда как в шорском, тувинском и северных диалектах алтайского языка *ш* > *с* не происходил, поскольку избыточность *ш* устранялась сонаризацией интервокального *ш*. Кроме того, переход *ч* > *ш* устранял избыточность *ч*, возникшую в результате оглушения начального *дж*.

В башкирском и туркменском языках существуют интердентальные спиранты *з̣* и *ç*, однако их происхождение и дистрибуция различны. Возникновение *ç* из *с* в башкирском языке устраняло избыточность *с*, тогда как в туркменском в *ç* переходило любое *с*.

В чувашском, хакасском и шорском языках произошло оглушение звонких согласных в начале слова. Предполагают, что это результат влияния языков-субстратов. Оглушение начальных звонких в этих языках между собой не связано, так как для чувашского возможным языком-субстратом мог быть марийский, а для хакасского и шорского — самодийские языки.

В некоторых ногайских диалектах начальный *й* переходит в *дж*. Подобное же явление наблюдается в кураминских говорах узбекского языка. Оба типа *й* возникли совершенно независимо друг от друга. В кураминских говорах *й* отчасти мог переходить в *дж* под влиянием диалектов киргизского и казахского языков, тогда как в диалектах ногайского языка он мог возникнуть в результате самой звуковой тенденции *й* > *дж*.

Совершенно очевидно, что конвергентные изоглоссы не могут быть использованы для доказательства близкого генетического родства языков: они проходят через изолированные языки, не имеющие между собой никакой связи, и часто вызываются разными причинами. Выявление конвергентных изоглосс требует от лингвиста знания общей типологии изменения звуков в различных языках и так называемых фреквенталий, т. е. наиболее часто встречающихся сходных изменений звуков как в родственных языках, так и в языках неродственных.

Выявление связанных изоглосс. Эти последние, в отличие от конвергентных изоглосс, возникают в языках, некогда входивших в одну языковую общность, или в языках, расположенных на смежных территориях и контактирующих между собой, что обеспечивает единое происхождение изоглоссных явлений. Наиболее типичным примером связанных изоглосс могут быть переходы *ч* > *ш* и *ш* > *с*, характерные для казахского, каракалпакского и отчасти ногайского языков. В результате дезаффрикатизации начального *дж* > *ж* в казахской консонантной системе появился *ж*, что вызвало к жизни тенденцию к противопоставлению *ж* фонеме *ш*, а это привело к переходу в *ш* исконного *ч*, который к тому же характеризовался ослаблением смычки. Переход *ч* > *ш* создал избыточность *ш*, которая впоследствии была устранена путем *ш* > > *с*. Подобные переходы могли осуществиться тогда, когда казахский, каракалпакский и ногайский языки входили в одну языковую общность.

Переход *ч* > *ш* совершился также в тюркских языках Сибири — тувинском, шорском и северных диалектах алтайского языка. Но здесь причина *ч* > *ш* была совершенно другой. В результате приглушения начального *дж*

[20] N. Poppe, Das Jakutische, «Philologiae Turcicae fundamenta», I, Wiesbaden, 1959, стр. 677.

(ср. тув. *чыл*, шор. *чыл*, сев.-алт. *чыл* при кирг. *джыл* «год») на месте *дж* появился *ч*, что создало избыточность *ч*, который перешел в *ш*. В отличие от языков ногайской группы, здесь избыточность *ш* устранялась не путем *ш* > *с*, а переходом интервокального *ш* > *ж*. Следовательно, в данном случае *ч* > *ш* имел место в ином языковом союзе и имел другие причины.

Такими же связанными изоглоссами является появление настоящего времени с показателем *-а* (типа узб. *барамын* «я иду») и закрепление за древнетюркским аористом значения будущего времени в языках кыпчакской группы. Как известно, настоящее время на *-р* в пратюркском состоянии имело значение настоящего и будущего одновременно. Появление настоящего времени на *-а* создало специализацию времени с показателем *-р*, получившим значение будущего времени, в зонах распространения кыпчакских и карлукских языков.

Связанные изоглоссы имеют некоторые территориальные признаки. Они часто охватывают сравнительно небольшие районы. Например, настоящее время типа казах. *баруда* «он идет в данный момент» встречается в казахском, каракалпакском, киргизском и отчасти башкирском языках, в которых нет инфинитива на *-мак*. Форма на *-уда* не встречается в других тюркских языках. Возможно, что эта изоглосса возникла не без влияния узбекской формы типа *бормоқта(дыр)* «он идет в данный момент».

Пространственная непрерывность изоглоссы тоже может служить показателем связанности фиксируемых явлений. Отсутствие аффрикаты *дж*, превратившейся в *ц*, встречается в языках сибирских татар; некогда это явление существовало в башкирском языке, в настоящее время оно наблюдается в западном диалекте татарского языка.

Однако территориальная близость языков — не всегда обязательное условие связанности изоглоссных явлений. Последние могут встречаться и в языках, удаленных друг от друга на очень большое расстояние. Ср., например, кыпчакские языковые черты в татарском, хакасском и якутском языках. Это происходит в тех случаях, когда меняются границы языковых союзов. Связанные изоглоссные явления больших языковых союзов устанавливаются обычно на основе применения сравнительно-исторического метода. При выявлении связанных изоглосс необходимо хорошее знание языковых импликаций или таких лингвистических явлений, когда одно предполагает другое, поскольку оно с ним причинно связано. Выявление связанных изоглосс имеет очень большое значение для изучения истории тюркских языков и их исторических контактов, а также для исторической диалектологии. К сожалению, в тюркологии эта отрасль пока совершенно не развита. Связанные изоглоссы могут также служить точкой опоры для проверки различных гипотез, касающихся происхождения отдельных тюркских языков и народов.

Следует, однако, оговорить, что изоглоссы, характеризующие ту или иную языковую общность, могут быть причинно между собой не связаны. Какая, например, внутренняя причинная связь существует между причастием на *-мыш* и дат.-напр. падежом на *-а*, характеризующими огузскую группу языков? Здесь уже приходится применять другие приемы, например, учет массовости явления в сочетании с другими признаками, обнаруживающими такую же массовость проявления, которая исключает конвергентность.

Использование ареальных явлений для определения путей миграции. Ареальные явления могут быть использованы для определения древних путей миграции населения. Например, большое количество вторичных долгот характеризует киргизский и алтайский языки. Ср. кирг. *тоо* «гора», *оор* «тяжелый»; алт. диалектн. *туу*, *аар*. Основная причина образования вторичных долгот связана в обоих языках с последовательным соблюде-

нием губной гармонии гласных (ср. кирг. *өлкөлөрдө* «в странах», южноалт. *көргөн* «видевший», *болгон* «бывший» [21]). Губная гармония, очевидно, способствовала выравниванию смежных гласных.

Некоторые изоглоссы языков Средней Азии располагаются в направлении с юго-запада на северо-восток, что также можно рассматривать как след древних миграций. Отдельные азербайджанские говоры обнаруживают совершенно явные кыпчакские особенности, что может быть результатом проникновения кыпчакских племен на территорию Азербайджана. Для установления направления миграции могут быть использованы такие явления, как затухание изоглосс. Типичный для языков ногайской группы переход *ч* > *ш* и *ш* > *с* в диалектах ногайского языка осуществляется крайне непоследовательно. Фактически эти диалекты представляют зону вибрации, а это говорит о том, что ногайский язык отделился от центра инновации, находящегося в северной части Казахстана, когда переход *ч* > > *ш* и *ш* > *с* еще полностью не завершился. На этом основании можно сделать вывод, что ногайцы пришли на Кавказ из Средней Азии.

Следует также иметь в виду, что чрезвычайная пестрота языковых признаков указывает на зоны интенсивной и многослойной колонизации (к числу таких зон принадлежит, например, Чуйская долина).

Определение центров инновации подразумевает установление возможного очага зарождения явления. При этом должно быть доказано, что зарождение явления в других точках ареала не представляется возможным. Приведем несколько наиболее показательных примеров. Вероятным центром зарождения аффрикатизации *й* в Средней Азии были северные говоры казахского языка. Южные казахские, киргизские и каракалпакские говоры обнаруживают сохранение начального *й*. Имеются следы *й* в северных киргизских диалектах. В некоторых северных узбекских говорах аффрикатизация явно возникла под влиянием этих языков. Для южной части среднеазиатского региона начальная аффриката *дж* не типична. Таким образом исключается возможность зарождения этой инновации во всех других районах, тем более, что в киргизском и казахском языках она осуществляется наиболее компактно.

Отличительной особенностью киргизского и алтайского языков является довольно большое количество так называемых вторичных долгот, связанных, по-видимому, с последовательным соблюдением губной гармонии гласных (в алтайском языке она последовательно проводится в южных диалектах). Если считать, что лексически киргизский язык ближе к узбекскому языку (для которого последовательное соблюдение губной гармонии нехарактерно), чем к алтайскому, то центр инновации предположительно можно искать в зоне распространения алтайского языка.

Умлаутизация *а* является характерной особенностью уйгурского языка (уйг. *ат* «лошадь» — *етлер* «лошади»). Это явление отчасти распространяется и на отдельные узбекские говоры. Центр инновации, вероятно, находится на территории распространения уйгурского языка, поскольку совпадение фонем *ы* и *и* (главная причина умлаута) возникло раньше всего в уйгурском языке.

Если имеются достаточно выраженные зоны затухания явления, то центр инновации, естественно, не может находиться ни в зонах затухания, ни в зонах вибрации. Есть основания допустить, что центр инновации приходится на зону сгущения встречаемости явления. Так, например, оканье, характерное преимущественно для городских диалектов узбекского языка, локализуясь в самаркандско-бухарских говорах, ослабевает на территориях юго-восточной и юго-западной групп говоров. Оканье угасает в

[21] Н. А. Баскаков, Алтайский язык, М., 1958, стр. 69.

районе Ферганы, но распространяется на юго-западную часть Киргизии. Однако в Киргизии это фонетическое явление недавнего происхождения, поскольку *о* в киргизских говорах не является самостоятельной фонемой.

Параллельно с установлением центров инновации может производиться изучение истории изоглоссных явлений в определенных ареалах. Это осуществляется обычно путем обнаружения реликтов прежнего состояния. Можно, например, предполагать, что современные несингармонизованные узбекские говоры некогда были сингармонистическими говорами, так как в них сохраняются следы былой гармонии гласных. Например, в несингармонизованных говорах произношение *і* колеблется от более переднего варианта в слове *икки* «два» до более заднего варианта в слове *қиш* «зима», такое же колебание испытывает звук *у* — от более переднего в слове *учун* «для» до более заднего в слове *узун* «длинный»; узбекская фонема *а* имеет более передний вариант в слове *мана* «вот» и более задний вариант в слове *қанча* «сколько» [22]. Нетрудно заметить, что эти варианты в точности соответствуют гласным заднего и переднего ряда в тюркских языках, сохраняющих гармонию гласных. В узбекских несингармонизованных говорах сохранились два типа *к* — велярный *к* (*қ*) и переднерядный *к*. Велярный *қ* употребляется перед более задними вариантами гласных *а, и, у*.

В настоящее время киргизский и казахский языки связывает изоглосса, показывающая аффрикатизацию начального *й*. Следует отметить, что в казахском *дж-* уже ослабился в *ж-*. Однако в киргизском языке имеются явления, указывающие на то, что некогда начальный *й* не был аффрикатизирован. Так, в киргизском аффриката *дж* перед узкими гласными может отсутствовать (ср. кирг. *ыр* «песня» и казах. *жыр* < *джыр*, кирг. *ыраак* «далеко» и казах. *жырақ* < *джырақ*); это объясняется отпадением начального *й* перед узкими гласными — по этой причине здесь не произошла аффрикатизация начального *й*.

Выявление влияний языковых субстратов. Лингвисту нередко приходится иметь дело с установлением влияний языковых субстратов, причем такого рода исследования должны быть подчинены определенной методике.

Очевидность влияния языка-субстрата, как и полнота доказательств этого, зависят от наличия нижеследующих условий: 1) воздействие языка-субстрата должно отражаться в разных языковых сферах, т. е. в области фонетики, лексики, морфологии и синтаксиса, 2) языковое явление может быть квалифицировано как результат воздействия языка-субстрата только в том случае, если его нельзя объяснить как следствие органического развития структуры языка, подвергшегося языковому влиянию; 3) данные фонетики, морфологии и синтаксиса, интерпретируемые как результат воздействия субстрата, должны обнаруживать показатели системной организации и ни в коем случае не быть отрывочными и единичными; 4) при исследованиях влияния языка-субстрата необходимо привлекать данные топонимии и гидронимии, позволяющие определить территорию распространения предполагаемого языка-субстрата [23].

Изучение влияния языка-субстрата в значительной степени облегчается в тех случаях, когда язык-субстрат исчезает только в одной части территории и продолжает существовать в другой. В пользу, например, гипотезы о том, что для чувашского языка языком-субстратом является марийский язык, свидетельствует прежде всего ряд общих явлений, свойственных как марийскому, так и чувашскому языкам, а также имеющаяся на территории современной Чувашии марийская топонимия и гидронимия. Например, в чувашском и марийском притяжательные суффиксы предшест-

[22] В. В. Решетов, Основы фонетики и грамматики узбекского языка, Ташкент, 1965, стр. 12.

[23] «Общее языкознание. Методы лингвистических исследований», стр. 152.

вуют аффиксу мн. числа. Эту особенность чувашский воспринял от марийского языка-субстрата, так как для других тюркских языков типичен обратный порядок расположения — «аффикс мн. числа + притяжательный аффикс». Усилительная частица *ак* в марийском имеет те же значения, что и усилительная частица *ах* в чувашском. В данном случае также приходится допускать влияние марийского субстрата, поскольку в тюркских языках нет частицы *ак*, которая имела бы те же самые значения, что и марийская частица *ак* [24].

Помимо соблюдения вышеперечисленных правил, необходимо всегда иметь в виду основное требование. Прежде чем квалифицировать то или иное явление в плане влияния субстрата, необходимо тщательно исследовать, не было ли в данном языке или группе языков внутренних предпосылок, которые могли бы привести к тому же результату. В таком случае субстрат мог играть роль только катализатора. Яркой иллюстрацией несоблюдения этого положения служит теория субстратного происхождения оканья и устранения сингармонизма в узбекских говорах. На самом деле все эти явления медленно и постепенно назревали в самих тюркских языках, а иранское влияние явилось катализатором, ускорившим эти процессы.

Исследование языков методами ареальной лингвистики гораздо более полно раскрывает особенности отдельных тюркских языков. Предложенные классификационные схемы тюркских языков используют довольно ограниченный набор признаков. К тому же, существующее в различных тюркских языках и диалектах огромное число сходных явлений, которые иногда используются в качестве классификационных признаков для выявления генетических общностей, на самом деле нередко оказываются конвергентными явлениями. Такой, например, признак, как губная гармония, с одной стороны, способствует укреплению агглютинативного строя, а с другой оказывается рецессивным. (Этот тип гармонии соблюдается, например, далеко не во всех диалектах киргизского языка, в котором он наиболее ярко выражен.)

Для того чтобы из массы перекрещивающихся изоглосс, характеризующих зоны распространения родственных языков, выделить классификационные дистинктивные признаки, необходима особая методика. Так, в качестве дистинктивных могут быть использованы внешне совершенно одинаковые признаки только при том условии, если они обладают различной степенью частотности, т. е. различной дистрибуцией по языкам. В качестве дистинктивных признаков можно также использовать явления, имплицативно связанные, отражающие определенные системные взаимозависимости. Ср. *й* > *ч* в тувинском, хакасском и шорском языках и сонаризация интервокального *ж*; наличие узких редуцированных гласных и сужение гласных в татарском языке и т. д. Очень важным является включение лексических признаков в число классификационных при обязательном условии охвата всех уровней лексики. Применение современных статистических методов при этом позволит определить проценты материально родственных слов.

Ареальная лингвистика, самым тесным образом связанная с детальным изучением диалектных данных, значительно расширяет возможности компаративиста. Компаративист пользуется сравнительно ограниченным набором данных для сравнения, нередко стремится представить процесс развития звуков (или форм) линейно, отмечая на этой линии возможные этапы развития. Последнее может привести исследователя к довольно односторонним выводам. Так, например, «первоначальный *й* трансформируется в *дж*» —

[24] Там же, стр. 154.

эта обедненная схема исторического развития не дает детального представления, как такой фонетический процесс мог происходить в действительности; исследователь в таком случае вправе только гипотетически предполагать возможные промежуточные звенья развития этих звуков. Преимущества лингвиста, занимающегося проблемами ареальной лингвистики, заключаются в том, что он, благодаря большому количеству зафиксированных состояний звуков, форм на различных языковых территориях, имеет возможность составить более наглядное представление об этих процессах. Так, например, данные ареальных исследований свидетельствуют о том, что *й* > *дж* происходил постепенно на фоне многочисленных колебаний. Зарегистрированные зоны вибраций *й* ~ *дж* ~ *ж* отражают такие состояния языков, когда либо начинается аффрикатизация *й*, но полностью не завершается, либо, наоборот, происходит йетизация *дж* вследствие языковых контактов. Действовала и тенденция освободиться от старого *й* как звука более слабого и заменить его аффрикатой *дж*. Сам процесс аффрикатизации *й* сохранил в реликтовом состоянии промежуточные ступени, в числе которых одной из ранних является ступень *й* > *д*/*д'*, благодаря чему вся схема может быть представлена в виде ряда *й* > *д'* > > *дж* > *ж'* > *ж* > *з*. Ср. у казахов Кустанайской области: *дүзік* ~ *жүзік* «кольцо», *дүз* ~ *жүз* «сто»; в галляаральском говоре узбекского языка *дастық* вместо *жастық* «подушка», ккалп. диалектн. *дастық*; азерб. диалектн. *думрух* вместо *иумрух* «кулак»; к.-балк. диалектн. *дулдуз* ~ *жулдуз* ~ *зулдуз* «звезда» [25].

Ареальное исследование тюркских языков позволяет в известной мере определить истоки явления, обнаруженного на одних территориях и получившего продуктивное развитие на других территориях; при помощи приемов ареальной лингвистики проясняются подходы к будущему изменению. Так, например, десингармонизация части узбекских диалектов, в частности, ослабление палатальной гармонии, была усилена иноязычным влиянием. Истоки этого сложного фонетического явления коренятся в самой системе вокализма тюркских языков. Неустойчивость фонемы *а*, ее склонность к разного рода фонетическим трансформациям (ср. *а* ~ *ы*, *а* ~ *о*, как и тенденции к опереднению, явление умлаута), совпадения фонем *ы* и *и*, *о* и *ө* в узбекских, уйгурских, киргизских говорах — все это приводило к ослаблению противопоставления гласных по ряду, а это, в конечном итоге, создавало десингармонизованные ряды. Этот перебой рядов как импульс дальнейших изменений нашел отражение в различных диалектах и говорах тюркских языков (ср. в киргизском ноокатском говоре *этäң* вместо кирг. лит. *атаң*). Истоки разрушения палатальной гармонии следует искать и в таких внутрисистемных особенностях фонетической структуры тюркских языков, как более задняя артикуляция умлаутированных гласных в карлукских языках, повышенная склонность к редукции в кыпчакских языках, тенденция к опереднению *к* и к его трансформации в *х*. Эти факты, широко отмечаемые в живых диалектах среднеазиатских тюркских языков, могли приводить к ослаблению противопоставлений по ряду, а тем самым и к десингармонизации. Истоки оканья можно зарегистрировать там, где отмечается некоторая открытость слегка редуцированного начального *а* первого слога (типа *қара*). Исторические фазы развития оканья (при его усилении в иноязычном окружении) представлены в системе узбекских диалектов и соприкасающихся с ними других диалектов тюркских языков,

[25] А. Байжолов, Языковые особенности казахов Кустанайской области, Алма-Ата, 1964, стр. 11; В. Эгамов, Галля-аральский говор Самаркандской области. АКД, Самарканд, 1954, стр. 11; М. Ширәлијев, Азәрбајчан диалектолокијасынын әсаслары, Бакы, 1962, стр. 85; А. М. Аппаев, Диалекты балкарского языка в их отношении к балкарскому литературному языку, Нальчик, 1960, стр. 48.

где зарегистрированы поэтапные внутрисистемные изменения фонетической структуры (появление фонемы *а* обусловливает характер и распределение фонем *ӓ* и *а*). Зарегистрированные к юго-востоку от Ташкента в районе Ангренской долины, в районе, где не отмечалось сколько-нибудь интенсивное смешение с таджикским населением, многочисленные случаи неустойчивости, вибрации оканья и аканья отражают угасание оканья.

В связи с преимуществами ареальных исследований, которые предоставляют лингвисту в живом их воплощении зарегистрированные промежуточные этапы в развитии отдельных звуков и форм, уместно привести высказывание немецкого диалектолога Р. Хильдебрандта. Характеризуя «Диалектологический атлас немецкого языка» он замечает: «Оптически синхронная картина немецкой языковой области образцово представлена сотнями карт. Все немецкие диалектные ландшафты могут быть показаны со всеми подробностями на многочисленных картах. Такие примечательные изменения звуков в истории немецкого языка, как верхненемецкое передвижение согласных, новонемецкая дифтонгизация и монофтонгизация, а также многие случаи территориально ограниченных изменений звуков, предстают перед глазами в одном синхронном срезе» [26].

Ареальные исследования не только уточняют представления о языках того или иного региона, но и имеют общеязыковедческое значение. Так, установление зон распространения целого ряда явлений, как и типов изоглосс (особенно конвергентных), способствуют выявлению существенных в общеязыковедческом плане процессов. Ареальные исследования убеждают в том, что при объяснении изоглоссных явлений важно учитывать следующие факторы: общую типологию изменения звуков в различных языках, возможность внешних влияний со стороны иносистемного языка, субстратные напластования, а также внутрисистемные условия развития изучаемого явления.

Для теории общего языкознания могут представить интерес процессы, происходящие в пограничных районах, а именно языковая интерференция смежных диалектов, дающая далеко не одинаковые результаты в каждом конкретном случае. Ареальные исследования позволяют наметить некоторые тенденции в усвоении различных языковых черт. Результаты ареальных исследований, расширяя возможности компаративиста, позволяют разработать методику определения потенциальной направленности влияния, динамику распространения явлений, а также предложить более строгую методику выделения классификационных дистинктивных признаков. Таким образом, разработка методов ареальной лингвистики может явиться необходимым дополнением к методам генетического, типологического и социологического исследования языков.

---

[26] K. H i l d e b r a n d t, Der Deutsche Wortatlas als Forschungsmittel der Sprachsoziologie, в кн.: «Wortgeographie und Gesellschaft», Berlin, 1968, стр. 140.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 1 1975

Б. М. ЗАДОРОЖНЫЙ

ИСТОРИЯ ЯЗЫКА И ЭКСТРАЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ

Концепция языка как социального явления, обладающего особой, только ему присущей формой существования, способствовала выделению лингвистики в совершенно отдельную и самостоятельную дисциплину и определению ее места среди гуманитарных наук.

В отличие от предыдущих этапов истории лингвистики, язык не рассматривается представителями большинства современных школ в качестве самодовлеющего имманентного объекта, поддающегося изучению при использовании методов, близких методам природоведческих наук прошлого. Этими путями шел не один только А. Шлейхер, находившийся под влиянием дарвиновского эволюционизма, но и по существу вся позитивистская по своей философской природе школа младограмматиков, породившая своеобразный имманентный историзм как методологическую платформу научного языкознания. Нет спора, что на том этапе развития науки такой подход к языковой проблематике был вполне оправданным и перспективным. Деятельность этой школы, несмотря на все ошибки и просчеты, нельзя расценивать иначе, как грандиозный научный подвиг, значение которого невозможно переоценить и влияние которого будет заметным в течение еще долгого времени. Но, с другой стороны, понимание языка как самодовлеющего объекта привело не только к определенному атомизму, но и к таким уродливым извращениям, как концепция К. Фосслера или как шовинистическое по существу учение о «грамматике, направленной на содержание». Представители неоромантического, неогумбольдтианского направления из школы Л. Вейсгербера создают фикцию некоей самостоятельной и роковой «действующей силы», влияющей на мировоззрение и направленность действий того или иного языкового коллектива [1].

Структурное языкознание XX в. определило свое место среди наук гуманитарного цикла благодаря осознанию символического и двойственного характера языкового знака. Это открытие де Соссюра оказалось связующим звеном между языком и его носителем и потребителем — человеком. Именно в плане отношения «язык — человек» выкристаллизировались противопоставления таких понятий, как «сущность — проявление», «инвариант — вариант», «релевантное — иррелевантное». Расширение перспективы исследования от понятия «человек — индивид» к понятию «человек — социальное явление» порождает лингвистическое противопоставление «общее — индивидуальное», или в чисто языковедческой формулировке — «язык — речь». Все это вместе взятое ведет неизбежно к осознанию системного характера языка, наличия ряда взаимосвязанных систем на всех его уровнях. Дальнейший логический шаг — постановка вопроса о сущности и природе языковых систем; это ставит задачу исследовать систему, так сказать, в чистом виде, т. е. в условиях

[1] Ср.: М. М. Гухман, Лингвистическая теория Л. Вейсгербера, сб. «Вопросы теории языка в современной зарубежной лингвистике», М., 1969.

отрешенности от всего инородного и несущественного, могущего затемнить или даже исказить перспективу исследования. Здесь источник различных формальных (но не «формалистских» в философском смысле!) методов и приемов языкознания, послуживших между прочим мишенью самых яростных нападок со стороны критиков «справа и слева». Отметим, что путь, по которому движется современная наука о языке, определяется логикой эволюции науки и поэтому закономерен и неизбежен.

На данном этапе мы мало знаем о строении материального субстрата языка — речевых центров человеческого мозга и почти ничего не знаем об их функционировании [2]. Мы только полностью осознали ту истину, что без наличия системы абстрактных лингвистических сущностей человек просто не был бы в состоянии овладеть языком; более того, язык как простая сумма не связанных между собой значащих элементов вообще не мог бы возникнуть. Зарождение языка — это зарождение первого, пусть самого примитивного, семантического противопоставления по крайней мере двух звучащих элементов, объединенных общей основой, т. е. зарождение системы.

На этом уровне пока остановилось синхроническое языкознание. Именно здесь постулат устранения из кругозора исследователя всех экстралингвистических факторов имеет особо сильное звучание [3]. Что же касается общей (общечеловеческой) лингвистики, то здесь уже сегодня становится возможным (и необходимым) учет следующей характерной черты человеческой психики: восприятие человеком фактов окружающего мира, в том числе и речи собеседника, является активным процессом классификации и абстрагирования; с этим связано выделение человеком отдельных элементов окружения в их соотношениях (контрастирование и приложение определенных, выработанных практикой и отработанных обществом матриц). Все это указывает на абстрагирующий и структурный характер мышления человека и призвано бросить свет на самые существенные, глубинные черты языка. Именно здесь покоятся истоки разрабатываемых сегодня методов порождающей грамматики, т. е. языкознания с позиции говорящего (кодирующего); задачей же будущего остается разработка методов рецептивного языкознания с позиции воспринимающего речь (декодирующего) [4] с учетом, например, такого исключительно важного фактора, как оперативная память человека.

Таким образом, изучение языка с позиции говорящего и слушающего человека («экспедиента» и «реципиента») — вот в чем сущность лингвистики сегодняшнего дня и ближайшего будущего. Изложенные установки ведут к неизбежному выводу, что основным и ведущим аспектом исследования человеческого языка является аспект функционально-синхронический, позволяющий подойти к нему как к некоей установленной и стабильной данности, т. е. именно так, как он понимается и воспринимается рядовым пользующимся речью человеком.

Здесь, однако, кроются истоки противоположной стороны сущности языка — его вечно изменчивой природы как категории исторического порядка. Только что упомянутый факт подхода человека к языку как к установленному социальному институту (отношение к которому отнюдь

---

[2] Относительно связи между явлениями афазии и проблемами лингвистики см. вторую часть книги: R. Jakobson, M. Halle, Fundamentals of language, 's-Gravenhage, 1956 (с литературой вопроса).

[3] Этим, конечно, не снимается вопрос о том, где проходит границу между экстра- и интралингвистическими сущностями.

[4] Библиография по данному вопросу довольно полно собрана в книге: М. Деркач, Р. Гумецкий, Л. Мишин, М. Оверченко, М. Чабан, Восприятие речи в распознающих моделях, Львов, 1971.

не ограничивается только лишь потребительским аспектом, но всегда характеризуется в меньшей или большей степени эмоциональной насыщенностью) неизбежно порождает разнообразные тенденции к нормированию языка (в самом широком понимании). Чувство принадлежности к данному коллективу (опять в широком понимании) способствует выработке черт используемого языка (в его звуковом проявлении), общих всем членам данного коллектива, причем черт не только релевантного порядка, существенного для налаживания нормального функционирования языка в обществе, но, конечно, и иррелевантного порядка в сфере языковой избыточности. Именно актуальная и потенциальная избыточность всех уровней является самой гибкой и пластической сферой, где и зарождается большинство языковых изменений и где тенденции к выработке тех или иных норм сказываются с наибольшей силой. Заметим, что нормирование языка — это не только и не столько сознательная кодификация, проводимая признанным в обществе индивидуальными или коллективными авторитетами. Для нас особенно важна и совершенно стихийная регулировка речевой реализации лингвистических систем и их элементов, действующих в данный момент и в данной языковой общности: в разных исторических и социальных условиях эти системы и элементы могут принимать самые разнообразные формы. Так возникает парадоксальная ситуация: языковые изменения происходят именно ради того, чтобы обеспечить неизменность и стабильность языковой нормы как социального института [5].

Упомянутая стихийная регулировка может, очевидно, осуществляться в двух противоположных способах реагирования на новшества любого уровня: невосприимчивости и, наоборот, восприимчивости. В первом случае любое, зачастую физиологически обусловленное отклонение от привычной нормы в реализации того или иного языкового элемента (от отдельного звука к слову и словосочетанию) вызывает негативную реакцию говорящих [6]. Характерно, что в таких случаях соблюдение рамок нормы остается вне осознанного восприятия, являясь чем-то совершенно нейтральным (мы воспринимаем не аллофоны, а только фонемы, не алломорфы, а только морфемы и т. д.). Только то, что не укладывается в рамки привычного, противоречит установленной норме, вызывает, образно говоря, «зажигание красной лампочки» в сознании окружающих и, как следствие, соответствующую реакцию, которая может получить даже политическое звучание [7].

Именно таким способом проявляется тенденция к осуществлению стабильности языка данной общности. Но возможен и противоположный случай, выражающийся в готовности к восприятию того или другого новшества. Это бывает, как правило, в первую очередь в случаях появления добровольно признанного авторитета. Низшие слои классового общества или считающие себя таковыми имитируют манéру речи высших слоев, заменяя «неправильные» формы «правильными»; общественно

[5] Ср. по данному поводу: Л. М. Скрелина, Некоторые вопросы развития языка, Минск, 1973, в частности стр. 9—11.

[6] Очень характерной была, например, в первые десятилетия после воссоединения эмоционально-отрицательная реакция прибывших с востока украинцев на корональный способ палатализации переднеязычных согласных (*з′, с′, дз′, ц′*) в речи жителей западных окраин Галиции (как в польском языке), противостоявшей общеукраинской норме апикальной палатализации. Также и противопоставление указательных местоимений *этот — тот*, реализовавшееся раньше многими жителями Западной Украины парой форм *той — таттой* (ср. польск. *ten — tamten*), уступает место общеукраинскому *цей — той;* но в данном случае имеются признаки компромиссного решения конфликта путем образования трехэлементного ряда *цей — той — таттой*, аналогично латинскому *hic — ille — iste*.

[7] Насчет «*e* Saxonum» как «лютеровской ереси» см.: В. М. Жирмунский, История немецкого языка, М., 1965, стр. 83.

признанный культурный центр (внутри или вне данного языкового ареала) оказывает свое влияние на периферию; побежденные считают нужным (и в прошлом зачастую принуждались) говорить так, как победители. Так возникают процессы, обусловленные различными случаями иноязычного влияния [8], иррадиации, и могущие впоследствии оказать самое существенное влияние на пути дальнейшей эволюции того или иного уровня данного языка. Все это, между прочим, говорит о далеко не безразличном отношении данной общности к своему языку.

«Невосприимчивость» и «восприимчивость» как два противоположных вида отношения к новшествам являются, таким образом, по существу двумя сторонами одного и того же социолингвистического явления, заключающегося в восприятии языка как существенного элемента, характеристики, своего рода «визитной карточки» говорящего индивида, с одной стороны, и данной языковой общности (племени, народа, общественного слоя, класса) — с другой.

Исследуя причины и пути взаимовлияния языков, необходимо, по-видимому, учитывать различные варианты взаимоотношений между различными языковыми общностями. Тут же приходится указать на факты «сильной» и «слабой» позиции контактирующих языков, обусловливающих не столько направление влияния (в первую очередь лексического), как его характер. Мы ограничимся здесь несколькими примерами. Латинское заимствование *Mauer* < *mūrus* в сопоставлении с германским по происхождению словом *Wand* (ср. *winden*) указывает на проникновение слова и понятия (вместе с обозначаемым предметом) из ареала, занимающего (и фактически, и в субъективном восприятии) более высокое культурное положение, чем заимствующая языковая общность. Наоборот, славянский германизм *хыжа* < герм. **xūsa-* в сопоставлении с исконно славянским существительным *домъ* является случаем проникновения («инфильтрации») слова и понятия из ареала, находящегося на более низкой ступени развития (в данном случае — техники строительства), в ареал более высокого состояния культуры, что данной общностью и осознается. В обоих случаях германский ареал занимает «слабую» позицию и в отношении к римскому (латинскому), и в отношении к славянскому ареалам. В результате семантическое и субъективно-оценочное соотношения между членами обоих пар (др.-нем. *mūr* — *want*; слав. *хыжа* — *домъ*) прямо противоположны. В первом случае заимствование выражает понятие, соответствующее предмету более совершенному, чем «свое» исконное слово (*mūr* «капитальная каменная стена», *want* «плетень, обмазанный глиной»); во втором — наоборот, «свое» слово соответствует понятию, характеризуемому оценочным и, наверно, фактическим преимуществом в сравнении с заимствованием (*домъ* «капитальная стационарная постройка», *хыжа*, *хызъ* «землянка, временный шалаш»). Оценочная сторона их семантики не обязательно отражает фактическую ступень развития культуры обоих сторон.

Однако в большинстве случаев направление процессов заимствования идет от ареала, характеризуемого «сильной» позицией, к ареалу со «слабой» позицией. Заметим, что противопоставление «сильный — слабый» не обязательно всегда соответствует противопоставлению «с более высокой культурой — с более низкой культурой». Здесь нередко решающую роль играют различные факторы политического, экономического и, наконец, психологического порядка. Вспомним, например, сложные взаимоотношения между греческой и римской культурами, сложившиеся в результате включения Греции в Римскую империю. Здесь греческий

[8] В нашем понимании понятие «иноязычный» не обязательно равнозначно понятию «иностранный».

язык (как носитель богатых культурных традиций) не сразу оказался в положении «слабой» позиции. Вспомним также процессы возрождения чешского языка, находившегося во времена австрийской империи на грани полной гибели. Создание усилиями народа «сильной» позиции для этого языка спасло его от полного уничтожения, но не предохранило от проникновения массы германизмов под видом различного рода калек [9].

Итак, невосприимчивость (непроницаемость) языка непосредственно зависит от «прочности» позиции, присущей ему в данную историческую эпоху. «Сильная» позиция является, как правило, функцией внешних, экстралингвистических факторов, что и было показано выше. Только в самых исключительных случаях языковая непроницаемость обеспечивается морфологическим или даже фонетическим своеобразием, т. е. интралингвистическими факторами. Нам известен только один язык этого рода — исландский, морфологический строй которого является преградой, стоящей на пути проникновения иноязычного лексического влияния [10]. Но любопытным примером своеобразного сопротивления иноязычному влиянию может послужить и древнегреческий язык, который, хотя в самые древние времена и находился в известной степени на «слабой» позиции в отношении таких языков, как древнеегипетский [11] и ассирийско-вавилонский, фонетически и морфологически трансформировал заимствования таким образом, что они предстают перед нами как исконно греческие слова. Вспомним, например, имя богини Ἀφροδίτη (по народно-этимологическому толкованию «созданная из пены», ἀφρογενης), происшедшее из семитического *Aštoreth* [12]. Точно так же и семитическое по происхождению существительное χιτών не отличается по своему составу ничем от исконно греческого χθών «земля» [13]. Только в текстах из значительно более поздних эпох (например, в «Novum testamentum») мы находим ряд заимствованных нарицательных слов и имен, распознаваемых с первого взгляда как негреческие (*hyssop*, *Mariam*).

*

Таким образом, если синхроническое описание языка предполагает почти исключительно интралингвистический подход [14], то диахроническая точка зрения требует постоянного учета самых разнообразных экс-

[9] Калькирование с немецкого языка продолжается в известной мере по сегодняшний день; ср. немецкий ряд *Eintrittskarte — Fahrkarte — Flugkarte* с соответствующим чешским: *vstupenka — jízdenka — letenka*.

[10] Ср.: Э. Вессен, Скандинавские языки, М., 1949, стр. 62—65; М. И. Стеблин-Каменский, История скандинавских языков, М.—Л., 1953, стр. 299—301.

[11] См.: П. В. Ернштедт, Египетские заимствования в греческом языке, М.—Л., 1953 (с литературой вопроса).

[12] Такое «вуалирование» заимствований — явление, кстати, довольно обычное и объясняется в первую очередь необходимостью «приноровить» фонетический и морфологический состав заимствования к системе воспринимающего языка, и кроме того, тенденцией создать для нового слова какую-то свою «внутреннюю форму». Однако степень преобразования иноязычных слов в древнегреческом языке так значительна и своеобразна, что невольно возникает вопрос: не связано ли это с психологически-эмоциональным фактором сознательного противопоставления своего греческого племени всем другим (Ἕλληνες — βαρβαροι) с ярко выраженной оценочной окраской?

[13] См.: E. Boisacq, Dictionnaire étymologique de la langue grecque, 2-e éd., Heidelberg — Paris, 1923.

[14] Но и здесь имеются свои ограничения. Достаточно обратить внимание на известное положение общей фонологии, заключающееся в том, что дифференциальные возможности гласных убывают с ростом их открытости. Ср. также случаи совпадения результатов палатализации небных и переднеязычных согласных в синхронном плане, что ведет к омофонии аллофонов — реализаторов различных фонем.

тралингвистических факторов в их взаимоотношениях с интралингвистическими процессами и тенденциями.

Ниже будет сделана попытка показать на материале преимущественно из истории немецкого и английского языков случаи взаимодействия экстра- и интралингвистических факторов в различных сферах языка.

Вопросы лексического взаимодействия языков и диалектов разработаны на материале немецкого и других германских языков, пожалуй, самым тщательным образом в работах Т. Фрингса и его школы. В четырех сборниках его работ, вышедших под названием «Sprache und Geschichte» [Halle (Saale), 1956], а также в труде «Grundlegung einer Geschichte der deutschen Sprache» [Halle (Saale), 1957] мы находим массу интереснейших сведений как о лексическом взаимовлиянии диалектов, так и о вхождении в немецкий (и другие германские языки) понятий и слов из языков окружающих культурных сред (преимущественно латинского и романских языков). Но выдающегося немецкого исследователя, по-видимому, не занимали вопросы внутриязыковой «готовности» к восприятию этих заимствований, или же, наоборот, внутриязыкового сопротивления, противодействия вхождению в лексический состав иноязычных слов. Остается, например, неясным, почему языки древнегерманских скотоводческих племен и народностей вдруг ощутили необходимость (если таковая вообще имела место) в заимствовании слова *Butter* и *Käse* (греч.-лат. *būtȳrum*, лат. *caseus*), а через несколько столетий и слов *Quark* (< польск. *twaróg*) и *Schmetten* (< зап.-слав. *smetana*). Неразрешенным остается вопрос и о факторах, определяющих пути создания в древнегерманских языках слова-термина для обозначения проникшей с юга новой техники писания с применением чернил. В готском языке был переосмыслен глагол *meljan* с не совсем ясным первичным значением (от *mel* «знак»: «обозначать при помощи рисунка; рисовать» и т. д. [15]), в немецкий и англо-саксонский был заимствован латинский глагол *scrībere* (причем в английский язык, очевидно, позднее, чем в немецкий, что явствует из фонетического облика: др.-англ. *scrīfan* > совр. англ. *shrive* с результатом романского фонетического процесса: *-b-* > *-v-*). Это латинское слово сразу же вступает в конфликт с исконным германским сильным глаголом **wrītan* «вырезывать (руны)», однако исход конфликта иной в немецком языке, чем в английском. В первом случае побеждает заимствование; в современном немецком языке понятие «писать» передается глаголом *schreiben*; **wrītan* > *reissen* переходит в другой семантический круг (смутное воспоминание о былой сфере его употребления сохраняется лишь в образованиях *Reissfeder* и *Reissbrett*) [16]. В английском же языке все произошло в обратном направлении. Исконно германский глагол *wrītan* > совр. англ. *write* сохраняет первоначальное значение «писать», несмотря на изменение технической стороны этого действия; глагол же *shrive*, находившийся уже в момент своего хронологически относительно позднего попадания в английский язык в слабой позиции по отношению к *write*, очутился на периферии английского лексического состава: в др.-англ. *scrīfan* выражал специфицированное значение «предписывать (покаяние)», а в совр. англ. *shrive* означает «отпускать грехи».

---

[15] См.: W. Streitberg, Die gotische Bibel, Zweiter Teil: Gotisch—griechisch—deutsches Wörterbuch, 2. Aufl., Heidelberg, 1928, стр. 93; F. Holthausen, Gotisches etymologisches Wörterbuch, Heidelberg, 1934, стр. 70. Кстати, подобную семантическую эволюцию проделал и русский глагол *писать* (ср. *пестрый*, *пес*), см.: М. Фасмер, Этимологический словарь русского языка, III, М., 1971, стр. 266.

[16] F. Kluge — W. Mitzka, Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache, 20. Aufl., Berlin, 1967.

Не менее интересным было бы сравнительное изучение исторических судеб глаголов, выражающих понятие «читать»— нем. *lesen* и англ. *read* (ср. нем. *raten*), учитывая, что первый представляет собой семантическую кальку лат. *legēre*.

Вопросами взаимодействия исконной и заимствованной лексики в структурном плане занимался в своей книге В. В. Мартынов [17]. Несмотря на ряд спорных этимологических построений [18], эта работа примечательна широкой постановкой вопроса о структурных последствиях попадания иноязычного слова в данную лексическую систему; в ней показаны многие случаи семантического контрастирования (поляризации) пар лексем, первично синонимичных, из которых одна исконного происхождения, вторая же является заимствованием (точнее —«инфильтрацией») из другого языка. Но возможны и противоположные явления (касающиеся в данном случае обозначающей стороны языкового знака) — процессы вторичной омонимизации при условии вхождения соответствующих лексем, обладающих различающимися формами своего фонетического облика [заимствование: исконное слово, например, англ. *pit* «колодец» < лат. *puteus*: *pit* (амер.) «косточка во фрукте» (возможно, от *pip* < *pippin* — французского происхождения), или оба заимствованные], в различные, не соприкасающиеся в синтагматике семантические сферы. В этой связи поучительной является судьба двух латинских глаголов, заимствованных в немецкий язык: *constāre* «стоить (деньги)» и *gustāre* «пробовать (на вкус)» [19]. Оба получили в немецком языке звучание *kosten*. Омонимия обоих глаголов сохраняется и в польском языке, куда они попали из немецкого: *kosztować*. Но в украинском, заимствовавшим эти глаголы из польского, произошла вторичная их дифференциация: *коштувати* «constāre»: *куштувати* «gustāre» (в неударном положении дисперсионные поля реализаций украинских фонем / о / и / у / пересекаются).

Таким образом, различные формы взаимодействия экстра- и интралингвистических факторов в сфере лексической системы языка вполне очевидны.

Более сложными являются вопросы о действии экстралингвистических факторов в категориальной (грамматической) и асемантической (фонематической) сферах языка. Имея в виду различные случаи взаимовлияния языков и оставляя в стороне мысли Н. С. Трубецкого и других относительно «языковых союзов», а также теорию «звукосимволизма» (которые уже по постановке вопроса не входят в рамки данной работы), отметим, что здесь немаловажную, хотя и не всегда решающую роль играет фактор степени родства контактирующих языков (диалектов, говоров). Это касается не только грамматической (морфологической) и фонетической сфер языка, но и фактов конвергенции «внутренней формы» языка в условиях ощутимого сохранения его «внешней формы». Необходимой предпосылкой проникновения иноязычных элементов в грамматический и фонематический уровни языка является также двуязычие, охватывающее достаточно

[17] В. В. Мартынов, Славяно-германское лексическое взаимодействие древнейшей поры, Минск, 1963, в частности, стр. 20—42. Интересный материал, иллюстрирующий факты славянского лексического влияния на немецкий язык, находим в книге Е. В. Опельбаума «Восточнославянские лексические элементы в немецком языке» (Киев, 1971).

[18] Ср. нашу рецензию на труд В. В. Мартынова («Іноземна філологія», 21, 1970).

[19] Второй глагол рассматривается в этимологическом словаре Клуге — Мицка как исконное германское слово (стр. 397). Но первичное значение герм. корня **keus-/kus-* (<и.-е. **geu-*, *geus-*) было «выбирать» (ср. гот. *kiusan*, *kustus* и т. п.). Значение же «пробовать на вкус» древненемецкий глагол *kostōn* приобрел скорее всего под влиянием соответствующего латинского. Обращает на себя внимание факт включения его во второй класс слабых глаголов, что характерно для заимствованных из латыни глаголов на *-āre* (ср. *saltāre* > *salzōn*, *tractāre* > *trahtōn*, *ordināre* > *ordinōn* и ряд других).

широкие круги данной общности [20]. Языковая среда, привыкшая к особенностям адстрата, оказывающего влияние на ее язык, перестает остро реагировать на попадающие оттуда в заимствующий язык элементы. Это верно в первую очередь в отношении синтаксического и, во вторую, в отношении фонетического уровней. В условиях довольно близкого родства контактирующих языков наблюдается заимствование различного рода «служебных» слов (например, из русского в украинский), а также сохранение общих архаических явлений, вышедших из употребления в других частях данного ареала [21].

Важным фактором, делающим возможным проникновение в язык чуждых элементов (кроме культурных заимствований), является сам факт существования языковой избыточности (на уровнях как языка, так и речи) и различные ее внутренние отношения. Избыточность — это качество суммы языковых средств, которое дает возможность понять и раскрыть внутреннюю мотивировку процессов проникновения инородных элементов в различные сферы языка. Именно здесь находятся источники, образно говоря, «резонанса», возникающего в воспринимающем языке и стимулирующего не столь возникновение, сколь усиление, акцентирование, в некотором смысле осознание элементов, находившихся раньше где-то на периферии языка, или даже только в сфере языковой потенции.

Именно таким путем проникают в язык синтаксические заимствования. Покажем это на одном примере. Конструкция «винительный с инфинитивом», играющая в современном немецком языке некоторую роль, попала туда из латинского в начале исторического бытия этого языка и получила особенно широкое распространение в сочинениях Ноткера Немецкого и его школы (X—XI вв.). Однако возможность заимствования была как бы «подготовлена» наличием в древненемецком языке автохтонного трехчленного сочетания «винительный (реже: именительный) с причастием», причем, как известно, винительный падеж выступал после финитного глагола в активном залоге [*fand sia drūrenta* (Otfr. 1, 5, 9) «нашел их скорбящими»], а именительный — в пассивном [др.-англ. *þā wǣs hāten hreþe Heort innanweard folmum gefrætwod* (Beow. 991—992) «тогда было приказано быстро руками разукрасить хоромы»]. В тексте древненемецкого «Изидора» зафиксирован интереснейший случай контаминации обоих вариантов, в результате которой в пассивном безличном обороте выступает винительный: *ist hear offono araughit ziuuare Christan iu chiboranan ioh chimartorodan* (Isidor, V, 8) — лат. *Christus natus et crucifixus demonstratur*. Нет сомнения, что подобные явления служат выражением стремлений переводчика «приноровить» немецкий синтаксис к структуре латинского оригинала, не выходя в языке перевода за рамки дозволенного, хотя и сугубо маргинального [22]. Бросается в глаза близость данной др.-в.-нем. конструкции к латинскому обороту «винительный с инфинитивом». Ведь достаточно в конце предложения поставить форму *uuesan*, чтобы немецкая конструкция превратилось в точную копию латинского accusativus cum infinitivo (*Christan iu chiboranan ioh chimartorodan uuesan*). Вот почему в этом же тексте, характеризующемся превосходным и оригинальным стилем и сохранением духа древненемецкого языка, мы все-

[20] Для лексического заимствования двуязычие является решающим в случае процессов «инфильтрации».

[21] Ср. западноукраинскую форму будущего времени *я буду читав, -ла*, и польск. *będę czytał, -ła*, а также форму прошедшего времени *читав'ем* и польск. *czytałem*.

[22] Заметим, что такие конструкции с винительным после пассивного глагола без выраженного агенса возможны и в современном украинском языке: *В лісі було найдено малу дитину*.

таки находим и такие примеры, как: *ir almahtic got sih chundida uuesan chisendidan fona dhemu almahtigin fater* (лат. *qui omnipotens deus a patre omnipotente missum se esse testatur*) — Isidor, III, 9.

На близость латинского «винительного с инфинитивом» и германского «винительного с причастием» указывает один любопытный случай переформирования одной конструкции в другую, выступающий параллельно и в древненемецком «Изидоре», и в готском переводе библии: ср., с одной стороны, др.-в.-нем: *dhazs iu azs ant uuerdin chisehet arfullit wordan* (лат. *quod iam obtutu cernitur fuisse completum*) — Isidor, 43, 4—6, и, с другой стороны, гот. *hvan filu hausidedum waurþan in Kafarnaum* — Luc., IV, 23.

В дальнейшем возможна и контаминация германской конструкции «винительный с причастием» с заимствованной «винительный с инфинитивом». Пример такой контаминации находим в тексте древнеанглийского «Беовульфа»: *gif hē wæccende weard onfunde būon on beorge* (Beowulf, 2841—2842). Эта конструкция, называемая Г. Паулем ἀπὸ κοινοῦ, разлагается на два составных компонента: 1) *gif hē onfunde weard wæccende* и 2) *gif hē onfunde weard būon on beorge*. Заметим, что именно такая интерпретация соответствует коммуникативной интенции данного текста. В переводе лучше всего передать это место следующим образом: «Если он найдет, что сторож, живущий на горе, бодрствует».

Все это говорит о легкости, с которой заимствованный оборот был воспринят германским синтаксисом и вместе с тем раскрывает роль, которую в процессе заимствования сыграла сфера языковой избыточности.

Это же может касаться и путей эволюции морфологического уровня. Здесь также возможны случаи переноса отдельных явлений из языка в язык, однако лишь в условиях родственности адстратов [23]. Укажем на эволюцию морфологического противопоставления мн. числа ед. числу в спряжении английского глагола. Речь идет об изъявительном наклонении настоящего времени и — в пределах ед. числа — о форме 3-го лица.

Как известно, эволюция формального противопоставления мн. числа ед. числу в восточно-центральном, позже лондонском, диалекте английского языка шла следующими путями: 1) др.-англ. *bindeþ* : *bindaþ*; 2) ранне-ср.-англ. *bindeth/bindes* [24] : *bindeth*; 3) поздне-ср.-англ. (Чосер) *bindeth/bindes* : *binde(n)/bindeth* (*bindes*); 4) новоангл. *binds/bindeth* : *bind* [25].

Омонимизация форм ед. и мн. чисел в южноангл. говорах (*bindeth* — *bindeth*) — результат, как хорошо известно, эволюции безударного вокализма; по-видимому, и северноанглийская пара омонимов *bindes—bindes* возникла подобным же путем. Таким образом, эти явления — следствие действия интралингвистических факторов. Также и перенос окончания мн. числа *-en* из сослагательного (желательного) наклонения в изъявительное в центрально-английском можно считать интралингвистическим явлением. Но при создании противопоставления *bindes* : *binden* (совр. англ. *binds* : *bind*) действовали силы как экстралингвистического порядка, выражающиеся в конфронтации разных диалектных ареалов английского языка: северного (*binds*) и центрального (*bind*), так и интралингвистическая тенденция поляризации двух форм. Однако создание таким путем

[23] Что касается таких случаев, как, например, оформление дательного падежа немецкого причастия по образцу латинского третьего склонения в тексте древненемецкого произведения Отфрида Вейссенбургского: *gote helphante* (Otfr. V, 25, 7) (ср. лат. ablativus absolutus: *deo adjuvante*; соответствующая др.-в.-нем. форма — *helphantemu*), то они остаются вне нашего поля зрения.

[24] В случаях наличия вариативности форма, находящаяся слева от черточки, является более употребительной, чем ее другой вариант.

[25] Современная просторечная форма мн. числа *binds* не учитывается.

различия между двумя числами нельзя считать выражением абсолютной необходимости. В языке типа английского, требующем реализации при глагольном сказуемом подлежащего, нет необходимости в формальном выражении категории числа в спряжении глагола. Ведь, как только что упоминалось, и в южных, и в северных говорах английского языка такого различения нет; нет его и в нижненемецких говорах (*bindet* : *bindet*). Вызванный поляризацией контраст *he binds* : *they bind* является, таким образом, по существу гиперхарактеризацией противопоставления по линии категории числа, т. е. относится к сфере языковой избыточности.

В области звуковых ресурсов языка иноязычное влияние, так же как и в синтаксисе, возможно на первых порах только в тех случаях, когда имеются условия, способные вызвать соответствующий «резонанс» в фонологической системе воспринимающего языка. Если этого нет, то инородные фонетические элементы остаются где-то на периферии системы или вообще вне ее пределов и в большинстве случаев субституируются какими-то другими, более или менее похожими элементами своей системы. До сих пор фонические единицы *ƒ* и *g* остались чуждыми большинству украинских говоров (за исключением западных); фонема / ʒ / не вошла в состав немецкой фонологической системы; здесь и источник субституций: ср. укр. *Панас; геній* / h- /, нем. (просторечн.) / ʃurnal/ вместо /ʒ-/ [26] и т. п.

Однако в тех случаях, когда данная фонема все-таки имеется в системе воспринимающего языка, иноязычное влияние может сказаться на изменении ее дистрибуции, на модификации ее системных связей, ее утверждении в системе.

В свое время мы писали о роли французских заимствований в процессе упрочнения фонемы / dʒ / в системе английского языка [27]. Можно указать и на сочетание фонем *sk*, являющееся признаком английских слов скандинавского происхождения [28]. Точно так же и в немецком языке находящиеся в начальном положении аффриката *pf* и фонема, обозначаемая буквосочетанием *ch*, являются признаками слов иностранного происхождения. Таким путем аффриката *pf* была противопоставлена щелевому согласному *ƒ* в начальном положении (*Pfahl* : *fahl*, *Pfeil* : *feil*, *Pflug* : : *Flug* и т. д.), так же, как и в других позициях (*hopfen* : *hoffen* и т. п.), в результате чего образовалась эквиполентная оппозиция обеих фонем.

Сложнее обстоит дело с фонемой, обозначаемой как *ch* [29]. В начале слова она возможна только в иноязычных словах, причем, если следовать за «Словарем немецкого произношения» 1964 г. [30], она реализуется в данной позиции посредством двух аллофонов: /x, ç/. Но сущность распределения обоих вариантов по данным этого словаря совершенно неясна, так как фонетическое окружение в обоих случаях идентично: в словах *Charkow*, *Cherson* [31], *Chintschin*, *Chlestakow*, *Choresm* рекомендуется произ-

---

[26] С фонологической точки зрения субституция — не что иное, как включение данного иноязычного звука в дисперсионное поле аллофонов одной из фонем воспринимающего языка.

[27] См.: Б. М. З а д о р о ж н ы й, Питання зв'язку синхронного та діахронного методів при вивченні історії мови, «Іноземна філологія», 10, 1966, стр. 13.

[28] В отдельных случаях *sk* может находиться и в словах, происходящих из других языков, ср. глагол *bask* (из исландского; *-sk* — агглютинированное возвратное местоимение *sik*), этноним *Basque* и сущ. (видимо, франц. происхождения) *basket*.

[29] Из рассмотрения исключаются, конечно, итальянские, французские, испанские и английские слова, начинающиеся с /k/, /ʃ/, /tʃ/. Исключаются также слова, в которых *ch-* отображает результат эволюции $x > k$ (*Chor*).

[30] См.: «Wörterbuch der deutschen Aussprache», von einem Autorenkollektiv unter Leitung von H. Krech, Leipzig, 1964.

[31] По словарю «Der Grosse Duden, Rechtschreibung» (15 Aufl., Leipzig, 1957), топонимы *Charkow*, *Cherson* произносятся с /ç/. Три следующих слова в данном издании

носить [x], а в словах *Charis*, *Chersones*, *China*, *Chlamys*, *Choreus* — звук [ç]. Исходя из того факта, что в словах, сравнительно давно попавших в немецкий язык и в известном смысле прошедших процесс языковой ассимиляции, почти без исключения рекомендуется произносить [ç] (*Chalcedon*, *Charybdis*, *Cheiron*, *Chemie*, *Cherub*, *Chiasma*, *Chinin*, *Chirurgie*, *Cholesterin*, *Chrisma*, *Chrysantheme*), а также основываясь на собственных наблюдениях, нам представляется возможным сделать предположение, что появление [ç] в начале слова является системным явлением, соответствующим своеобразию немецкого консонантизма. В связи с этим становится ясной возможность появления [ç] и в составе суффикса *-chen*, несмотря на качество предыдущего звука (*Papachen*, *Frauchen*, *Kuhchen*). Дело в том, что позиции появления [ç] в их общей сложности нужно считать фонетически немотивированными в отличие от мотивированных позиций появления «напарника» этого звука — согласного [x]. Все эти соображения позволяют в новом свете поставить вопрос о фонемном статусе обоих рассмотренных фонических единиц. Скорее всего мы являемся свидетелями завершения процесса фонематизации двух бывших аллофонов единой фонемы и становления их фонологического противопоставления по привативной оппозиции (с [x] в качестве маркированного члена). В начале слова устанавливаются, между прочим, фонологические отношения данной фонемы с согласными, выступающими в той же позиции: в первую очередь с фонемой /j/, а также с /h/ (*chemisch* : *hämisch* : *jemine*). Роль, которую в описанных процессах сыграли иноязычные слова, очевидна.

Осталось еще обратить внимание на процессы общеязыковой конвергенции, являющейся следствием различных факторов экстралингвистического порядка (экономических, политических, культурных и проч.). Выше мы указывали на возможность изменения «внутренней формы» языка (диалекта), находящегося в более слабой позиции по отношению к другому при сохранении (хотя бы частичном) его «внешней формы», имея при этом в виду исторические судьбы языка древних саксонских племен, превратившегося впоследствии в нижненемецкий диалект. Как мы писали в другой своей работе, «...один язык становится диалектом другого родственного языка, если все его системы (лексико-семантическая, синтаксическая, словотворческая и фонологическая), сохраняя внешне (фонетически и морфологически) свою специфику, становятся в значительной мере как бы зеркальным отражением господствующего языка (диалекта). Семантические поля слов „конвергирующего“ диалекта начинают совпадать с полями слов господствующего языка; теряется самобытность синтаксических конструкций и лексических сочетаний; возникают широкие возможности „скрытого“ заимствования у господствующего языка путем „перевода“ слов на фонетическую систему конвергирующего диалекта» [32].

Изучение взаимодействия интра- и экстралингвистических факторов в процессах становления того или иного конкретного языка и познание общеязыковых закономерностей языковой эволюции — одна из основных задач диахронической лингвистики, ориентированной на говорящего человека [33]. Поиск «внутренних законов развития» языковых систем внутри отдельных ярусов и на их стыках является, несомненно, необходимой частью исследовательской работы историка языка, но, как было показано

не регистрируются. Кстати, разнобой между этими двумя словарями по распределению начальных /ç/ и /x/ весьма значительный.

[32] См.: «Вестник АН СССР», 1965, 4, стр. 131.

[33] Ср. в несколько ином плане работу Р. А. Будагова «Проблемы развития языка» (М.—Л., 1965). См. также: J. V a c h e k, On the interplay of external and internal factors in the development of language, «Lingua», 11, 1962.

на ряде примеров, такая работа может считаться завершенной, если становится в той или иной мере ясной конкретная картина языковой действительности, чего достичь без учета внешних факторов просто невозможно. Это ощущается особенно резко в отношении к современным литературным языкам, являющимся переплетением результатов действия самых разнообразных и разнородных действующих сил внутреннего и внешнего порядка. Одним из самых ярких примеров, подтверждающих данное положение, является современный немецкий язык. Если языковые факты, извлекаемые из глубин его истории, например, процессы первого передвижения согласных, допускают ограничение их толкования сугубо имманентными внутрисистемными факторами, то изучение второго передвижения не может не учитывать наряду с таковыми в равной мере и внешних исторических событий, стимулировавших процессы «оверхненемечивания» ряда немецких диалектов, что в свою очередь оказало непосредственное воздействие на формирование того же самого немецкого литературного языка.

Исходя из того, что основной задачей языкознания является определение языковых систем и условий их функционирования в общественной среде и вместе с тем исследование проблем порождения языковых сообщений (контекстов) в генетическом и функциональном планах, мы еще раз подтверждаем мысль, высказанную выше, что центральным и ведущим аспектом языковедческих исследований является аспект синхронический. Языковая диахрония — это последовательность синхронических состояний, связанных между собой различными проявлениями эволюционной динамики. В этом смысле она — нечто производное от языковой статики в вышеизложенном понимании, т. е. результат действия факторов, зарождаемых внутри языковых систем на данном синхронном срезе, или, иными словами, напряжений, возникающих между составными частями систем и между системами в целом, что ведет к нарушению внутрисистемного равновесия. К этому присоединяются, как было показано, и различного рода экстралингвистические факторы. Но в условиях ретроспективной ориентировки исследователя данные, добытые им путем исторической трактовки материала, могут бросить свет на природу исходного, т. е. более древнего состояния языка. Так, например, факт избыточности фонологических различий среди неударных гласных древненемецкого языка всплывает в эпоху становления языка средневерхненемецкого периода, когда был завершен процесс окончательной количественной и качественной нивелировки безударных гласных в результате устранения фонологических противопоставлений между ними. Таким образом, глубинное системное состояние языка данной эпохи раскрывается перед нашими глазами, когда мы в состоянии сопоставить его с состоянием последующей исторической эпохи.

Вот почему старое латинское изречение historia magistra vitae остается в силе и в настоящее время. История языка, это как будто огромный экспериментальный полигон, на котором осуществляются тенденции, являющиеся выражением самой внутренней сущности всех составных частей языка.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 1 1975

В. Г. АДМОНИ

СТАТУС ОБОБЩЕННОГО ГРАММАТИЧЕСКОГО ЗНАЧЕНИЯ В СИСТЕМЕ ЯЗЫКА

I. Центральным участком языковой системы является грамматический строй. Важнейший признак языка — это соединение формы со значением, звука со смыслом, плана выражения с планом содержания. На осуществление такого соединения так или иначе нацелены все звенья, все стороны и уровни языка и речи. Но некоторые из них участвуют в решении этой задачи, не воспроизводя непосредственно сами связь плана выражения с планом содержания, а лишь обслуживая эту связь, создавая для нее — правда, необходимые и поэтому исключительно важные — предпосылки. Это касается в первую очередь фонетической системы языка как таковой. Фонема выделяется в своем существовании внутри системы данного языка своей смыслоразличительной способностью. Но сама по себе фонема принадлежит лишь к плану выражения, а не к плану содержания. Между тем, единицы таких сфер языка, как лексика и грамматика, непосредственно осуществляют связывание плана выражения с планом содержания. В наиболее полной мере это касается грамматики, потому что единицы грамматики обладают как бы потенцированными значениями, обобщенными и наслаивающимися на лексические значения.

Являясь непосредственной ареной соединения плана выражения с планом содержания, лексика и грамматика оказываются теми сферами языковой системы, которые образуют ее сердцевину, составляют ее наиболее репрезентативный участок. А максимально репрезентативным является по отмеченной выше причине грамматический строй. Соединение формы и значения совершается здесь наиболее полно, сочетающиеся компоненты языкового знака выступают здесь в своем наиболее осложненном виде и в своей максимальной взаимообусловленности.

Именно центральная и репрезентативная роль грамматического строя в языковой системе делает его исключительно важным объектом изучения при исследовании природы языка. Нам кажется неслучайным, что наиболее глубокие языковедческие концепции, концепции В. Гумбольдта и А. А. Потебни, были построены в первую очередь на основе исследования грамматических явлений. Между тем, концепции более ограниченные и односторонние обычно базируются в первую очередь на других сферах (уровнях) языковой системы.

Так, младограмматическая концепция была прежде всего основана на исследовании звуковой системы языков, а грамматические явления трактовались как формы, с одной стороны, испытывающие влияние закономерного развития звуков, а с другой стороны, подвергающиеся воздействию общих психофизиологических законов. Конечно, в области грамматики учеными этого направления было сделано много ценных и важных наблюдений и накоплен огромный материал, но грамматика как таковая была все же лишь вторичным, производным объектом их исследования, а решающим — в области чисто лингвистической — объектом их исследования был звук человеческой речи. Соответственно и в структурализме,

особенно в американском дескриптивизме, несмотря на большой интерес к грамматике как таковой, решающим и исходным объектом исследования была звуковая сторона языка. Неслучайно все развитие грамматических исследований в дескриптивизме, а в какой-то мере и в других направлениях структурализма, стоит под знаком попыток перенесения на грамматику приемов исследования, выработанных при исследовании фонологической системы языка. И здесь надо подчеркнуть наличие новых важных наблюдений, сделанных структуралистами в области грамматики — в частности, в сфере изучения общих грамматических значений, но подлинной базой структуралистских исследований была все же звуковая область языка. Именно поэтому у крайних представителей структурализма могло возникнуть требование отказаться при исследовании грамматики от обращения к грамматическим значениям.

В течение многих десятилетий было принято рассматривать младограмматиков и структуралистов как два полярных, во всем противопоставленных друг другу теоретических направления в лингвистике. Но теперь, когда период структурализма — по крайней мере, в его классических проявлениях — уже закончен, становятся очевидными и те точки сопрокосновения, которые между ними существовали. Главная из них — ориентация как на решающий и отправной пункт в исследовании языка не на языковой знак в его целостности, а на одну из сторон этого знака, притом на сторону звуковую. Двигаясь в этом направлении, как младограмматики, так и структуралисты достигли исключительно больших успехов. Младограмматики создали понятие звукового закона — понятие, которое оказалось необычайно плодотворным и устояло как основное в исследовании истории языка, несмотря на ожесточенную критику со стороны психологистов, представителей территориальной диалектологии и некоторых структуралистов. Структуралисты создали фонологию (правда, совместно с такими исходившими из младограмматической традиции учеными, как Бодуэн де Куртенэ и Л. В. Щерба), ставшую неотъемлемой частью науки о языке. Но чрезвычайно характерно, что эти достижения в области звуковой системы языка являются, вместе с тем, вообще вершинными достижениями обеих этих теорий. В области грамматики как таковой не только младограмматики, но и структуралисты не могут предъявлять равных достижений.

Между тем, и на протяжении XIX века, и в XX в., наряду с развитием лингвистических теорий, ставивших во главу угла звуковую сторону языка, существовали и лингвистические теории, в центре которых стояла грамматическая проблематика. Кроме отмеченных нами имен, здесь можно назвать еще целый ряд языковедов, например (хотя и связанных так или иначе с младограмматическими концепциями) А. А. Шахматова, А. М. Пешковского, И. Риса, О. Есперсена. Во второй половине XX в. намечается общее движение к лингвистическим теориям, базирующимся на обращении к грамматике — помимо концепций, продолжающих традиции только что названных лингвистов, здесь можно отметить генеративную (трансформационную) грамматику, грамматику зависимостей, функциональную грамматику и т. д.

Конечно, и среди «грамматикостремительных» концепций имеется ряд существеннейших различий в трактовке грамматических явлений с точки зрения связывания в них формальной и содержательной стороны. Так, генеративная грамматика Н. Хомского на первом этапе своего развития вообще декларировала отказ от привлечения в своем анализе грамматических значений, хотя фактически она давала возможность в формализованном виде эксплицировать смысловую сторону грамматических явлений. От анализа семантики отказываются нередко и представители грам-

матики зависимостей. И все же характерный для последних десятилетий перенос центра тяжести в теории языка со звуковой системы на систему грамматическую представляется нам одним из проявлений общей тенденции лингвистики наших дней к более цельному, синтезирующему подходу к языку.

Такой подход окажется, однако, возможным лишь в том случае, если сами грамматические явления будут трактоваться в своей цельности, т. е. как образования, обладающие своей формальной структурой и своим обобщенным значением. Между тем, в языкознании высказывалось и нередко высказывается мнение, что обобщенное значение грамматических форм по ряду причин объективно установить невозможно, а изучение грамматической семантики теперь нередко отделяется от изучения грамматических форм.

В связи с этим представляется целесообразным в самом общем виде заново рассмотреть вопрос о природе значений грамматических форм. Поскольку для языков разного строя этот вопрос должен быть освещен по-разному, мы заранее ограничиваем себя материалом двух индоевропейских языков флективно-аналитического строя: русского и немецкого.

Однако предварительно необходимо в общем виде определить один общий принцип нашего подхода к языку, поскольку он противоречит одному в высшей степени распространенному положению ряда современных лингвистических теорий.

Теория грамматики не может быть сведена к какому-либо алгоритму, какой-либо последовательности порождающих операций, системе актов речемыслительной деятельности и т. д., хотя бы такое сведéние и было освящено тезисом Гумбольдта, что язык есть «энергия». Грамматика как деятельность предполагает существование грамматики и как внеоперационной системы. Грамматический строй существует в человеческой памяти как организованное многообразными связями иерархическое множество взаимосвязанных типов (моделей), одновременных в своем существовании. Хотя каждый из этих типов обладает способностью выступать в процессе формирования в речи и в конечном счете только для этого и создан, он вместе с тем определен в своем своеобразии как своей собственной структурой, так и своими отношениями к остальным компонентам внеоперационной грамматической системы языка. В этом смысле грамматическая традиция, включая концепции Соссюра и структурализма, с полным правом устанавливала грамматическую систему как систему внеоперационных парадигматических и синтагматических связей. Именно этот плацдарм и является тем плацдармом, на котором языкознание выступает наиболее суверенно и не может быть подменено никакой другой наукой, между тем как в сфере операционной грамматики решающее слово принадлежит психологии и физиологии речи, а языкознание в лучшем случае играет роль вспомогательной дисциплины.

Правда, полностью без обращения к психофизиологическим факторам, действующим в грамматическом строе, обойтись невозможно и во внеоперационной грамматике. Так, при отделении необходимых компонентов предложения от факультативных (метод «вычеркивания») исследователь основывается на восприятии (своем, а также других грамматистов, информантов и т. д.) некоторых словоформ как таких, без которых предложение в условиях максимальной удаленности от ситуации и контекста будет производить впечатление структурно незавершенного, т. е. дает предложению психологическую трактовку. Утверждение, что перенос какого-либо необходимого компонента предложения в его конец ведет к большей структурной целостности, цементированности предложения, также основывается на определенной концепции психического акта,

лежащего в основе построения предложения. Но во всех этих и подобных им случаях исследователь оперирует такими простейшими и явными чертами психоречевой деятельности, которые достоверны в своей эмпирической данности и поддаются несложной экспериментальной проверке. Кроме того, они привлекаются лишь для объяснения отдельных моментов грамматического строя, а не служат основой для толкования всего этого строя в целом и для его преобразования в цепь психоречевых актов.

Выступая как внеоперационная система, грамматический строй перебрасывает мост через стихию психоречевой деятельности и непосредственно образуется двумя конкретно представленными в социальной действительности, объективирующимися сторонами: формальной и смысловой. Исследование грамматического строя как двувершинного образования, с опущением связывающего эти две вершины подспудного психофизиологического механизма, представляется поэтому вполне оправданным не только из эвристических соображений, но и по существу, потому что в процессе речевой коммуникации обе эти вершины, приобретая значительную устойчивость, выявляют тесную связь друг с другом, обособившуюся от конкретных условий психофизиологического формирования речи. Если не сводить язык к речи, а видеть в нем и язык как таковой, то такое двувершинное рассмотрение его грамматического строя является неизбежным. Конечно, формальная «вершина» грамматики находит свое выражение в более четких структурах значительно более явно, чем «вершина» смысловая. Но и эта последняя может быть — по крайней мере, в своих существенных чертах — раскрыта без обращения к психоречевой деятельности человека с помощью сопоставления зафиксированного и подлежащего некоей фиксации в процессе речевой практики семантического содержания грамматических форм с явлениями и отношениями объективной действительности.

Мы возвращаемся здесь, таким образом, к проблеме обобщенного значения грамматических форм и переходим теперь к непосредственному рассмотрению этой проблемы.

II. Как у всякой науки, у языкознания есть ряд положений, которые, будучи раз намечены, остаются исключительно важными для всего последующего развития данной науки, хотя они могут с течением времени получать различную интерпретацию и более детализованную трактовку, а некоторыми направлениями в языкознании даже отвергаться.

К числу таких положений относится положение о том, что языковые явления, относящиеся к области грамматики, характеризуются наложением обобщенного значения на значение лексическое. Другими словами: грамматической форме свойственно наслаивание на лексическое значение выражаемого в ней лексического материала некоего обобщенного значения, характерного именно для данной грамматической формы.

Правда, конкретная трактовка этого положения стала за последние сто лет несколько иной, чем она была, например, у А. А. Потебни. Если для А. А. Потебни грамматическая форма отождествлялась с формой слова [1], то в современном языкознании ставится вопрос и о наслоении обобщенного грамматического значения на более частные значения таких синтаксических единств, как предложение и словосочетание. Наслаивание грамматических значений происходит здесь не на лексические значения отдельных слов, а на эти значения в их взаимосвязи, причем формальные связующие элементы, фиксирующие такое наслаивание, трактуются очень широко. Они не исчерпываются морфологическими формами,

[1] См.: А. А. Потебня. Из записок по русской грамматике, I—II, М., 1959, стр. 35—36.

а включают в себя формы просодические, формы порядка слов и формы сочетаемости, когда она выступает как явление, охватывающее целые разряды слов. А сама структура обобщенного значения грамматических форм стала рассматриваться в современном языкознании как образование сложное, не лишенное противоречий. Но по существу сам принцип наслоения значений обобщенных на значения лексические как примета грамматической формы остается незатронутым.

Наслаивание обобщенного грамматического значения на лексическое значение в грамматической форме резко отличается от соотношения разных значений в слове как лексической единице. Рассмотрим два вида смысловой структуры слова.

Конкретные значения, объединяемые в одной лексеме, т. е. непосредственные признаки, образующие значение слова, могут лежать в одной плоскости, конкретизируя друг друга. Конечно, и здесь одни признаки производят впечатление более общих, чем другие. Так, при анализе значения слова *стул* можно выделить, в частности, такие конкретные признаки, как: 1) «приспособление для сидения одного человека», 2) «обладающее ножками», 3) «обладающее спинкой», 4) «не обладающее ручками», причем первое из этих значений,— естественно, выступающее здесь именно как первое, так как оно содержится в признаке, который является функцией данного предмета,— может быть воспринято как более общее, на которое наслаиваются другие значения. Но по сути дела, здесь имеется пересечение нескольких различных, но не подчиненных друг другу рядов, каждый из которых мог бы быть сделан основой для характеристики значения данного слова. Так, признак: «обладающий ножками» сам может быть взят за основу при выделении ряда: *стул*, *стол*, *кровать*, *этажерка* и т. д. Именно такая одноплановость непосредственных признаков лежит в основе термина «семантические множители», иногда применяемого при компонентном анализе.

Возможно, однако, и иная форма компонентного анализа, вводящая более общие понятия, к которым возводится непосредственное значение данной лексемы с созданием определенной иерархической перспективы. Так, слово *мальчик* может раскрываться как соотношение значений: «человек»—«мужчина»—«ребенок» [2]. В этом ряду соотносимые понятия лежат уже не в одной плоскости, так что есть соприкосновение со структурой грамматического значения. Но здесь есть и различия. С одной стороны, этот ряд мог бы быть продолжен в направлении еще большей обобщенности: «человек — одушевленное существо — предмет». И на этом пути мы бы действительно пришли к значениям, совпадающим с грамматическими, но вводимым все же лишь в лексическом (т. е. не наслаивающемся на грамматическую форму) виде, который сам по себе способен выражать и самые обобщенные понятия. А с другой стороны, внутри этого ряда есть все же значения, которые, по сути дела, обратимы с точки зрения своей обобщенности: не только «ребенок» является спецификацией «мужчины», но и «мужчина» является спецификацией «ребенка», поскольку ребенок может быть как мальчиком («мужчина»), так и девочкой («женщина»). Таким образом, при иерархическом подходе к системе значений, заключенных в лексеме, все же не удается полностью уйти от «семантических множителей», пересекающихся значений, между тем как грамматическое значение есть всегда значение, не стоящее в одном ряду с лексическими значениями, а наслаивающееся на них.

---

[2] См.: F. Hundschnurer, Neue Methoden der Semantik, Tübingen, 1970, стр. 30.

Наличие обобщенного значения — это нормальное состояние грамматических форм, соответствующее их природе. Конечно, в каждом флективном и флективно-аналитическом языке могут быть обнаружены такие ряды грамматических форм, члены которых противопоставлены друг другу только по различиям в своем оформлении, а не по различиям в своем значении. Таковы, например, в германских языках, различия между сильными глаголами (образованными в некоторых частях своей парадигмы с помощью внутренней флексии) и слабыми глаголами (вся парадигма которых образуется без помощи внутренней флексии). Это, несомненно, определенное грамматическое явление, так как оно входит в конкретный морфологический инвентарь данных языков. Но это явление одномерно, лишено семантического обоснования и поэтому, казалось бы, противоречит провозглашенному нами принципу, в соответствии с которым обобщенное грамматическое значение свойственно грамматическим формам по самой их природе. Однако такие одномерные, чисто формальные явления составляют лишь незначительную часть, как бы периферию, всего инвентаря грамматических форм в соответствующих языках.

Ряд грамматических форм сам по себе лишен подлинного смыслового содержания, поскольку эти формы наслаивают на лексические значения такие грамматические значения, которые этим лексическим значениям чужды. Так, формы рода и числа в прилагательном и глаголе никак не соотнесены с обобщенным значением этих частей речи и появляются у них только в силу их согласования с существительным или местоимением. Однако это не означает полной асемантичности категорий, выражаемых данными формами, а только их отраженный характер — они как бы «отсылают» к тем формам, в которых эти категории обладают своим реальным значением.

Наконец, в языке существуют также грамматические формы, обладающие чисто структурным, композиционным назначением. Это формы, свойственные языку не как системе отношений, а как системе построения. Они представлены, например, в сфере порядка слов, где с помощью дистанцирования тесно связанных друг с другом грамматических форм создается рамка, придающая особую структурную устойчивость и прочность («портативность») соответствующим синтаксическим образованиям. Но число таких одномерных (унилатеральных) структурно-композиционных форм, особенно образующихся на непосредственно грамматической, а не на просодической основе, сравнительно невелико, и они четко отграничиваются от двумерных (билатеральных) грамматических форм.

Таким образом, все грамматические формы, лишенные обобщенных значений, либо занимают периферийную зону грамматической системы, либо опираются на формы, обладающие значением. Именно двумерные, билатеральные формы, обладающие значением, являются ядром грамматической системы, ее подлинной основой. В дальнейшем мы и будем говорить именно о таких (билатеральных) грамматических формах.

Нередко, однако, наличие обобщенного («общего») значения у грамматических форм ставится под сомнение на том основании, что у многих грамматических форм имеется целый ряд различных, несводимых друг к другу и не поддающихся обобщению значений. Опровергнуть это возражение можно как конкретными наблюдениями над языковыми фактами, так и исходя из общих свойств языкового строя. Начнем со второго (дедуктивного) вида доказательства.

Прежде всего, само коммуникативное назначение языка заставляет предполагать, что образование какой-то сложной, разветвленной системы языковых форм не может быть случайным, а должно служить осуществлению этой коммуникативной задачи, т. е. нести какую-то информацию.

Что же касается самого характера этой информации, то она должна быть обобщенной в силу следующего соображения. При большом числе грамматических форм во флективных и флективно-аналитических языках и при сложной системе правил их употребления чистая формальность этих форм, т. е. лишенность обобщенного грамматического значения, повела бы к чрезвычайной перегрузке механической памяти говорящего (естественно, и слушающего). У него отсутствовала бы всякая мотивация применения соответствующих форм, кроме внешних правил их сочетаемости, что препятствовало бы успешному развертыванию языковой коммуникации. Если бы язык с такой целиком унилатеральной системой грамматических форм действительно когда-нибудь где-нибудь существовал, то рано или поздно эти формы были бы в той или иной мере редуцированы, чтобы облегчить процесс речевой коммуникации. Между тем, при наличии у грамматических форм обобщенного значения, память говорящего и слушающего может двигаться ступенчато, как бы от одного более обобщенного узла к другому, менее обобщенному (или в обратном порядке), создавая, таким образом, большую маневренную возможность для оперативной памяти. Следовательно, наличие грамматических форм в языке оказывается коммуникативно оправданным только в том случае, если эти формы обладают обобщенным значением.

Считая оба этих довода немаловажными, мы вместе с тем все же подчеркиваем, что само по себе доказательство необходимости существования какого-либо явления совсем не равносильно доказательству его фактического существования. Ведь в принципе могут найтись такие факторы, которые в состоянии преодолеть действие отмеченных нами общих требований, вытекающих из природы грамматических явлений. Поэтому мы переходим теперь к характеристике реального положения в сфере грамматических форм с точки зрения выражения ими обобщенных значений.

1. Обобщенное значение грамматических форм в принципе отнюдь не совпадает с так называемым (часто весьма приблизительным) общим значением морфологических форм, взятых как некие единства, т. е. с охватом всех функций этих форм. В очень многих случаях обобщенное значение свойственно той или иной морфологической форме в определенном ее употреблении. Так, в весьма многозначном русском твор. падеже в функции предикатива и предикативного определения явственно выступает обобщенное значение переменного субстантивного признака (*Он у нас учителем*; *Он работает учителем*). Таким образом, при уточнении своей синтаксической функции морфологические формы часто уточняют и свое грамматическое значение, т. е. выявляют его как объективно обобщенное, поскольку на него накладывается значение определенной синтаксической формы.

2. Обобщенное значение грамматической формы не перестает быть таковым, если под влиянием определенных контекстных и ситуативных факторов некоторые ее реализации получают иной смысл: например, побудительная форма в конструкциях типа *Скажи он мне это заранее, все было бы в порядке* начинает выражать прошедшее сослагательное.

3. Существуют и грамматические формы, в том числе и морфологические, обладающие во всей совокупности своих реализаций отчетливым обобщенным значением, которое в таких случаях оказывается и общим значением данной формы. Так, отчетливое единое обобщенное значение характерно, например, для существительного: оно обозначает предмет в самом общем смысле этого слова, т. е. предметность, вообще любое опредмеченное понятие [3].

[3] Недавние попытки опровергнуть такое понимание обобщенного значения существительного только показали невозможность без него обойтись. Так, в книге

4. Существуют разные степени обобщенности значения грамматических форм. Иногда большая пестрота значений, обнаруживаемых у какой-либо грамматической формы, оказывается лишь множеством проявлений какого-либо более общего значения, лежащего в иной плоскости, чем противопоставленные друг другу частные значения данной формы. Так, приименной (определительный) род. падеж, который может быть и субъектным, и объектным, и посессивным и т. д., в значительном большинстве этих своих разновидностей и в значительном большинстве своих реализаций в речи обозначает вместе с тем внешний признак предмета, обозначенного определенным существительным.

5. Наиболее важно, что в соответствии с общей тенденцией грамматических форм к полевой структуре обобщенные значения грамматических форм, как правило, также обладают полевым строением. Асимметрия между планом выражения и планом содержания [4] проявляется здесь в том, что только у части реализаций грамматической формы определенное обобщенное значение представлено отчетливо и однозначно, между тем как у других реализаций этой грамматической формы данное обобщенное значение представлено нечетко, неполностью или даже вообще отсутствует. Таким образом, обобщенное значение грамматических форм отнюдь не следует понимать примитивно, как механическое соответствие определенной формы определенному значению, а как сложное соотношение, в котором, однако, обнаруживается некая система, обладающая определенной доминантой [5]. Например, в немецком языке центром таких сложных полей, как значения дат. и вин. падежей, оказываются те реализации этих падежей, которые выступают в качестве дополнений у глаголов, одновременно сочетающихся с обоими этими падежами. Именно здесь при прямом противопоставлении этих падежей, с полной отчетливостью проступает: у вин. падежа значение непосредственного объекта действия, у дат. падежа значение адресата действия. Эти случаи употребления и являются центром полей обобщенного грамматического значения у данных падежей, а многочисленные случаи реализации этих падежей при других глаголах и других частях речи, а также в свободном употреблении представляют собой обширную периферию этого поля, на краях которой возможны значительные отклонения от отмеченных здесь обобщенных значений этих падежей. Особенно резкие расхождения между семантикой отдельных реализаций данных форм, при условии возникновения тех или иных специфических формальных примет этих реализаций, даже могут повести к возникновению особых типов синтаксических конструкций — в данном случае, особых логико-грамматических типов предложения.

С. Д. Кацнельсона «Типология языка и речевое мышление» (Л., 1972) сперва, в плане самых общих речемыслительных различений, термин «предмет» употребляется не «в традиционном расплывчатом грамматическом понимании» как значение существительного, а как обозначение предметов как таковых (стр. 150), но затем, в плане определения семантико-синтаксических категорий, признается, что и признаки могут быть представлены в языке как субстанции (стр. 172). В книге В. Н. Мигирина «Язык как система категорий отображения» (Кишинев, 1973) сначала резко опровергается положение А. М. Пешковского об опредмечивании в существительном признака предмета (стр. 69), но взамен предлагается определить значение существительного как значение носителя признака, что по существу не отличается от значения предмета, а на стр. 127 прямо говорится, что «существительное выражает предмет».

[4] См.: S. K a r c e v s k y, Du dualisme asymétrique du signe linguistique, TCLP, I, 1929.

[5] См. в частности: В. Г. А д м о н и, Основы теории грамматики, М.—Л., 1964, стр. 47—51; е г о ж е, Типология предложения и логико-грамматические типы предложения, ВЯ, 1973, 2, стр. 51—54.

В свете только что отмеченных семантических свойств грамматических форм, а особенно учитывая их полевую структуру, наличие известных расхождений и даже противоречий между обобщенным значением грамматической формы и значением ее отдельных реализаций оказывается явлением вполне закономерным и никак не ставит под сомнение сам факт существования обобщенных грамматических значений.

Более того, само обобщенное значение предстает, таким образом, как некая сложно организованная система, которая требует для своего раскрытия в каждом конкретном случае и в каждом конкретном языке долгой и тщательной работы. Только на основе такой работы, учитывающей полевой характер обобщенного значения грамматических форм, можно будет в соответствующих конкретных случаях дать ответ и на вопрос о наличии или отсутствии у данной формы общего (единого) значения.

III. Показав наличие обобщенного значения у грамматических форм и некоторые черты структуры этого значения, а также глубокую связь этого значения с самой сущностью языковой системы, мы тем самым показали несостоятельность концепций, исключающих значения грамматических форм из сферы компетенции языкознания. Более того, мы тем самым выявили и органическую сопряженность (для данного языка в данной период его развития) этого значения с той формой, которой оно выражено, и тем самым, на наш взгляд, обосновали необходимость рассмотрения этого значения именно как значения данной формы. А из этого следует, что намеченная нами концепция существования обобщенного грамматического значения противоречит всем концепциям, которые обособляют обобщенное грамматическое значение как некое образование, самостоятельное по отношению к грамматической форме. Этот вопрос, исключительно актуальный для языкознания на нынешнем этапе его развития, должен быть рассмотрен нами подробнее.

Среди концепций, обособляющих обобщенное значение от грамматической формы как таковой, особое значение имеют теперь такие, к которым с полным правом можно применить термин «редуцирующие теории» [6]. Это тесно соприкасающиеся теории — генеративная грамматика (в сочетании с интерпретирующей семантикой), генеративная семантика, падежная грамматика (падежная семантика) [7].

У нас нет здесь ни возможности, ни необходимости размежевываться со всеми этапами и со всеми направлениями этих быстро развивающихся и чрезвычайно популярных теорий. Нам нужно отметить лишь главное.

Семантика конкретных грамматических форм находит свое подлинное выражение, согласно этим концепциям, не в них самих, а в иных образованиях, относящихся к особым сферам языка или мышления: в ядерных предложениях (согласно ранним концепциям генеративной грамматики), в глубинных структурах (согласно более поздним концепциям генеративной грамматики), в неразложимых атомных предикатах, логических формах, пропозициональных концептах и т. д. (согласно различным направлениям в генеративной семантике). Обнаружение значения конкретной грамматической формы оказывается равносильным сведению его к этим подспудным структурам, а образование соответствующей грамма-

---

[6] См.: В. Г. Адмони, Опыт классификации грамматических теорий в современном языкознании, ВЯ, 1971, 5.

[7] См., например: Ch. Fillmore, The case for case, «Universals in linguistic theory», New York, 1968; J. D. McCawley, The role of semantics in a grammar, сб. «Universals in linguistic theory», New York, 1968; G. Lakoff, Linguistics and natural logic, «Studies in generative semantics», 1, 1970; W. L. Chafe, Meaning and the structure of language, Chicago — London, 1970; J. J. Katz, Semantic theory, New York, 1972.

тической формы для выражения определенного значения возможно лишь, если построить ее из этих структур.

Однако сама по себе грамматичность какой-либо формы, т. е. ее отработанность как компонента грамматической системы, с точки зрения грамматики, в силу ее двувершинности, предполагает непосредственность связи между этой формой и ее значением в процессе речевой коммуникации с тем, что конкретный характер ее реализации и конситуативные факторы помогают ограничить вариативность ее значения.

Это касается, с нашей точки зрения, даже таких форм, как пассив и связанная с ним пассивная форма предложения, которые издавна — и в генетическом плане с полным основанием — трактуются как производные, а в синхронном плане рассматриваются генеративными концепциями как поверхностные структуры, являющиеся преобразованиями глубинных (активных) структур. С точки зрения своего конкретного употребления, форма предложения с пассивом — в тех языках, где эта форма полностью выработана,— непосредственно связывается с определенной семантикой, а именно с семантикой действия, направленного на предмет, выраженный в подлежащем, и не производимого этим предметом, образуя особое, самостоятельное грамматическое явление, обладающее собственными связями и представляющее собой особое грамматическое поле. Конечно, в системе логико-грамматических типов предложения пассивные предложения не являются исходными, основными типами. Иерархически они выступают в разных языках по-разному — как осложненные и в известной мере иногда как переходные типы. Но это их иерархическое положение есть именно положение внутри системы одноплановых, одноуровневых единиц.

Поэтому глубинные структуры реально существуют лишь в той мере, в какой они одновременно являются и поверхностными структурами, т. е. выступают как конкретные грамматические формы данного языка. Там же, где они выступают как постулируемая заречевая данность, служащая лишь как исходный пункт для порождения поверхностных структур, там они просто не существуют как грамматическое явление, а оказываются крайне гипотетическим звеном психической деятельности человека или условным компонентом логической операции, пытающейся описать функционирование грамматических единиц.

Соответственно и трансформации в глубинные структуры словосочетаний являются лишь диагностирующим средством, т. е. приемом, позволяющим эксплицировать и инвентаризировать значения, свойственные данному словосочетанию, а не отражением реального процесса формирования и расшифровки данных структур. При наличии у морфологической или синтаксической формы целой гаммы значений, актуализация в высказывании одного из значений (или их оттенков) происходит непосредственно под влиянием связей с контекстом и ситуацией, а не путем обращения к глубинным структурам. Конечно, в системе языка обобщенное значение какой-либо грамматической формы выделяется лишь в своем противопоставлении другим формально выраженным значениям того же смыслового ряда. Но такая парадигматическая обусловленность обобщенного грамматического значения не ведет к тому, что соответствующая парадигма становится опосредующим звеном между грамматической формой и ее значением. Те противопоставления, внутри которых выделяется данное грамматическое значение, являются и в языке и в речи лишь фоном и предпосылкой для его существования, не снимая самого этого существования как конкретной, непосредственной связи между реальной формой и реальным обобщенным значением. Выражаясь грамматическими формами, понятия и смысловые отношения отраженной в сознании действительности

образуют систему, позволяющую охватить огромные богатства явлений и отношений, но образуют ее лишь вместе с этими выражающими их формами, что и создает подлинно грамматическую систему, притом специфическую для каждого языка. Будучи системой, реально присущей какому-либо языку, эта система формально воплощенных значений является асимметрической, отражая общую асимметрию языкового плана содержания и плана выражения, и характеризуется синонимией. Способность выражать одни и те же обобщенные значения в разных разветвлениях грамматического строя создает возможность соотнесения соответствующих форм в некоей парадигме, которая обычно понимается как трансформационная, но которую, на наш взгляд, правильнее было бы назвать синтаксически разнонаправленной или преломленно-синонимической.

Преломление сочетаний определенных лексемных корней (основ) с неизменной денотативной семантикой под углом зрения разных синтаксических связей и разных наслоений других грамматических значений является тем, что связывает друг с другом, например, такие конструкции, как *Металл обрабатывают — обработка* (*обрабатывание*) *металла — металлообработка* и (с некоторым семантическим отступом) *Металл обрабатывается — обработанный* (*обрабатываемый, обрабатывающийся*) *металл*. В таких синтаксически разнонаправленных (или преломленно-синонимических) парадигмах, естественно, выделяется некая форма, которая является как бы отправной и может служить репрезентантом всего парадигматического ряда в целом. Такими отправными, независимыми формами в парадигмах могут, с одной стороны, считаться те, которые в состоянии выразить соответствующее значение в наиболее замкнутом виде, т. е. при максимальном удалении от условий ситуации и контекста, при наличии минимального числа проекций обязательной сочетаемости, ведущих от непосредственно данной формы в некую синтаксическую перспективу. С этой точки зрения, для выбранной нами в качестве примера синтаксически разнонаправленной парадигмы отправной (назывной) формой должна была бы быть, очевидно, форма *Металл обрабатывают*, т. е. форма простого самостоятельного предложения. Конечно, не потому, что из этой формы якобы исторически произошли или в процессе индивидуальной психофизиологической деятельности в каждом акте употребления образуются другие формы данной парадигмы. А потому, что в самой этой парадигме предложение *Металл обрабатывают* выражает данную смысловую связь двух лексемных корней как бы само по себе, без необходимости обязательного восполнения со стороны каких-либо лежащих за пределами данного предложения синтаксических форм. Но, с другой стороны, в грамматической системе существует также тенденция делать отправной, назывной формой парадигмы именные образования, по своей природе придающие облик предметности и тем самым некоей устойчивости любым лексическим значениям. Поэтому репрезентантом приведенной нами синтаксически разнонаправленной парадигмы может выступать и субстантивное словосочетание *обработка металла*, которая, правда, как всякий им. падеж обладает альтернативной обязательной сочетаемостью, но вместе с тем, опять-таки как каждый им. падеж, легко может выступать в общеназывной функции. Предметность и сконцентрированность группы *обработка металла*, ее способность функционировать в самых разных употреблениях в предложении делают эту группу даже чрезвычайно удобной для того, чтобы служить общим представителем всей данной парадигмы, и заставляет склониться к мысли, что именно она и является отправной, назывной формой нашей парадигмы.

Но уже сама возможность постановки вопроса о том, какая из форм определенной парадигмы является в ней отправной, показывает, что со-

отношение этих форм отнюдь не элементарно и что они находятся не в отношениях преобразования одних форм в другие, а в отношениях дополнительного распределения в общей системе синтаксических средств языка, т. е. пребывают в одной и той же сфере языка. При употреблении в речи формы *металл обрабатывают* в такой же степени нельзя говорить о том, что она является трансформацией формы *обработка металла*, как и при употреблении в речи формы *обработка металла* нельзя говорить о том, что она является трансформацией формы *металл обрабатывают*.

По сути дела «глубинные структуры», «атомные предикаты» и т. п.— это лишь особый способ обозначения обобщенного значения грамматических форм, но такой способ, который претендует на статус особой сущности, якобы не исчерпывающейся тем, что она является содержательной стороной билатеральной грамматической формы, и который претендует на особое место и даже на особый уровень в системе языковых форм. Между тем, при придании обобщенным значениям грамматических форм этого особого статуса, делающего их единицами особой системы, они фактически выходят за пределы грамматического и вообще языкового строя как такового, становятся компонентами некоего смыслового строя, т. е. какой-либо семантической системы. Этим не снимается желательность составления инвентаря всех понятий и всех смысловых отношений, которые выражены в грамматических формах данного языка, а в идеале и всех понятий и всех смысловых отношений, которые выражены в грамматическом строе всех языков. Но это будет с точки зрения системы языка именно лишь инвентарь, некий тезаурус семантических моделей, а не функционирующая система структур. Практически подобное выделение обобщенных грамматических значений как некоего набора релевантных для грамматики смысловых отношений в грамматике проводилось уже давно. В течение длительного времени в грамматике постепенно вырабатывался ряд семантических понятий, который частично с разными вариациями используется и у представителей генеративной семантики (например, понятие субъекта действия — агенса, объекта действия — пациенса и т. д.).

Выделялось также некоторое количество таких явлений и отношений объективной действительности, которые настолько важны для существования человека, что получают свое выражение в обобщенном значении грамматических форм различнейших языков. Систематизация таких мыслительных категорий, отражающих явления и отношения реальной действительности, с учетом их восприятия человеческим сознанием в специфических условиях речевой коммуникации, является важным делом, создавая систему предположительных универсалий, т. е. сетку тех категорий, которые в общем плане с наибольшей вероятностью должны быть представлены в грамматических системах естественных языков [8]. Но если проводить границу между грамматическим и лексическим способами выражения значения, понимая под грамматическим такой способ, который состоит в закрепленном разными формальными средствами наслаивания обобщенного значения на лексическое значение (или на цепь взаимосвязанных лексических значений), то мы все же должны будем признать, что в разных языках одни и те же значения могут выражаться по-разному— *либо грамматически, либо лексически*. Приведем самый банальный пример. Выражение временного предшествования передается в некоторых языках с помощью специальных временных форм глагола, а в ряде других языков с помощью разного рода сочетаний лексем. И это положение остается в силе при самом широком понимании грамматической формы,

[8] Интересную систему таких универсалий предлагает С. Д. Кацнельсон в книге «Типология языка и речевое мышление» (Л., 1972).

т. е. включая в нее и интонационные средства, и средства порядка слов, и средства сочетаемости как явления, характерного для грамматических разрядов слов. Неизбежно выражение грамматическими средствами во всех языках лишь чрезвычайно небольшого числа мыслительных категорий, между тем как сочетанием грамматических и лексических средств во всех языках могут быть выражены все мыслительные категории, которые зафиксированы в грамматической системе любого языка.

Конкретизируем наши критические замечания о концепциях, обособляющих обобщенное грамматическое значение от грамматической формы, кратким анализом недавно появившейся статьи, в которой ощущается сильное влияние генеративных теорий. Имеется в виду статья О. И. Москальской «Проблемы семантического моделирования в синтаксисе» (ВЯ, 1973, 6). Отметим прежде всего, что статья эта противоречива. С одной стороны, она выдвигает требование создать «структуры смысла предложения», т. е. «семантические модели предложения», являющиеся глубинными структурами предложения, противопоставляя их формальной (поверхностной) структуре предложения. Семантическая модель предложения понимается при этом как «тот или иной стереотип структурирования смысла предложения, посредством которого внутренняя речь переводится в высказывание». Тем самым здесь утверждается наличие особой семантической системы, для проявления которой формальные структуры предложения являются лишь внешней (поверхностной) оболочкой. Это — прямое проявление редуцирующего подхода к обобщенному значению грамматических форм. С другой стороны, О. И. Москальская все же как будто склонна признавать органическую связь между формой и семантикой предложения. Она полемизирует против принципа автономности семантики по отношению к грамматике (стр. 43). Встречается и замечание о формальной грамматической форме, имеющей «наиболее типичную для соответствующей семантической модели структуру» (стр. 42). Это ведет, скорее, к пониманию семантической модели как средства инвентаризации обобщенных значений предложения. Но решающим является для О. И. Москальской все же первый момент. Весь упор она делает на то, чтобы наметить набор семантических моделей, которые могут воплощаться в разных формальных моделях предложения и которые в разных сочетаниях могут воплощаться в одной формальной модели. Так, при анализе двухкомпонентных глагольных предложений различаются следующие семантические модели предложения: акциональные (глагол выражает действие, а подлежащее агенс: *Он действует*) и детерминирующие, которые делятся на статальные (глагол выражает состояние, а подлежащее детерминат: *Он спит*) и собственно детерминирующие (глагол выражает постоянный признак, а подлежащее детерминат: *Он косúт /хромает / пьет*, стр. 39).

Подчеркиваем, что вопрос ставится здесь именно о существовании особых семантических моделей (стереотипов), с которыми может быть сопоставлена та или иная формальная модель предложения, между тем как последние сами по себе рассматриваются как чисто формальные образования.

Однако такой подход огрубляет действительное положение вещей. Превращение обобщенного значения грамматической формы в набор семантических стереотипов делает невозможным обнаружение подлинной, чрезвычайно сложной смысловой структуры данной формальной модели предложения, характеризующейся наличием множества переходов между значениями действия и состояния, заменяя такое обнаружение перечислением семантических моделей, «приписанных» к данной форме. Характерно, в частности, что в применении к приведенной здесь формальной

модели даже не упомянуто о концепции, утверждающей наличие у акциональных, статальных и детерминирующих предложений и некоего более общего значения, охватывающего все эти три семантические модели, а именно значения: «предмет, от которого исходит некий процесс + процесс, исходящий от предмета» [9]. Но и независимо от этого, подход О. И. Москальской превращает формальную модель предложения в носительницу совершенно разобщенных, дискретных значений, между тем как на самом деле для системы значений, представленных у грамматической формы, характерна не дискретность, а полевая структура, т. е. наличие множества переходных, пограничных случаев. В частности, такие переходы есть в большом количестве и между значениями действия, состояния и постоянного признака в затронутой здесь модели предложения с формой «номинативное подлежащее + спрягаемый глагол». О трудности разграничения значений действия и состояния нам уже приходилось говорить (в применении к немецкому языку) [10]. Но очень многообразны и связи, существующие между этими значениями и значением постоянного признака. Большое количество глаголов может обозначать как действие или состояние, так и постоянный признак предмета, причем обычно выражение постоянного признака обусловлено наличием специального контекста. Глаголы в предложениях типа *Она смеется*, *Она хлопочет* будут выражать постоянный признак лишь при введении обстоятельств типа *всегда*, *постоянно* и т. п. Например, *Она всегда смеется*, *Она постоянно хлопочет*. Но и при таком переводе значения действия или состояния в значение постоянного признака далеко не всегда достигается полное смысловое уравнение этого признака с постоянным признаком, выраженным прилагательным или существительным. *Она всегда смеется* не то же самое, что *Она смешлива* или *Она смешливая*: в предложении с глагольным сказуемым непосредственно присутствует момент определенной, хотя и постоянно повторяющейся процессуальности, между тем как в предложении со сказуемым-прилагательным на переднем плане находится значение потенциальной склонности лица, выраженного подлежащим, к данному виду действия.

При сравнении предложений — 1) *Она хромает*, 2) *Она хромает с детства*, 3) *Она хрома*, 4) *Она хромая*, 5) *Она хромонога*, 6) *Она хромоножка* легко заметить, что предложение 1, в отличие от предложения 2, вообще может обозначать не постоянный признак, а разовое действие, т. е. определенный вид ходьбы человека в данное время и в данном месте, например: «Пошел Жилин с колодой, хромает, ступить нельзя, так поворотило ногу в сторону» (Л. Толстой). Нетрудно также заметить, что предложение 2 фиксирует постоянный признак все же с выявлением его действенного характера, между тем как в предложениях 3 и 4, а особенно 5 и 6, эта действенность в значительной мере приглушена и заслонена статическим, предметным представлением. Не имея возможности остановиться здесь на этих вопросах подробнее, мы все же полагаем, что и приведенных примеров достаточно, чтобы увидеть, что дискретные семантические модели непригодны для характеристики реального смыслового содержания грамматических форм. Но если брать эти модели не как дискретные образования, не как «стереотипы», а просто как значения, выражаемые этой формой и могущие находиться в многообразных связях друг

[9] См.: В. В. Виноградов, Русский язык, М., 1947, стр. 422—424; W. Admoni, Der deutsche Sprachbau, Leningrad, 1960, стр. 145—146. Любопытно, что сама О. И. Москальская в своей книге «Грамматика немецкого языка» (М., 1956) рассматривала процесс как то наиболее общее значение, которое связывает наличные у глагола обобщенные значения действия и состояния (стр. 214).

[10] См.: В. Г. Адмони, Введение в синтаксис современного немецкого языка, М., 1955, стр. 116—117.

с другом, то это будут уже не семантические модели, выдвигаемые О. И. Москальской, а те самые обобщенные значения типов предложений, против которых она решительно выступает. Дело в том, что О. И. Москальская неправомерно рассматривает все прежние концепции модели предложения, обращавшиеся к его семантике, как концепции, механически отождествляющие форму и содержание предложения (стр. 36) [11].

Автор этих строк неоднократно подчеркивал, что обобщенное грамматическое значение очень сложным образом соотносится с выражающей его грамматической формой. Именно этот момент был одним из тех, которые играли решающую роль при выдвижении нами гипотезы о полевой структуре грамматических форм [12]. А в предложенной нами системе логико-грамматических типов предложения две конструкции с переходными глаголами выделены в особые подтипы, поскольку они, опираясь на некоторые основные черты в своем формальном строении, выражают не субъектно-объектные, а иные смысловые отношения [13]. Наконец, в развернутом виде сложность и полевой характер строения логико-грамматических типов предложения, наличие у некоторых из них целого «веера» значений были подчеркнуты в статье автора этих строк «Типология предложения и логико-грамматические типы предложения» (ВЯ, 1973, 2). Нами отмечалась также синонимия логико-грамматических типов предложения [14].

Что же касается семантических моделей предложения, то они, как и сходные построения генеративной семантики, могут послужить для той инвентаризации обобщенных грамматических значений, о которой мы говорили выше. Но заменить систему логико-грамматических типов предложения (или сходные системы типологии предложения) они не могут. Попутно надо отметить, что работа по установлению обобщенных значений грамматических форм во всей их сложности является делом исключительно трудным. Ведь здесь необходимо тщательное взвешивание огромного числа смысловых соотношений между лексическими реализациями синтаксических структур, учет многих, часто совсем незаметных моментов синтаксической формы (в том числе сочетаемости), установление возможности различных трансформаций и т. д. Поэтому подлинное продвижение в этой трудной области должно быть крайне осторожным и базироваться на огромной работе. Примером того, как легко допустить здесь неточности, может служить хотя бы сделанное мимоходом утверждение О. И. Москальской, что у предложений типа *Он испытывает боль* (в противоположность акциональным предложениям типа *Он испытывает прибор*) невозможна пассивная трансформация, что подтверждает омонимичность данной формальной структуры (стр. 43). В «Словаре современного русского литературного языка» пассивная форма от подобных статальных конструкций считается вполне возможной и приводится пример: *Пешеходом испытывается утомление* [15]. Та «тождественность в семантическом плане», о которой говорит О. И. Москальская применительно к формальным типам предложения: *Он вспомнил детство — Ему вспомнилось детство* (стр. 41), ограничена тем, что

---

[11] В своей критике существующих концепций семантической характеристики данных типов предложения О. И. Москальская опирается на Г. Хельбига (Zur Theorie der Satzmodelle, «Biuletyn fonograficzny», XI, 1971), хотя в работах Хельбига этот вопрос освещается очень неточно, даже искаженно. См.: W. A d m o n i, Satzmodelle und die logisch-grammatischen Satztypen, «Deutsch als Fremdsprache», 1974, 1.

[12] W. A d m o n i, Der deutsche Sprachbau, 3. Aufl., Leningrad, 1972, стр. 11.

[13] Там же, стр. 241.

[14] Там же, стр. 243.

[15] «Словарь современного русского литературного языка», 5, Л., 1956, стр. 514.

безличная структура, как это постоянно отмечается грамматистами и стилистами, привносит в выражаемое ею отношение некоторый оттенок непроизвольности, который отсутствует в синонимичной ей личной структуре.

В наличии обобщенных значений у формальных моделей предложения (и вообще у грамматических форм) находит свое выражение общая тенденция грамматического строя к глубинному строению. Но не к тому глубинному строению, которое прокламировано генеративной грамматикой и которое раскрывается, как наличие в каких-то особых пластах речевого сознания особых структур, к которым могут быть сведены структуры поверхностные. Подлинная глубинность грамматического строя заключается в том, что каждая грамматическая форма (за исключениями, отмеченными на стр. 44) обладает некоторым количеством наслаивающихся друг на друга значений, основных и вторичных, причем в речевой цепи количество этих наслаивающихся друг на друга значений существенно увеличивается и между ними возникают сложные, разнообразные отношения. Вот эта-то реальная множественность значений, надстраивающихся над каждой единицей речевой цепи и образующих нечто вроде музыкальной партитуры, и есть реальная глубина грамматических (или лексико-грамматических) форм, составляющая особое измерение речевой цепи, которая, таким образом, отнюдь не является просто линейной. А самым глубинным из этих значений является то значение, которое наиболее независимо от условий ситуации и контекста — среди обобщенных грамматических значений предложения это те значения, которые выражены в логико-грамматических типах предложения, вследствие чего аспект логико-грамматических типов предложения и является наиболее глубинным во всей системе аспектов предложения.

Что же касается поверхностных структур, то они действительно поверхностны, но не в том смысле, что они сами по себе не соотнесены с отраженными в сознании отношениями реальной действительности и нуждаются в редукции. Поверхностные структуры предложения поверхностны потому, что они являются реальными единицами речевой цепи, в которых в сложном и переплетенном виде нашли свое выражение все многообразные значения, присутствующие в предложении, и в которых действуют различные композиционные средства, организующие предложение как единицу языка,— системы построения. Поэтому реально существующее в речи (поверхностное) предложение может быть и должно быть раскрыто с точки зрения всех аспектов предложения и всех композиционных форм предложения как тех моментов, из взаимодействия которых данное конкретное предложение возникло. Но обладающая обобщенным значением формальная модель предложения (т. е. его логико-грамматический тип) относится как одна из его необходимых составных частей, и притом как его глубинная часть, к тем сторонам, которые непосредственно даны в самом этом поверхностном предложении, а не находятся где-то в другой сфере языковой системы.

При всем том рассмотрение глубинных структур в духе генеративной грамматики и семантических моделей в духе генеративной семантики представляются нам весьма положительным явлением с точки зрения развития некоторых лингвистических течений. В этой форме происходило и происходит — хотя бы окольным путем — восстановление в правах семантики, прежде вызывавшей подозрение или даже вообще изгонявшейся из дескриптивизма.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 1 1975

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

К. С. ГОРБАЧЕВИЧ

ВАРИАНТНОСТЬ СЛОВА КАК ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН

(На материале современного русского языка)

1. Необходимость углубленного изучения вариантных средств языка, в том числе вариантности на уровне слова, диктуется рядом обстоятельств, существенных и с точки зрения общей лингвистической теории слова, и в плане решения многих задач прикладного языкознания (лексикография, практика перевода и т. д.), и при рассмотрении природы языковой нормы [1]. Само обращение к понятию «норма», собственно говоря, и возникает у говорящих при наличии параллельных способов выражения и необходимости выбора. Однако в плане теории информации, предусматривающей однозначное выражение системных значений и отношений между знаками, вариантность предстает как анормальное явление.

Связь одного означающего и одного означаемого при наличии вариантности оказывается замененной соотношением двух разных форм с одинаковым содержанием. Это приводит к избыточности формы, что, казалось бы, противоречит основному закону коммуникации, идет вразрез с тенденцией языка к бережливости (Пауль), с принципом экономии языковых средств (Поливанов, Мартине и др.). С точки зрения общественного мнения, склонного, как правило, к однозначному языковому стандарту, даже парадигматическая избыточность, т. е. избыточность в совокупности структурных, а не соположенных, линейных языковых единиц, рассматривается как несовершенство, как болезнь языка. Это в особенности относится к тем формальным модификациям, которые не загружены ни информативно, ни функционально, что иногда наблюдается при варьировании. При историческом же и научно-нормализаторском подходе вариантность предстает как неизбежное следствие языковой эволюции, контакта языков и диалектов, воздействия многочисленных и разнохарактерных внутрисистемных факторов [2]. Парадигматическая избыточность в этом случае трактуется и как важный резерв для более совершенного владения языком, и как необходимый этап перестройки элементов системы, который поддерживает преемственность речевых навыков и обеспечит в будущем более рациональный способ выражения. С точки зрения нормализаторской работы, направленной не только (и

[1] См. Ф. П. Филин, О слове и вариантах слова, сб. «Морфологическая структура слова в языках различных типов», М.—Л., 1963, стр. 128—133.

[2] В философском плане вариантность языковых средств может быть сближена с понятием «компромиссная структура», которое охватывает как старые, так и новые элементы (см. об этом: В. И. Свидерский, О диалектике элементов и структуры в объективном мире и познании, М., 1962, стр. 66).

не столько) к унификации языковой формы, вариантность — это вовсе не порождение неустойчивости языковых норм (скорее, наоборот, неустойчивость нормы — следствие варьирования), а одно из внутренних проявлений литературного языка, наделенного разнообразными культурно-историческими признаками, которые не укладываются в рамки строго регулярной системы и нуждаются в особой, часто индивидуальной, квалификации.

2. Обращаясь к вариантности на уровне слова (в пределах тождества слова), мы сталкиваемся с явлениями, изменяющими привычные представления о слове как единстве звучания и смысла. Характерная для варьирования слова модификация формы при сохранении тождества лексического значения вариантов обычно выражается или в виде нефонематического изменения звучания (например, произношение гласного *э* в безударной позиции после мягкого согласного: [в'э^{и}сна́] и [в'и^{э}сна́]), или в виде замены фонем в сильной позиции (например: *обусло́вливать* — *обусла́вливать*, *запря́чь* — *запре́чь*, *матрас* — *матрац*), или в виде изменения места ударения (например: *творо́г* — *тво́рог*, *инду́стрия* — *индустри́я*), или в виде комбинации указанных признаков (например: *издалёка* — *издалека́*). Обычное представление о фонеме как о звуке, участвующем в различении звуковой оболочки значимых единиц языка (слов, словоформ), при фонематическом (и фономорфологическом) варьировании слова оказывается недействительным. В этом случае даже в сильных позициях гласные и согласные фонемы утрачивают фонологически значимые противопоставления, теряют смыслоразличительные функции [3]. Ср. роль сильных фонем ['э] и ['о], [о] и [у], ['а] и ['э] в словах: *не́бо* и *нёбо*, *мол* и *мул*, *мяч* и *меч* и роль этих же фонем в вариантах слов: *белёсый* и *белёсый*, *ноль* и *нуль*, *запря́чь* и *запре́чь*; ср. роль фонем [т] и [д], [г] и [к], [ф] и [п] в словах: *ток* и *док*, *гора* и *кора*, *тиф* и *тип* — и роль этих же фонем в вариантах слов: *этак* и *эдак*, *галоша* и *калоша*, *шкаф* и *шкап*.

Таким образом, те звуки, которые нормально связываются с различением звуковой оболочки значимых единиц (слов, словоформ), при варьировании слова могут приобретать нефонологический характер.

Аналогично обстоит дело и с местом ударения. Разноместность русского ударения считается важным фонологическим средством [4]. Изменение места ударения должно в принципе давать другое слово (или другую словоформу). Существует мнение, что в русском языке имеется большое число омографов (*а́тлас* — *атла́с*, *за́мок* — *замо́к*) и сравнительно незначительное количество акцентных вариантов [5]. По данным Ф. П. Сергеева, в словаре-справочнике «Русское литературное произношение и ударение» (М., 1960), включающем около 52 тысяч слов, зафиксировано 560 слов, имеющих акцентные варианты, допустимые в пределах литературной нормы [6].

Сомнения в правильности постановки вопроса о незначительном удельном весе акцентных вариантов и преобладании омографов были в общей

[3] Фонемы, как известно, различают не смысл как таковой, а фонетические оболочки языковых единиц, различных в смысловом или грамматическом отношении.

[4] См., например: А. Н. Гвоздев, О фонологических средствах русского языка, М.—Л., 1949, стр. 101—102; Р. И. Аванесов, Фонетика современного русского литературного языка, М., 1956, стр. 69.

[5] В брошюре Н. Н. Яковенко «Словесное ударение в современном русском литературном языке» (Киев, 1966) список омографов насчитывает 420 слов, в перечне же акцентных вариантов приведено лишь 195 слов.

[6] Ф. П. Сергеев, О вариантах и колебаниях ударения в современном русском языке, «Уч. зап. Кишиневск. гос. ун-та», 71 — Вопросы общего и русского языкознания, 1964.

форме высказаны Л. Р. Зиндером еще в 1960 г. [7]. Созданная в словарном секторе Института русского языка АН СССР картотека акцентных вариантов насчитывает более 3500 лексем [8]. Анализ картотеки показал, что акцентное варьирование распространяется главным образом на трехсложные и двусложные слова, т. е. на наиболее распространенные с точки зрения слоговой длины слова русского языка (средняя длина слова — 3.79 слога [9], средняя длина акцентного варианта — 3.07 слога). Учитывалась слоговая длина фонетического слова, например, варианты *на́ берег — на бе́рег* считались за одно трехсложное слово. Полученная средняя длина акцентного варианта 3.07 должна быть несколько увеличена за счет невключенных производных слов (существительных на *-ость*). Существенно отметить, что подсчитаны были лишь сами лексемы, а не вариантные пары, образующиеся при формообразовании. Реальное количество вариантов значительно превышает число слов, допускающих варьирование.

Предварительные подсчеты показывают, что количество фонетических, фонематических, фономорфологических, морфологических и особенно формообразовательных вариантов в современном русском языке также весьма значительно. Достаточно указать на продуктивную модель отглагольных имен на *-ни(е)*, относительно регулярно образующих фонетические варианты при редукции заударных слогов (*спасе́ние — спасе́нье*), или на произношение согласных в словах иноязычного происхождения (*пре́сса* и *п*[рэ́]*сса*), или на формообразовательные варианты типа: *стакан чая — стакан чаю*. Следует при этом учитывать, что реальное варьирование слова гораздо шире вариантности, отмечаемой словарями, и что варьирование нередко захватывает активную, широкоупотребительную лексику. Поэтому мнение относительно того, что «процент колебаний в общем составе русского литературного языка совсем невелик» [10], едва ли может быть принято безусловно. Как правило, высокая частотность слова увеличивает потенциальные возможности варьирования. Это связано с действием различных социолингвистических факторов: увеличение числа говорящих (следовательно, возрастных и профессиональных различий), убыстрение фонетических преобразований в частотных словах, разнообразие контекстов и ассоциаций, создающих более широкую основу для аналогических влияний.

Модификация формы при сохранении смысла, связанная с временной утратой отдельными звуками и местом ударения смыслоразличительных свойств, преобразование формальных признаков, существенных для выделения слова, в признаки второстепенные, дополнительные, изменение которых не ведет к потере качественной определенности слова, распространяется вовсе не на периферийные участки языка. Наряду с омонимией и полисемией, вариантность еще раз свидетельствует о том, что связь между единицами в плане выражения и единицами в плане содержания в живом языке является сложной, не всегда обнаруживающей прямолинейное соотношение.

---

[7] Л. Р. Зиндер, Общая фонетика, [Л.], 1960, стр. 303.

[8] При подсчете не учитывались глаголы на *-ся* (*кру́жится — кружи́тся*) и отвлеченные имена на *-ость* (*раздвоенность — раздво́енность*), повторяющие акцентное варьирование производящих основ.

[9] Число получено путем подсчета данных о распределении слов по количеству слогов («Обратный словарь русского языка», М., 1974, стр. 936—937). По другим данным, средняя длина слова — 2,9 слога («Русская разговорная речь», М., 1973, стр. 97). Естественно, что в русском (как и в других флективных языках) длина слова в словаре (лексиконе) и в потоке речи не совпадают.

[10] Е. С. Истрина, Нормы русского литературного языка и культура речи, М.—Л., 1948, стр. 17.

Существенно установить, какое лингвистическое значение имеют несовпадающие формальные признаки вариантов (различие в фонемном составе и в месте ударения) и каков порог утраты ими смыслоразличительных функций (последнее может способствовать установлению границы между вариантом слова и разными словами).

Лингвистическое значение звуковых модификаций и различия в месте ударения при варьировании слова не исчезает, а существенно преобразуется. В самой общей форме это новое значение может быть названо показателем отношения данного варианта к норме. Новая функция несовпадающих формальных признаков слова не является при этом постоянной величиной: отношение к норме подвержено изменениям в диахроническом плане. При равноценности вариантов эти формальные признаки могут связываться с выражением стилистических, сочетаемостных, позиционных или иных особенностей функционирования вариантов. Ярко выраженная коннотация слов (оценочная лексика, диминутивы и т. п.) часто заслоняет нормативную маркированность вариантов.

Естественно, что формальные различия вариантов одного и того же слова не являются безграничными. Сама необходимость узнавания слова предполагает некий предел, за которым различие в форме влечет за собой разрушение тождества языковых единиц (даже при сохранении идентичного содержания). Поиски предела тождества слова в интересующем нас плане обычно связываются с разграничением вариантов одного и того же слова и однокоренных синонимов, т. е. разных слов, также обладающих одинаковым значением и определенным формальным сходством. В целом для движения современной лингвистической мысли (ср. работы В. В. Виноградова, А. И. Смирницкого, О. С. Ахмановой, В. В. Веселитского, Ф. П. Филина, Р. П. Рогожниковой, Н. М. Шанского, В. А. Гречко, Н. Н. Семенюк, О. И. Москальской и др.) характерно постепенное сужение понятия «вариантность», в том числе и понятия «вариант слова». Показателен в этом отношении отказ некоторых исследователей от весьма неопределенного и противоречивого термина «словообразовательный вариант» слова. Впрочем, другие исследователи продолжают внедрять его в научный обиход.

Сложность и зыбкость самого материала, непоследовательность лексикографической практики [11], различный методический подход к решению проблемы тождества слова создают серьезные препятствия для нахождения предела варьирования. Думается, что ни семантический (поиски оттенков смысла), ни стилистический, ни сочетаемостный критерии, ни их комбинации, ни предлагаемый для разграничения вариантов и синонимов учет других коннотативных свойств языковых единиц не дадут желаемого результата. Предел варьирования и сохранения тождества слова (при наличии идентичного лексического значения) может быть найден лишь в самой форме. Все другие признаки языковых единиц с одинаковым содержанием (стилистическое различие, особенности в сочетаемости и т. д.) факультативны и уже поэтому не могут являться классифицирующими.

Анализ общепризнанных, бесспорных фактов показал, что варьирование слова обычно осуществляется в определенных акцентологических и фонематических границах. Эти ограничения имеют объективный и необходимый характер, так как формальные различия языковых единиц, воспринимаемых в качестве одного слова, не могут быть слишком зна-

[11] См. об. этом: Т. В. Зайцева, Лексикографическая разработка структурно и семантически близких слов, сб. «Проблема толкования слова в филологических словарях», Рига, 1963.

чительными. Нарушение этих условий ведет к необратимым формальным изменениям и к разрушению тождества слова.

Акцентологическим ограничением варьирования слова (несмотря на относительную свободу и подвижность русского ударения и различную слоговую длину слова) служит интервал между ударениями у вариантов, не превышающий двух слогов. Типичным же для акцентных вариантов русского языка оказалось либо отсутствие слогового интервала (*óбух — обýх*, *прúгоршня — пригóршня*, *мáнишь — манúшь*, *прóжил — прожúл*), либо интервал в один слог (*договóр — дóговор*, *камбалá — кáмбала*, *нормировáть — нормúровать*, *áвгустовский — августóвский*). Примечательно, что даже в шестисложных и семисложных словах, где теоретически допустим был бы и бóльший интервал между ударением, в действительности оно смещается у вариантов, как правило, лишь на один слог (*рассредотóчение — рассредоточéние*, *кинематографúя — кинематогрáфия*). Интервал в два слога встречается сравнительно редко: в косвенных падежах отдельных слов (*вéдомостей — ведомостéй*, *сковородý — скóвороду*) и при передвижении ударения в формах жен. рода у исконно или аналогически циркумфлектированных глаголов на двуслоговую приставку (*пережилá — пéрежила*). Таким образом, различие в месте ударения у вариантов слова не беспредельно; ограничение вызвано и средней слоговой длиной русского слова, и ритмической организацией русской речи, ставящей известные границы интервалам между соседними словесными ударениями в речевом такте. Это явление обусловлено физиолого-акустическими факторами и составляет необходимый просодический признак не только стихотворной, но и прозаической речи [12]. Акцентологическое ограничение варьирования слова (разрыв между ударениями у вариантов не более чем на два слога) является следствием необходимости сохранить общий акустический облик слова и не нарушать ритмический баланс русской речи.

Естественно, что необходимость опознания слова ставит известные ограничения различиям вариантов и в фонемном составе. Оказалось, что позиционно не обусловленные фонематические несовпадения обычно не превышают двух фонем (при условии, что одна из них гласная фонема) [13]. Типичным же для фонематических вариантов является различие в одной фонеме (*жéлчный — жёлчный*, *обуслóвливать — обуслáвливать*, *мýчить — мýчать*, *строгáть — стругáть*, *матрáс — матрáц*, *мéрить — мéрять*, *зверю́шка — зверýшка*, *колóдец — колóдезь*). Различие в двух фонемах наблюдается значительно реже (*лáзить — лáзать*, *гололёд — гололéдь*). Более значительные несовпадения в фонемном составе встречаются у некоторых формообразовательных вариантов (*достиг — достигнул*, *накоплять — накапливать*, *бегая — бегаючи*, *маслята — масленки*), где звуковые различия, во-первых, приходятся на информативно менее значимый конец слова и, во-вторых, нейтрализуются грамматической регулярностью.

Ограничения различий в составе согласных фонем (обладающих, как известно, большей различительной силой) при варьировании слова ка-

[12] См. об этом: Н. В. Черемисина, О некоторых ритмико-интонационных и синтаксических особенностях прозаической речи в современных восточнославянских языках, «Славянский филологический сборник», Уфа, 1962; Г. Н. Иванова-Лукьянова, О ритме прозы, сб. «Развитие фонетики современного русского языка», М., 1971, стр. 147.

[13] Случаи количественной и качественной редукции в безударных слогах и другие позиционно обусловленные преобразования, при которых в беглой речи могут наблюдаться и более значительные звуковые расхождения (например, *здравствуйте* [здраст'], *сейчас* [ш̄'ас]), здесь не рассматриваются. Это явление относится к фонетическому, а не к фонематическому варьированию слова.

саются не только количества несовпадающих звуков, но и их качества. У фонематических вариантов, как правило, наблюдается позиционно не обусловленная мена артикуляционно близких согласных фонем, т. е. тех, у которых при совпадении большей части дифференциальных признаков имеется различие лишь в одной характеристике. Например, различие по звонкости — глухости (*этак — эдак*, *ляскать — лязгать*, *фелюга — фелюка*); различие по твердости — мягкости (*кизил — кизиль*, *фланец — флянец*, *кринка — крынка*); различие в способе образования (*апоплексический — апоплектический*, *калиф — халиф*, *ки́рка — ки́рха*, *амбра — амвра*, *колодец — колодезь*), различие в месте образования (*штора — стора*, *услышать — услыхать*). Число фонематических вариантов, в которых несовпадающие фонемы различались бы одновременно и по способу и по месту образования, ничтожно мало́ (*киник — циник*, *кентавр — центавр*). Вариантность здесь поддерживается историко-культурной традицией, ориентацией на греческую историю и мифологию [14].

Акцентологические и фонематические ограничения, обеспечивая известную близость формы сопоставляемых языковых единиц и возможность узнавания слова, не всегда, однако, служат гарантией правильности при установлении тождества слова. Так, например, если совпадающие в значениях языковые единицы *промывание* (руды) и *промывка* (руды) уже с точки зрения фонематического ограничения являются разными словами (различие больше, чем в двух фонемах), то этого нельзя сказать о паре *промывка — промыв* (различие в двух фонемах допустимо при варьировании слова). Однако *промывка* и *промыв* — это разные слова и с точки зрения здравого смысла и, что важнее, в структурно-словообразовательном плане. Эти однокоренные языковые единицы образованы разными способами: суффиксальным (*промывка*) и безаффиксным (*промыв*). Различие в способе словообразования и в наборе словообразовательных морфем может, как это уже подсказывается термином «словообразование», касаться только разных слов, а не вариантов одного и того же слова [15]. Все это, естественно, требует установления морфологического предела варьирования слова.

Морфологическим пределом варьирования слова служит тождество морфологической структуры и морфемного состава сопоставляемых языковых единиц. Строгое следование принципу тождества морфологической структуры, хотя и наталкивается на ряд сложностей, вызванных историческими преобразованиями основы, служит единственным способом отграничить слово в его вариантах от однокоренных синонимов с тождественным значением. Проведение этого принципа требует диахронического подхода, результаты которого далеко не всегда совпадают с формализованным анализом структуры слова, принятым в некоторых современных работах.

Тождество морфологической структуры предполагает полное совпадение значимых морфем у каждого из вариантов слова: корня и словообразовательных аффиксов. Формальное различие заключается лишь в звуковом преобразовании именно данных морфем внутри данного слова. Всякая же замена одной морфемы на другую (даже генетически родственную), а также перестановка морфем (ср. *блюдолиз — лизоблюд*) ведет

[14] См.: Е. Э. Биржакова, Л. А. Войнова, Л. Л. Кутина, Очерки по исторической лексикологии русского языка XVIII века, Л., 1972, стр. 204. Приведенный в этой книге богатый материал варьирования слов в языке XVIII в. показывает, что хотя в то время имелся большой простор для звуковых различий вариантов, все же на основную массу распространялось указанное фонематическое ограничение. Особенности фонематического варьирования слов в говорах представляют собой особый вопрос.

[15] См. об этом: Ф. П. Филин, указ. соч., стр. 132—133.

к распаду тождества слова, образованию разных слов. Звуковое преобразование корня или аффикса, как известно, может быть вызвано разными фонетическими причинами: возникновением гласных перед плавными, историческим чередованием гласных, упрощением групп согласных, отвердением звуков, появлением протетических и неорганических звуков и т. д. С этой точки зрения звуковые единицы: *бобр* и *бобёр*, *промысл* и *промысел*, *лягушачий* и *лягушечий*, *обёртка* и *обвёртка*, *разноименный* и *разноимённый*, *осьминог* и *восьминог*, *умный* и *вумный*, *поднимать* и *подымать* являются фонематическими вариантами одного слова.

Соблюдая принцип морфологического тождества и отвергая понятие «словообразовательные варианты» слова, мы должны будем отнести к разным словам весьма сходные в звуковом отношении образования, где различие в словообразовательном аффиксе не обусловлено фонетическими причинами. Например: *волчиха* и *волчица*, *табурет* и *табуретка*, *носатый* и *носастый*, *пискля́вый* и *писклю́вый*, *бычий* и *бычачий*, *двухбортный* и *двубортный*, *нормализовать* и *нормализировать*, *напроказить* и *напроказничать*, *хвастаться* и *хвастать* и т. п. Иными словами, всякое внедрение нового словообразовательного аффикса (например, интерфиксация: *исполкомский — исполкомовский*, *интуристский — интуристовский*) создает разные слова.

Принцип тождества морфологической структуры, значительно сужающий границы изучаемого объекта, предполагает учет особенностей конкретной языковой единицы, т. е. формальный, а не формализованный анализ слова. Однако есть немало случаев, когда трудно решить, произошло ли звуковое изменение уже внутри данной языковой единицы (тогда это варианты) или данные языковые единицы образовались с помощью разных (хотя и генетически родственных) аффиксов (тогда это разные слова). Примерами могут служить образования типа: *созыва́ть — сзыва́ть*, *воскли́кнуть — вскли́кнуть*, *всходи́ть — восходи́ть* и типа: *учéние — учéнье*, *спасéние — спасéнье*, *мучéние — мучéнье*. Различия внутри этих пар могут быть истолкованы и как следствие редукции безударного гласного в самом слове, и как отражение церковнославянского и исконно русского параллелизма в области приставок и суффиксов (*вос- — вс-*, *-ние — -нье*). В этих и подобных случаях, когда определить природу конкретных звуковых преобразований лингвистически затруднительно, неизбежен формализованный подход. Учитывая неравноценную лексическую значимость префиксов и суффиксов (префиксы более самостоятельны и лексичны, на них нередко приходится центр смысловой тяжести слова), а также информативно-узнавательную роль начала, а не конца слова, следует признать звуковую модификацию суффикса (*спасение — спасенье*) пределом варьирования слова [16].

При разграничении вариантов одного слова и разных слов нельзя, естественно, опираться исключительно на современные орфографические написания, за которыми могут скрываться и различные словообразовательные аффиксы, и фонетические модификации одного аффикса. Так, например, учитывая характерную для разговорной речи возможность качественной редукции фонем [у] и [ы] в слабой позиции [17], диминутивы типа *дóнушко — дóнышко*, *сóлнушко — сóлнышко*, *ворóбушек — ворóбышек* и т. п. можно истолковать как фонетические варианты одного слова (с последующим орфографическим закреплением особенностей произношения

[16] Отнесение на основании этого принципа образований типа *воскликнуть — вскликнуть*, *созывать — сзывать* к разным словам, а *спасение — спасенье* — к вариантам одного слова хорошо согласуется с технологией современной лексикографии.

[17] См.: «Русская разговорная речь», стр. 61—62.

заударного гласного), а не как самостоятельные, независимо друг от друга образованные разные слова с разными аффиксами.

Установление условного предела варьирования слова следует считать мерой исключительной и вынужденной. В целом же, несмотря на значительную распространенность, вариантность слова как явление во многих случаях уникальное и исторически подвижное требует конкретного анализа и индивидуальной оценки сопоставляемых языковых единиц.

3. При изучении вариантности слова встает ряд других теоретических вопросов: в каком отношении находится вариантность слова к языку и речи; существует ли применительно к вариантам слова понятие «инвариант»; к компетенции какого раздела языкознания (фонетики, лексикологии, грамматики) принадлежит исследование вариантности слова?

Вариантность слова — феномен языка, а не речи. Это подтверждается характером избыточности формы (парадигматическая, а не синтагматическая), исторической (а не контекстуальной) обусловленностью появления и существования вариантов, наличием системных отношений между ними. Вариантность слова опирается на общеязыковые закономерности и требует нормативной квалификации с общеязыковых позиций, а не с ситуативно-речевых. Теоретически рассуждая, в речи отдельного говорящего может и не быть вариантов (один, скажем, всегда говорит *творо́г*, другой всегда — *тво́рог*). Возникающая вариантность в речи отдельного говорящего (как и в рамках отдельного произведения) есть следствие вариантности, заложенной в парадигматической системе языка. Вариантность слова наблюдается в речи, но не является ее внутренним свойством. Варианты слова не порождаются контекстом (факты намеренной «порчи» слов в шутливой речи не принимаются во внимание), хотя выбор варианта может определяться характером контекста.

Сказанное ставит под сомнение применение понятия «инвариант» к варьированию на уровне слова. Инвариант как абстрактный элемент системы, мыслимый независимо от реализации, находит свое оправдание в фонологии и синтаксисе [ср., например, выражение предикативности твор. и им. падежами независимо от лексического наполнения: *он был учителем* (*пианистом*, *акробатом* и т. д.), *она была учительница* (*пианистка*, *акробатка* и т. д.)]. Употребление терминов современной лингвистики «аллофон» и «алломорф» для обозначения разных репрезентантов одной и той же фонемы или морфемы опирается обычно на строгие закономерности позиционных условий, чего нет при реализации вариантов слова. Применительно к уровню лексики, исторически обусловленной и содержательно наполненной категории, понятие «инвариант» выглядит надуманным.

Варьирование слова осуществляется в нескольких формах: фонетические варианты ([тэ]*рмин* и *термин*), фонематические (*сосредото́чивать* и *сосредота́чивать*), акцентные (*пе́тля* и *петля́*), фономорфологические (*клавиш* и *клавиша*) [18], морфологические (*авеню*, ср. и жен.), формообразовательные (*дверя́ми* и *дверьми́*), синтаксические (*полный воды* и *водой*). Эти формы варьирования неравноценны по продуктивности и продолжительности существования, по степени преобразования полных вариантов в неполные, со стороны регулярности и по отношению к норме литературного языка. Последние два признака (регулярность и отношение к норме) особенно существенны при определении места изучения вариантности слова: лексикология или грамматика? Известная формула: грамматика изучает общие факты языка, лексикология — единичные, имеет лишь са-

[18] Колебания в роде заимствований (*рельс — рельса*, *санаторий — санатория*) признаются фактами варьирования слова даже теми исследователями, которые защищают словообразовательную природу грамматического рода (см.: Н. А. Шамина, Явления родовой синонимии в русском языке. АКД, Казань, 1971, стр. 7, 8 и сл.).

мое общее значение, так как словарь и грамматика постоянно взаимодействуют и перекрывают друг друга. При обращении к фактам вариантности слова это становится особенно очевидным. Едва ли можно согласиться с некоторыми прямолинейными суждениями, например, отнесением фактов варьирования слова во всех формах к лексикологии, а к грамматике — варьирования в одной или нескольких словоформах. Дело в том, что даже варьирование в словоформах часто наблюдается в непродуктивных группах, а иногда — только у отдельных лексем.

Вообще мнение о регулярном характере отдельных форм варьирования слова представляется несколько преувеличенным. Суждения о степени регулярности языковых явлений нередко находятся в обратно пропорциональной зависимости от количества и качества исследуемого материала. Лексикализованный характер имеют не только акцентные, фонематические и фономорфологические варианты. Значительные перебои регулярности свойственны и другим формам варьирования слова. Известно, что тенденции языкового развития неравномерно охватывают даже однородные разряды слов: здесь сказываются и малозаметные формальные различия, и содержательные (социальные, культурные, исторические) признаки индивидуального слова.

Лексикализованность варьирования слов становится еще более отчетливой при рассмотрении вариантов в их отношении к норме. Например: *критерий* и *кри*[тэ]*рий*, но обычно *текст*; *побелённый* и *побéленный*, но только *убелённый*; *гóды* и *годá*, но только *векá*; *апельсинов* и *апельсин*, но только *бананов* [19]. Даже однотипное синтаксическое варьирование на уровне разных слов (например, *контроль за чем*, *над чем* и *чего* — *наблюдение за чем*, *над чем* и *чего*) обнаруживает существенное расхождение в распределении функциональных особенностей и нормативной оценки. Лексикализация наблюдается даже у формообразовательных вариантов на *-а/-у* у существительных муж. рода в род. пад. ед. числа. Ср. в современном языке: *кружка квасу* и *кваса*, но *стакан лимонада* и реже: *лимонаду* [20]. Часто не только значение и происхождение слова, но и сама форма препятствует формализации. Так, длина слова (количество слогов) оказывается весьма существенным признаком при нормативной квалификации акцентных вариантов. Место ударения у глаголов и причастий нередко зависит от длины приставки: двусложные приставки чаще, чем односложные, перетягивают ударение на корень. Судя по материалам современной речи, чаще наблюдается *подобрáла*, чем *убрáла* (норма — *убралá*); говорят: *поднялся* и *поднялся́*, но обычно: *приподнялся*; норма — *уценён*, но допустимо: *переоценён* и *переоцéнен*. Ср.: Трепет детских сказок уценен. Зыбкий курс судьбы переоценен. Сколько полустершихся имен Добрело до выдуманных целей? (С. Поликарпов, Солнцепек как уголь раскален). Действительно регулярное варьирование обнаруживается лишь у таких формообразовательных вариантов, как: *весной* — *весною*, *сильней* — *сильнее*.

Таким образом, вариантность слова представляет собой сложный узел взаимодействия лексики и грамматики, частного и общего. При нормативном подходе к вариантам слова соотношение частного и общего обычно смещается в сторону частного, лексического. Нормативная оценка вари-

[19] Анкетирование, проведенное в ЛГУ (1974 г.), показало, что большинство студентов предпочитают ударение *газопровóд* (не *газопрóвод*), но свободно допускают *нефтепровóд* и *нефтепрóвод*.

[20] Лексикализация подобного рода отмечается и в работах по социолингвистике: «... вариант *сыру* употребляет примерно половина всех обследованных лиц, а форму *пирамидону* всего лишь 3%» (Л. П. К р ы с и н, К социальным различиям в использовании языковых вариантов, ВЯ, 1973, 3, стр. 43).

антов слова в значительной мере связана с лексикализацией грамматического. Это и естественно, так как нормативная практика не сводится к унификации языка.

Слово (а, следовательно, и варианты слова) характеризуется отнесенностью к разным областям языка (фонетике, морфологии, синтаксису). Но эта отнесенность не может быть причиной распределения и растворения объекта среди различных разделов науки о языке. Варианты слова, несмотря на их лексико-грамматическую природу, продолжают оставаться номинативными единицами языка, явление же вариантности слова относится к уровню нормы, а не к уровню системы. Даже при самой широкой распространенности вариантность слова — это не общее правило, а временное (хотя и неизбежное) исключение, феномен языка. «Все наши грамматики,— замечал Л. В. Щерба,— настолько переполнены словарными материалами, что многим кажется, будто исключения и являются специально предметом грамматики. Между тем, сущность грамматики состоит только в общих правилах, все же исключения относятся к лексике» [21]. Поэтому варианты слова (за исключением некоторых форм фонетического и формообразовательного варьирования) являются в первую очередь объектом лексикологии и нормативной лексикографии, что, естественно, не исключает, а предполагает учет общих грамматических свойств отдельных разрядов лексики [22]. К компетенции грамматики принадлежат грамматические варианты, сущность которых состоит в совпадении грамматического значения безотносительно лексического содержания языковой единицы. «У грамматических же вариантов сходное значение никак не соотносится с действительностью — миром вещей, признаков, действий, состояний и т. д.». «В качестве члена грамматической вариантной пары выступают многочисленные и лексически разные единицы, соединенные по единой грамматической модели. С этой точки зрения *обучалось сто человек* это тот же грамматический вариант, что *бастовало тысяча докеров*» [23].

---

[21] Л. В. Щ е р б а, Преподавание иностранных языков в средней школе, в его кн. «Языковая система и речевая деятельность», Л., 1974, стр. 331—332.

[22] Категория вариантности была провозглашена основным объектом нового, пока еще, правда, не оформившегося, раздела языкознания — ортологии, т. е. науки о правильности речи [О. С. А х м а н о в а, В. Ф. Б е л я е в, В. В. В е с е л и т с к и й, Об основных понятиях «нормы речи» (ортология), ФН, 1965, 4]. С точки зрения расширяющейся научной нормализаторской работы это предложение не лишено оснований.

[23] Л. К. Г р а у д и н а, В. А. И ц к о в и ч, Л. П. К а т л и н с к а я, Грамматические варианты. Опыт частотного словаря, М., 1971, стр. 24—25.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 1 1975

Г. Ф. БЛАГОВА

О ТИПАХ И СТРУКТУРНЫХ РАЗНОВИДНОСТЯХ ПАДЕЖНОГО СКЛОНЕНИЯ В ТЮРКСКИХ ЯЗЫКАХ

1. Исследователи падежного склонения в тюркских языках исходят из сформулированного Н. К. Дмитриевым положения о его едином характере: «В противоположность языкам других групп, тюркские языки имеют *единый тип склонения*. Иначе говоря, в тюркских языках нет первого, второго, третьего и т. д., как в русском языке, или слабого, сильного и смешанного склонения, как в немецком языке, а есть один тип склонения, применяющийся во всех случаях. При этом нужно заметить, что склонение множественного числа морфологически не отличается от склонения единственного числа, т. е. производится при помощи тех же самых падежных аффиксов. Таким образом, если в других языках формы склонения имеют морфологические варианты, то в тюркских языках формы склонения могут иметь только фонетические варианты, но отнюдь не морфологические»[1]. Тезис о морфологической единообразности тюркского склонения, бесспорный в плане сопоставительно-типологическом, впоследствии претерпел чрезмерную абсолютизацию, заслонив для некоторых тюркологов имеющиеся в ряде тюркских языков отклонения от принимаемого единства[2]; связанное с этим тезисом воззрение, признающее существование в тюркских языках только фонетических вариантов падежных показателей, но отнюдь не морфологических, стало восприниматься как аксиома.

Между тем Н. К. Дмитриев, опережая возможности тюркологии своего времени, предвосхитил классификационный аспект изучения тюркского склонения. В его работах имеются высказывания о типах тюркского склонения, казалось бы, не совсем согласующиеся с тезой о морфологически едином его типе — прежде всего, по причине неадекватного употребления слова «тип». В самом деле, ученый выделяет «северный тип тюркского склонения» (все падежные аффиксы «начинаются на согласный») и его «южный тип» («аффиксы род., дат. и вин. падежей начинаются на гласный, остальные — на согласный») (ГКЯ, стр. 55; ГБЯ, стр. 64); южный тип, по Н. К. Дмитриеву, представляют туркменский, азербайджанский, турецкий и гагаузский, «северный» — все остальные тюркские языки[3]. Выделение двух межъязыковых типов склонения, как и признание того, что в некоторых языках «...эти типы не существуют в чистом виде, а свое-

[1] Н. К. Дмитриев, Грамматика башкирского языка, М.—Л., 1948 (далее — ГБЯ), стр. 61; см.: его же, Грамматика кумыкского языка, М.—Л., 1940 (ГКЯ), стр. 66.

[2] Характерно во всяком случае, что, например, «Особенности склонения слов с аффиксами принадлежности» в «Грамматике башкирского языка» Н. К. Дмитриева выделены в самостоятельный раздел (стр. 64—65).

[3] ГКЯ, стр. 65. В принципе подобного же деления на два типа склонения придерживается Э. В. Севортян, подчеркивающий, что «... падежные показатели... состоят из двух параллельных форм, одна из которых является типичной для так называемой огузской группы тюркских языков, другая — для кыпчакской и других групп» [Э. В. Севортян, Категория падежа, «Исследования по сравнительной грамматике тюркских языков» (далее — ИСГТЯ), ч. 2 — Морфология, М., 1956, стр. 46].

образно контаминируют...» (ГБЯ, стр. 64), заставляет стремиться к уточнению тезы о едином типе тюркского склонения.

При межъязыковом, классификационном подходе во главу угла также ставится фонетическая природа вариантов падежных показателей: «Наличием или отсутствием *ķ* ‖ *k* и *ŕ* ‖ *g* отличаются между собой дательные падежи „северно-тюркского" и „южно-тюркского" типа склонения» [4]. Подчеркнем, однако, что здесь речь идет не о синхронных фонетических изменениях в вариантах падежных аффиксов конкретного языка: фонетичность указанных признаков понимается в плане исторической фонетики и межъязыковых соответствий и переходов.

Типы склонения в классификационном их понимании Н. К. Дмитриев проецировал на внутриязыковой аспект проблемы. Так, последовательно выделяя в описываемых им кумыкском и башкирском языках «особенности склонения слов с аффиксами принадлежности», исследователь пристальное внимание уделял наблюдающемуся в указанных грамматических условиях «компромиссу», «контаминации» «южного» и «северного» типов склонения [5].

Признание того, что в некоторых из «северных» языков существует смешанный «тип» склонения, компромиссный между «северным» и «южным» типами, как и утверждение об обычности контаминации этих типов во многих тюркских языках, естественно, вносило известную неясность в вопрос о морфологически едином типе тюркского склонения и о статусе классификационных признаков — вариантов падежных показателей. Когда ученый пишет, например: «В дательном падеже слов с аффиксами принадлежности 1-го и 2-го лица ед. числа мы имеем аффикс -$\frac{a}{ə}$ вместо ожидаемого теоретически -$\frac{ra}{ga}$ (т. е. южный вариант аффикса вм. северного)...» (ГБЯ, стр. 64—65; см. ГКЯ, стр. 65), трудно согласиться с тем, что речь идет всего лишь о «фонетических вариантах». Во-первых, варианты *-ra* и *-a* являются классификационными, дифференциальными признаками двух типов склонения в различных тюркских языках. Во-вторых, внутри одного языка (в цитируемом случае — башкирского) каждый из этих вариантов также выступает в качестве дифференциальных признаков, характеризующих, с одной стороны, склонение имен, не имеющих при себе аффиксов принадлежности, а с другой — «склонение слов с аффиксами принадлежности». Тем самым в неявной форме признается, что в тюркских языках категория падежа перекрещивается с категорией принадлежности. Значит, использование этих вариантов регулируется здесь грамматическими, а не фонетическими условиями, и уже на этом основании не может быть признано чисто фонетическим, хотя изначальная фонетическая основа этих вариантов очевидна [6].

---

[4] Н. К. Дмитриев, Вставка и выпадение гласных и согласных в тюркских языках, ИСГТЯ, ч. 1 — Фонетика, М., 1955, стр. 287.

[5] ГБЯ, стр. 64; см. ГКЯ, стр. 65, 66. Несколько раньше то же явление смешения двух падежных парадигм в склонении имен, снабженных показателями принадлежности 3-го лица, в иных словах отмечал В. А. Богородицкий в работе «Имя существительное: склонение (простое и притяжательное) и сравнительный очерк падежных окончаний татарского языка» [в его кн.: «Введение в татарское языкознание в связи с другими тюркскими языками», 2-е изд., Казань, 1953 (ВТЯ), стр. 149].

[6] В этом плане особняком стоит пара вариантов род. падежа *-иң* — *-ниң* (и, по-видимому, вин. падежа *-и* — *-ни*), по поводу которой В. А. Богородицкий, возражая Ж. Дени, видевшему в *н*, начинающем показатель род. падежа, вставной сонорный, писал: «Вставка или, точнее, зарождение согласного определяется физиологическими условиями...; здесь же решительно нет повода для развития *н* между гласными...» (В. А. Богородицкий, Эволюция окончаний родит. падежа в тюркских диалектах, «Вестник Научного общества татароведения», 1925, 3, стр. 13, примеч. 2).

В данном случае, вслед за известными фонетистами, целесообразно говорить о «морфологической обусловленности выбора чередующихся звуковых изменений» [7], или, иными словами, о морфологическом использовании фонетических вариантов [8]. Важно учитывать при этом, что подобное использование в ряде тюркских языков имеет место регулярно, воздействуя на падежную парадигму в целом или в ее частях, и что в свою очередь его активно поддерживают другие формы в парадигме [9], с которыми оно сопряжено причинно-следственными связями. Таким образом, фонетические варианты падежных показателей, в той или иной мере активизирующиеся в парадигме в соответствии с неодинаковым по языкам действием грамматических условий, перестают быть чисто фонетическими. Принимая во внимание то, что эти прежние чисто фонетические варианты стали равноправными членами падежной парадигмы, и учитывая их морфологическую значимость, свойственную им дифференцирующую, дистинктивную роль в этой парадигме, их можно считать морфологическими вариантами. Подчеркнем, что в тюркском склонении для падежных показателей отношение «фонетический вариант — морфологический вариант» имеет явно переменный характер: в языках, где фактор грамматической обусловленности в падежной парадигме перекрывается фонетической регулярностью, тот же формант предстает как фонетический вариант (например, аффикс дат.-напр. падежа *-а* в «южном» типе склонения), а в языках, где этот фактор действует вразрез с фонетикой, тот же формант воспринимается как морфологический вариант (например, в «северном» типе склонения тот же аффикс *-а*, закрепившийся, в противоположность *-га*, за частью посессивной парадигмы, бесспорно, является морфологическим вариантом) (см. об этом ниже). Таким образом, вопрос о том, в каком случае варианты падежных показателей являются фонетическими и в каком их следует считать морфологическими, должен решаться каждый раз конкретно, исходя из реальных соотношений внутри системы падежного склонения данного тюркского языка и особенностей его морфонологии.

Некоторая терминологическая неясность, как и неокончательность взглядов на характер тюркского склонения одного из авторитетнейших языковедов-тюркологов нашего времени, учителя многих современных тюркологов среднего поколения, не могла не сказаться на известной нечеткости исходных понятий в этом отделе тюркского языкознания. В настоящее время существует по крайней мере два неявно выраженных течения в понимании тюркского склонения и прежде всего — его «северотюркского типа».

Представителями одного из этих течений канонизирован тезис о морфологически едином типе тюркского склонения. Подобное воззрение естественно для исследователей тюркских языков южной (огузской) группы, где выбор того или иного варианта падежных показателей регулируется в основном фонетическими условиями, а также узбекского и новоуйгурского языков. Однако довольно часто делаются попытки распространить это воззрение и на северные тюркские (кыпчакские) языки. Так, даже в таких типичных «севернотюркских» языках, как, например, кумыкский или татарский, усматривают «единую систему склонения» или «один тип склонения» [10]. При этом оставляются без внимания прямые указания

[7] С. Э. Б а з е л л, Маргинальные звуковые законы, ВЯ, 1974, 4, стр. 86.

[8] Ср.: В. В. Р е ш е т о в, Об одном узбекском падеже, «Тюркологический сборник», I, М.—Л., 1951, стр. 182.

[9] Ср.: С. Э. Б а з е л л, указ. соч., стр. 85.

[10] См., например: «Языки народов СССР», II, М., 1966 (далее — ЯН СССР, II), стр. 199, 143. Заметим вообще, что издание «Языки народов СССР. II.— Тюркские языки», которое составлено «по одной общей схеме, но с некоторыми отклонениями,

Н. К. Дмитриева на «компромисс» между «северным» и «южным» типами склонения в том же кумыкском языке, а также на традиционное выделение «простого» и «притяжательного» склонения в татарском. Вопреки этим указаниям и традициям (более того: даже не ссылаясь на эти распространенные воззрения), отдельные, например — татарские, языковеды стремятся нивелировать различия между «простым», «притяжательным» и местоименным склонением; при этом они не только не дают какого-либо истолкования отличительных признаков каждой из названных разновидностей склонения, но даже и не перечисляют их. Так, к примеру в монографии, где впервые, как это подчеркнуто в приложенной к ней аннотации, на русском языке систематически излагаются вопросы морфологии татарского языка, о специфике «притяжательного склонения» никак не упоминается и таковое вовсе не выделяется [11]. К тому же составитель разделов «Имя существительное» и «Местоимение» К. С. Сабиров уверяет, что в татарском «личные местоимения склоняются так же, как и имена существительные» [12]. Раздел склонения практически сведен к «Склонению имен» (составитель Г. И. Донидзе) в проекте «Вопросника „Диалектологического атласа тюркских языков СССР“» (М., 1969, стр. 27—28).

Представители другого из названных течений, начиная с В. В. Радлова (например, В. А. Богородицкий, Е. Д. Поливанов, И. А. Батманов, Н. А. Баскаков, Е. И. Убрятова, К. М. Мусаев [13]), исходят из последовательного различения грамматических условий использования «южных» и «северных» вариантов падежных показателей в тех тюркских языках, которые отнесены к «северному» типу, и совершенно четко разграничивают, с одной стороны, «склонение имен без притяжательных аффиксов» (или: «простое склонение», «непритяжательное склонение», «безличное склонение»), а с другой — «склонение слов с аффиксами принадлежности» («склонение имен с притяжательными аффиксами», «притяжательное склонение», «лично-притяжательное склонение») и, кроме того, склонение личных местоимений.

Четко выделяя характерные признаки каждой из названных разновидностей склонения и не узнавая, по сути дела, грамматические условия

вызванными индивидуальными особенностями понимания структуры тюркских языков» (там же, стр. 5), характеризуется разнообразием индивидуальных подходов к вопросу о падежном склонении и его типе (типах, или, по нашей терминологии, разновидностях).

[11] «Современный татарский литературный язык. Лексикология, фонетика, морфология», М., 1969, стр. 140, 141, 142. На стр. 140 перечисляются фонетические варианты падежных показателей именного склонения, а на стр. 141 и 142 эти варианты даются уже и в сопровождении показателей посессивно-именной парадигмы склонения соответственно для дат.-напр. падежа — «*-га* | *-гә*, *-ка* | *-кә*, *-на* | *-нә*, *-а* | *-ә*» и для вин. п. — «*-не* | *-нө*», причем их введение не объясняется. В отношении местн. и исх. падежей посессивно-именной парадигмы ничего не говорится об облигаторном появлении *-н-* при словах с показателем принадлежности 3-го лица (там же, стр. 142—143). Подобное описание без вычленения дистинктивных признаков татарского склонения тем более вызывает удивление, что для татарского языкознания традиционным является полярно противоположное воззрение (см.: ВТЯ, стр. 148 и сл.).

[12] «Современный татарский литературный язык», стр. 197.

[13] См., например: ВТЯ; Е. Д. Поливанов, Говор кишлака Кыят-Конграт Шаватского района, «Сборник научных трудов [УзНИИКС]», I, 2, Ташкент, 1934, стр. 8 и сл.; И. А. Батманов, Грамматика киргизского языка. II — Имена, Фрунзе, 1940, стр. 2; его же, Принципы построения описательной грамматики киргизского языка, «Труды ИЯЛ [АН КиргССР]», VI, Фрунзе, 1956, стр. 74; Н. А. Баскаков, Каракалпакский язык, II, М.—Л., 1952; Н. А. Баскаков, А. И. Инкижекова-Грекул, Хакасский язык, в кн.: «Хакасско-русский словарь», М., 1953, стр. 441; Н. А. Баскаков, Очерки грамматики ногайского языка, в кн.: «Ногайско-русский словарь», М., 1963, стр. 539 и сл.; К. М. Мусаев, Грамматика караимского языка, М., 1964, стр. 141, 143, 145; ЯН СССР, II, стр. 286, 305, 323, 324, 409, 510.

основным фактором при выборе определенного варианта падежного показателя, ученые, придерживающиеся этих взглядов, должны были бы считать соответствующие варианты падежных показателей морфологическими. На деле, однако, кажется, только А. М. Щербак явным образом признает морфологическую природу этих вариантов [14]. Чаще же исследователи, своими работами примыкающие к названному течению, либо избегают называть подобные варианты как морфологическими, так и фонетическими, либо, продолжая признавать наличие двух или трех разновидностей склонения в изучаемом языке, все же говорят о «фонетически редуцированных формантах» род., вин. [15] и дат.-напр. падежей (хотя и перечисляют их в составе «характерных грамматических черт... в грамматическом строе» той или иной группы тюркских языков[16]). С этой точки зрения показатели названных падежей трактуются как возникшие в результате фонетически ничем не обусловленного устранения одного из элементов (и притом — без компенсации), реже — напротив, в результате подобного же наращения такого элемента [17]. Постулируемая произвольность таких фонетических изменений особенно очевидна в следующем высказывании: личные и указательные местоимения «изменяются по падежам с помощью тех же самых, но фонетически несколько измененных аффиксов, в сочетании с которыми фонетически изменяется и сама основа местоимений» (ЯН СССР, II, стр. 287), т. е. произвольные (по-видимому, не обусловленные основой!) фонетические изменения аффиксов сами вызывают изменения основы — таким образом круг рассуждения замкнулся.

Стремление квалифицировать отличительные признаки каждой из разновидностей «севернотюркского» склонения как явления чисто фонетического плана без указания на их морфологическую значимость весьма распространено в современном тюркском языкознании [18].

Именно поэтому призыв рассматривать соответствие типа *инэма*: *инэмга* в качестве морфологического, а не фонетического (поскольку оно «имеет регулярное проявление в парадигме притяжательного склонения, независимо от фонетических условий», разрядка наша.— *Г. Б.*)[19] еще и в наши дни выглядит отнюдь не тривиально.

[14] См., например: А. М. Щербак, Грамматика староузбекского языка, М.—Л., 1962, стр. 106. См. также: Г. Ф. Благова, К истории развития местоименного и именного падежных склонений в тюркских языках, «Советская тюркология», 1971, 2.

[15] При таких фонетических трактовках делаются, однако, весьма существенные и показательные оговорки, свидетельствующие о грамматической обусловленности таких вариантов: «Но если *м* или *нг* в конце слова не является аффиксом притяжательного местоимения, то *ны, ни, ну, ню* — окончание род. падежа — не ассимилируется. Например: *адам* „человек", род. п. *адамны* „человека"» (В. И. Филоненко, Грамматика балкарского языка, Нальчик, 1940, стр. 38).

[16] См., например: Н. А. Баскаков, Тюркские языки, М., 1960, стр. 118.

[17] Например: там же, стр. 151, 153, 169, 217. См.: А. Н. Кононов, Грамматика современного узбекского литературного языка, М.—Л., 1960, стр. 91; ЯН СССР, II, стр. 348, ср. также стр. 489.

[18] См.: В. И. Филоненко, указ. соч., стр. 38 — здесь, однако, действию фонетических факторов сразу же ставится существенное ограничение: оказывается, они эффективны только, например, по отношению к *-м* посессивного аффикса и не распространяют своего влияния на *-м* основы. О подобном ограничении не упоминает М. А. Хабичев в своем стремлении подвести морфологическую значимость под фонетическую: «... после конечного гласного слова (разрядка наша.— *Г. Б.*) вин. падеж имеет аффикс *-н*», хотя, как явствует из авторских примеров, этот вариант показателя ставится отнюдь не после каждого конечного гласного (ср. *тала-ны* «поляну»), а только после гласного, выступающего показателем (или в составе показателя) принадлежности 3-го лица: *иеси-н* «его хозяина» (ЯН СССР, II, стр. 219). См. еще: там же, стр. 189, а также: «Современный казахский язык. Фонетика и морфология», Алма-Ата, 1962, стр. 153.

[19] Д. Г. Тумашева, К вопросу о типах диалектных лексических различий, «VII Региональная конференция по диалектологии тюркских языков (15—17 мая 1973 г.). Маловские чтения (18 мая 1973 г.). Тезисы», Алма-Ата, 1973, стр. 20.

2. Названные спорные проблемы изучения тюркского склонения требуют прежде всего терминологического упорядочения; в первую очередь это касается широкого и недифференцированного, отнюдь не единообразного употребления словосочетания «тип склонения»[20]. Развивая идеи Н. К. Дмитриева о типе тюркского склонения как в межъязыковом, классификационном, так и внутриязыковом планах, позволим себе ввести следующие терминологические уточнения.

В области внутриязыковых корреляций «простое склонение», «притяжательное склонение» и местоименное склонение целесообразно считать структурными разновидностями склонения в каждом данном тюркском языке. Тем самым терминологически закрепляется признание грамматической природы этих разновидностей. В целях единообразия условимся называть разновидности склонения «именной парадигмой падежного склонения», «посессивно-именной парадигмой падежного склонения» и «местоименной парадигмой падежного склонения» (сокращенно: именная, посессивно-именная, местоименная парадигмы). В итоге мы оставляем термин «тип склонения» только для классификационной области межъязыковых соотношений, где варианты показателей род., вин. и дат.-напр. падежей с консонантной и вокалической инициалями соответственно служат классификационными дифференциальными признаками.

3. Несмотря на то, что Н. К. Дмитриев обратил внимание тюркологов на важность межъязыкового, классификационного подхода к формальной стороне тюркского склонения, этот подход не получил дальнейшего развития, и практически падежные признаки последовательно почти не использовались в классификациях тюркских языков[21]. Как известно, система тюркских падежей обсуждалась неоднократно и с различных точек зрения — формантно-материальной, эволюционной, функционально-содержательной. В настоящее время становится особенно актуальным подход, контурно намеченный в свое время Н. К. Дмитриевым и пока еще не привлекавший внимания исследователей, а именно — синхронное системно-классификационное сравнение склонения в тюркских языках. Дальнейшие исследования в этом направлении целесообразно вести, исходя из четкого разграничения парадигматического и функционального анализа падежной системы, которое было предложено и разработано еще О. Н. Бётлингком. Парадигматический анализ тюркского склонения в плане синхронии производится ниже при последовательном учете грамматической обусловленности вариантов падежных показателей, а следовательно — при строгом учете различных соотношений трех структурных разновидностей склонения, как они реально представлены в каждом из современных тюркских языков, ибо сугубо фонетическое или грамматическое содержание варианта падежного показателя зависит от его места

[20] Результатом этого явилось то, что наиболее осторожные исследователи избегают применять названный неопределенный термин, особенно в его внутриязыковом значении, и вместо того, чтобы выделять склонения (или их «типы», по нашей терминологии — разновидности), как это делалось раньше, подразделяют падежные аффиксы на две группы (ЯН СССР, II, стр. 510).

[21] Исключение представляет, пожалуй, только книга Н. А. Баскакова «Тюркские языки». Однако и здесь, например, «фонетически редуцированный формант напр. падежа в позиции после согласного» упоминается только для именной парадигмы языков огузской группы (стр. 118), между тем как формант того же падежа в языках других групп вообще не прослеживается. Более последовательно учитываются форманты род. и вин. падежей именной парадигмы (см. например: стр. 118, 143, 150, 151, 153), в отдельных случаях — вин. падеж посессивно-именной парадигмы (стр. 217) или род. падеж местоименной парадигмы (стр. 169). Даже и наиболее последовательно привлекаемые признаки (род., вин. падежи именной парадигмы) выявляются далеко не по всем языкам.

в системе склонения данного языка, т. е. в конечном счете от структуры этой системы (принцип грамматической обусловленности). Поскольку структура падежного склонения не идентична в различных тюркских языках и соответственно не идентичны соотношения трех падежных парадигм, то и содержание вариантов падежных показателей — сугубо фонетическое или же грамматическое — оказывается различным в зависимости от языка, а в ряде случаев — и от диалектов [22].

Стремясь осуществить подобный подход и придерживаясь методического приема, предполагающего описание языковой категории «путем регистрации соотношений между единицами, независимо от таких особенностей, которые, может быть, и представлены ими, но безразличны для указанных соотношений или невыводимы из них» [23], мы, прежде всего, отграничили от многообразия чисто фонетических феноменов (которые при падежном склонении обусловливаются действием сингармонизма, ассимиляции и диссимиляции, выпадения звука и других фонетических факторов) круг тех явлений, которые оказываются регулярно связанными с корреляцией консонантного начала падежных формантов. Именно этот тип корреляции, в ряде языков пронизывая значительные участки падежной парадигмы, активно на нее воздействует, будучи сопряжен в своих проявлениях с другими членами парадигмы, и поэтому рассматривается нами как особый класс знаменательных различий [24] между именной и посессивно-именной парадигмами падежного склонения.

В основу предлагаемого системно-классификационного рассмотрения тюркского склонения [25] был положен критерий внутриязыковых соотношений именной и посессивно-именной парадигм; в ряде тюркских языков эти соотношения базируются на корреляции консонантного начала падежных формантов. Если применять к репертуару падежных показателей и их вариантов сформулированное в фонологии понятие коррелятивного ряда [26], то маркированным коррелятивным рядом окажется совокупность падежных формантов с обязательным наличием консонантного начала в них — род. *-ниң/ -нин* (1), вин. *-ни* (2) и дат.-напр. *-га* (3) [27]. Соответственно немаркированным коррелятивным рядом будет совокупность падежных формантов с вокалическим началом (иными словами: отсутствием инициального согласного в них) — род. *-иң/ -ин* (1), вин. *-и/-(j)и* (2) и дат.-напр. *-а/-(j)а* (3).

[22] Ср.: Н. С. Трубецкой, Основы фонологии, М., 1960, стр. 80, 82.

[23] Л. Ельмслев, Методы структурного анализа в лингвистике, AL, VI, fasc. 2—3, Copenhague, 1950—1951, стр. 57.

[24] Ср.: R. Jakobson, S. Karcevskij, N. S. Troubetzkoy, Propositions, «Actes du I-er Congrès international de linguistes à La Haye, avril 1928», Leiden, [б. г.], стр. 33.

[25] В качестве материала были использованы соответствующие разделы научных грамматик тюркских литературных языков, а также сведения, сосредоточенные в кн.: ЯН СССР, II. Вопрос о введении в предлагаемую классификационную систему чувашского склонения осложняется тем, что его специфичность представляет собой закономерный результат особности исторической эволюции чувашского языка. В принципе, конечно, этот вопрос может быть решен. В данной статье нам было важно выявить опорную схему классификации тюркского склонения, не претендуя, естественно, на сколько-нибудь исчерпывающий охват всех тюркских языков (и тем более — диалектов).

[26] Как известно, в фонологии коррелятивный ряд определяется как «ряд коррелятивных фонологических единиц, характеризуемых наличием или, напротив, отсутствием одного и того же признака корреляции» (Й. Вахек, Лингвистический словарь Пражской школы, М., 1964, стр. 186, см. также стр. 92 и сл.).

[27] В своем анализе мы по традиции ограничились привлечением род., вин. и дат.-напр. падежей, исходя из общепризнанного положения о том, что местный и исходный падежи в формальном отношении «в сущности единообразны и общи всем тюркским языкам» (Э. В. Севортян, указ. соч., стр. 46).

Форманты каждого из падежей, принадлежащие тому или другому ряду, составят коррелятивную пару: (1) *-ниң/-нин — -иң/-ин*, (2) *-ни — -и /-(j)и*, (3) *-га — -а/- (j)а*; каждый член любой из этих пар представляет собой коррелятивную единицу (коррелятив). С учетом специфики посессивно-именной парадигмы в ряде тюркских языков к трем названным коррелятивным парам добавляется четвертая, гетерогенная, в которой противопоставление основано на признаке наличия или отсутствия интерфикса *-н-* в формах локативных (дат.-напр., местн., исх.) падежей имен, снабженных аффиксом принадлежности 3-го лица (4) [28]. В посессивно-именной парадигме ряда языков признак (4) оказывается тесно и регулярно связанным с тремя названными, составляя вместе с ними взаимообусловленную систему, отражающую перекрещивание категорий падежа и принадлежности.

Использование принятого критерия внутриязыковых соотношений именной и посессивно-именной парадигм при определении того или иного классификационного типа падежного склонения и последующем отграничении одного типа от другого показало, что этот критерий необходимо дополнить еще одним, более частным, вытекающим из неодинаковости результатов перекрещивания категорий падежа и принадлежности по языкам, а именно принципом выводимости — невыводимости посессивно-именной парадигмы из именной. Применение этого принципа основано на учете своего рода двойственного характера посессивно-именной парадигмы: с одной стороны, склонение имен, осложненных посессивными показателями, нельзя совершенно отграничивать от именного склонения в целом; с другой стороны, в ряде случаев посессивно-именная парадигма является своеобразным промежуточным звеном между именной и местоименной [29].

Применение избранной методики обусловило целесообразность выделения не двух классификационных типов склонения, как это делалось традиционно, а трех таких типов. Два из них вслед за Э. В. Севортяном, Э. Р. Тенишевым и другими исследователями назовем огузским (по Н. К. Дмитриеву, «южный», или «южнотюркский») и кыпчакским («северный», или «севернотюркский»), третий будем условно именовать узбекско-уйгурским.

4. Узбекско-уйгурский тип склонения (языки узбекский и новоуйгурский) имеет единую парадигму для «чистых» имен, для имен, снабженных посессивными показателями, и для местоимений [30]: эта единая парадигма представлена только маркированным коррелятивным рядом падежных формантов, при полном отсутствии немаркированного их ряда. Иными словами, падежные форманты с консонантным началом используют-

[28] Для наших целей удобнее считать интерфикс *-н-* входящим в состав падежного показателя, а не показателя принадлежности, как полагал Н. К. Дмитриев (см., например: ГБЯ, стр. 65) и полагают многие его последователи. Определение интерфикса как строевого средства языка, функция которого состоит в соединении морфем в слове, см.: Е. А. Земская, Интерфиксация в современном русском словообразовании, сб. «Развитие грамматики и лексики современного русского языка», М., 1964, стр. 41 и 42.

[29] Местоименная парадигма не во всех тюркских языках выделяется одинаково четко и по-разному соотносится с двумя другими парадигмами, что проследить во всех подробностях в журнальной статье не представляется возможным. Местоименное склонение обстоятельно описано в работе: Ф. Г. Исхаков, Местоимения, ИСГТЯ, ч. 2 (далее — М), стр. 215—231, 252—261.

[30] Формы род. падежа местоимений 1—3-го лиц ед. числа различными исследователями разлагаются на составные элементы по-разному (например: ГКЯ, стр. 77). Для нас наиболее приемлемо разбиение типа *ме-+-нинг, се + -ни, у(л) + -нинг* (А. Н. Кононов, Грамматика современного узбекского литературного языка, стр. 174), как и воззрение, в соответствии с которым узбекское лично-указательное местоимение *у* «в дат., местн. и исх. п. имеет форму *ун*: *ун + -га, ун + -да, ун + -дан...*» (там же).

ся, например в узбекском литературном языке, в любых фонетических условиях [31] — (1) род. *-нинг*, (2) вин. *-ни*, (3) дат.-напр. *-га*. Интерфикс *-н-* в локативных падежах имен, снабженных аффиксом 3-го лица, как коррелятивный признак посессивно-именной парадигмы представлен нулем: он отсутствует (4). Таким образом, именная и посессивно-именная парадигмы в узбекском практически не различаются, и последняя целиком выводима из именной парадигмы.

В новоуйгурском языке, как и в узбекском, посессивно-именная парадигма целиком выводима из именной. Единая падежная парадигма также представлена только маркированным коррелятивным рядом формантов: (1) род. *-ниң*, (2) вин. *-ни*, (3) дат.-напр. *-гә*. Интерфикс *-н-* в дат.-напр., местн. и исх. падежах имен, снабженных аффиксом 3-го лица, отсутствует и здесь (нулевой коррелятивный признак — 4).

Структурные отличия характерны для новоуйгурской местоименной парадигмы — «литературной нормой является присоединение аффиксов пространственных падежей (местн. и исх.— *Г. Б.*) к форме род. падежа» личных местоимений ед. числа (хотя возможно и присоединение аффиксов этих падежей непосредственно к местоименной основе): *мениңдә*, *сениңдин*, *униңда*, а также *униңға* [32]. Итак, несколько менее отчетливо, чем в узбекском, монолитность трех парадигм представлена в новоуйгурском.

Тем не менее, основной чертой узбекско-уйгурского типа склонения в его стандартизованном виде следует признать строгую выдержанность и выводимость посессивно-именной парадигмы склонения из именной.

5. Огузский тип падежного склонения (языки турецкий, азербайджанский, гагаузский, туркменский) характеризуется различением трех парадигм падежного склонения — именной, посессивно-именной и местоименной. В строгой зависимости от фонетических условий здесь почти полностью (отчасти исключение составляет только формант дат.- напр. падежа) представлены оба коррелятивных ряда падежных аффиксов — маркированный и немаркированный [33]. Иначе говоря, варианты показателей род. и вин. падежей здесь фонетически обусловлены: они дифференцированы «внешним образом соответственно конечному звуку основы: после согласных окончание является без начального *н*, а после гласных — с начальным *н*», причем в вин. падеже «турецкий язык для положения после гласных образовал новое окончание *-jы/-ji...*» (ВТЯ, стр. 151, 155). Важно подчеркнуть, что названная вариантность в «огузских» языках, имея чисто фонетический характер, охватывает все три парадигмы и тем самым обеспечивает единообразность огузского типа склонения в целом и почти полную выводимость посессивно-именной парадигмы из именной (имена, снабженные показателями принадлежности 1 и 2-го лица ед. и мн. числа, склоняются по образцу имен с конечной согласной).

Коррелятивные признаки именной и посессивно-именной (для имен с показателем принадлежности 1 и 2-го лица ед. и мн. числа) парадигм: (1) род. падеж турецк., азерб., гагауз. *-ын* и туркм. *-ың* для имен с конечной согласной, соответственно *-нын* и *-ның* для имен с конечной гласной;

---

[31] В ЯН СССР, II (стр. 345) это свойство узбекского склонения передается так: «Склонение в узбекском языке одно... Аффиксы одновариантны, т. е. их фонетический состав не зависит от основы слова». Ср., однако: А. Н. Кононов, указ. соч., стр. 91—92.

[32] Э. Н. Наджип, Современный уйгурский язык, М., 1960, стр. 77.

[33] В иных терминах это явление отмечал Н. К. Дмитриев (ГБЯ, стр. 64). По Э. В. Севортяну (указ. соч., стр. 47—48), получается несколько иное распределение.

(2) вин. падеж *-ы* во всех этих языках для имен с конечной согласной и азерб., туркм. *-ны*, турецк., гагауз. *-jы* для имен с конечной гласной; (3) дат. -напр. падеж *-а* во всех этих языках для имен с конечной согласной и турецк., гагауз., азерб. *-jа*, туркм. *-а*: для имен с конечной гласной. Отличия посессивно-именной парадигмы от именной сосредоточены в склонении имен, имеющих при себе показатели 3-го лица обоих чисел: дат.-напр., местн. и исх. падежи получают интерфикс *-н-*: *-н-а*, *-н-да*, *-н-дан* (4). Род. и вин. падежи для этого случая в соответствии с правилом именной парадигмы для имен с конечной гласной получают показатели *-ның/ /-ның* и *-ны/-jы*.

Местоименная парадигма выделяется специфическими формами (1) род. падежа местоимений 1-го лица ед. и мн. числа в турецком и гагаузском (*benim*, *bizim*), азербайджанском (*мәним*, *бизим*), (3) дат.-напр. падежа местоимений 1 и 2 -го лица ед. числа — турецк. и гагауз. *bana*, *sana* (при склоняемой основе *ben-*, *sen-*), туркм. *маңа*, *саңа* (при склоняемой основе *мен-*, *сен-*). По словам Ф. Г. Исхакова, для местоимений в турецком, азербайджанском, а также гагаузском характерен «выдержанный южный тип склонения», который для туркменских местоимений «нарушается в дат. падеже ед. ч.» (туркм. *маңа*, *саңа* вместо азерб. *мәнә*, *сәнә*, турецк. и гагауз. *bana*, *sana* — см.: М., стр. 215, 216, 218).

Таким образом, по признаку выводимости — невыводимости посессивно-именной парадигмы из именной огузский тип склонения в целом можно признать единообразным и выдержанным. Посессивно-именная парадигма в принципе выводима из именной и отличается от последней лишь одним коррелятивным признаком — наличием интерфикса *-н-* в дат.-напр., местн. и исх. падежах имен, осложненных посессивным показателем 3-го лица (4).

С точки зрения формантно-материальной — по набору вариантов обследуемых падежных показателей (один или два коррелятивных ряда их)— огузский тип склонения можно, таким образом, считать полярно противоположным (в классификационном смысле) узбекско-уйгурскому типу: в узбекском склонении форманты род., вин. и дат.-напр. падежей, в принципе одновариантные и в изучаемом плане не зависящие от фонетического состава склоняемого имени, могут иметь только консонантное начало (т. е. имеется только один — маркированный коррелятивный ряд падежных аффиксов); в огузском склонении, напротив, фонетическая вариантность указанных падежных показателей обусловливается фонетическим строением склоняемого имени, и на равных правах с вариантами, имеющими консонантное начало, здесь представлены фонетические варианты с гласным в анлауте (т. е. представлены с наибольшей полнотой оба коррелятивных ряда — маркированный и немаркированный).

В то же самое время огузский и узбекско-уйгурский типы падежного склонения оказываются близки с точки зрения выводимости их посессивно-именных парадигм из соответствующих именных. Правда, для огузского типа использование критерия выводимости — невыводимости дает отрицательный результат применительно к той части посессивной парадигмы, которая охватывает имена с аффиксами принадлежности 3-го лица (4),— тем самым на принцип структурной выводимости в огузском типе склонения налагаются известные ограничения (в противоположность узбекско-уйгурскому типу, который должен быть признан единообразным без каких-либо оговорок). Эти ограничения весьма заметны также в огузском местоименном склонении, хотя и проявляются не совсем одинаково по

разным языкам: в турецком, азербайджанском, гагаузском ими охвачены по два коррелятивных признака — (1) и (3), в туркменском — один (3).

6. Кыпчакский тип падежного склонения охватывает наибольшее количество тюркских языков; соответственно многоразличными оказываются градации этого типа по языкам и языковым подгруппам. Кыпчакскому типу, как и огузскому, свойственно наличие обоих коррелятивных рядов падежных аффиксов — маркированного и немаркированного. Однако если в огузском типе дистрибуция аффиксов из соответствующих коррелятивных пар осуществляется строго по фонетическому признаку, то в кыпчакском типе подобное распределение, прежде всего, грамматически обусловлено: маркированный коррелятивный ряд в целом характеризует именную парадигму, немаркированный — значительную часть посессивно-именной парадигмы. Таким образом, в кыпчакском типе каждый из падежных коррелятивов, входящих в одну коррелятивную пару, как правило, обладает морфологической значимостью и выступает в качестве морфологического варианта.

В большинстве кыпчакских языков — татарском, башкирском, кумыкском, карачаево-балкарском, крымско-татарском, караимском, ногайском, каракалпакском, казахском, а также в некоторых кыпчакизованных — чулымско-тюркском, киргизском, алтайском — именная парадигма единообразна в использовании падежных формантов, принадлежащих только маркированному ряду. Таковы (1) род. падеж татар., башк., ккалп., алт. *-ның*, караим., кирг. *-нын*, крым.-татар. *-нынъ*, чулым.-тюрк. *-нынг*, казах. *-дың*, ногайск. *-дынъ*, кумык., карач.-балк. *-ны*; (2) вин. падеж *-ны* для всех этих языков, кроме казах. и ногайск. *-ды*; (3) дат.-напр., падеж татар., ногайск., кирг., алт. *-га*, башк., казах., ккалп., караим. *-ға*, кумык., карач.-балк., крым.-татар. *-гъа*, чулым.-тюрк. *-ɣа*.

В отдельных языках, в настоящее время в целом тяготеющих к кыпчакскому типу склонения,— тувинском, шорском, хакасском, саларском, якутском [34] — именная парадигма обнаруживает известные нарушения своей единообразности. Проявляется это неодинаковым образом по разным языкам. При общей закрепленности маркированного ряда падежных формантов за именной парадигмой в тувинском, шорском, хакасском, саларском дат.-напр. падеж представлен здесь на свой собственный, особый манер обоими членами коррелятивной пары *-га — -а* [35], которыми обычно характеризуются именные парадигмы разных типов склонения — кыпчакского и узбекско-уйгурского (*-га*), с одной стороны, и огузского (*-а — -га*), с другой. При этом каждый из коррелятивов используется здесь в зависимости от фонетического строения склоняемого слова [36]. Таким образом, коррелятивы *-га — -а* именно в данном использовании внутри именной парадигмы являются фонетическими вариантами.

В якутском, за именной парадигмой которого также в целом закреплен маркированный ряд падежных формантов, вин. падеж, как и в огузском типе склонения, представлен коррелятивной парой *-ы — -ны*, причем каждый из названных коррелятивов используется в строгом соответствии

---

[34] Е. И. Убрятова, любезно поделившаяся своими воззрениями в личном письме к автору, полагает, что якутский, во многом очень близкий древнетюркским языкам, в ряде отношений является «более огузским, чем южные огузские языки». По всей вероятности, более поздние «смещения», произошедшие в якутских падежных парадигмах, определили известное тяготение их к кыпчакскому типу склонения.

[35] Э. Р. Тенишев, например, подчеркивает, что «... в саларском дательном падеже сплелись два типа тюркского склонения: огузский, или южный, и кыпчакский, или северный» (Э. Р. Тенишев, Саларский язык, М., 1963, стр. 21).

[36] См.: Ф. Г. Исхаков, А. А. Пальмбах, Грамматика тувинского языка, М., 1961 (ГТЯ), стр. 129; ЯН СССР, II, примеч. к стр. 470, 432; Э. Р. Тенишев, указ. соч., стр. 21; его же, Строй саларского языка. АДД, М., 1969, стр. 42.

с фонетическим составом склоняемого слова (ЯН СССР, II, стр. 409) и таким образом оба являются фонетическими вариантами.

Таким образом, в именной парадигме тувинского, шорского, хакасского, саларского языков, как и якутского, оказалась представлена контаминация огузского и кыпчакского типов склонения. В еще большей мере смешение двух типов склонения наблюдается в посессивно-именной парадигме этих языков (см. ниже).

Переходя к описанию кыпчакской посессивно-именной парадигмы, отметим прежде всего, что в ней наличествует специфическая примета этой парадигмы, присущая также огузской посессивно-именной парадигме, — интерфикс *-н-* в падежных словоформах, имеющих в своем составе показатель принадлежности 3-го лица (4) [37]. Известным исключением является только соответствующая часть якутской посессивной парадигмы, где интерфикс *-н-* в падежных формах имен с аффиксами принадлежности 3-го лица практически отсутствует, однако, как пишет Е. И. Убрятова, в указанных падежно-посессивных словоформах «начальный согласный аффиксов частного падежа (*-та*), совместного (*-лыын*) и сравнительного (*-таабар*) перешел в *н* (*-на*, *-ныын*, *-наабар*), по-видимому, под его (интерфикса *-н-*. — *Г. Б.*) влиянием» [38].

Другим, не менее специфическим признаком этой части кыпчакской посессивно-именной парадигмы является особый («усеченный», но тем не менее принадлежащий маркированному коррелятивному ряду) показатель вин. падежа *-н* (2) имен, имеющих при себе аффикс принадлежности 3-го лица. Присущая посессивно-именной парадигме всех кыпчакских и кыпчакизованных языков, эта черта имеет, однако, ограничение факультативного характера в крымско-татарском языке, где наряду с более часто употребляющимся формантом вин. падежа *-н* имена, снабженные аффиксом принадлежности 3-го лица, могут иметь также и обычный формант этого падежа *-ни* (ЯН СССР, II, стр. 240). В якутском, напротив, наблюдается гиперизм этой черты: использование форманта вин. падежа *-(ы)н* не ограничилось лишь склонением имен, снабженных аффиксом принадлежности 3-го лица, но распространилось на всю посессивно-именную парадигму в целом (например: *аппытын* «нашего коня»), а также на часть местоименной (*миигин* «меня», *эйигин* «тебя», но *биһигини* «нас», *эһигини* «вас» — ЯН СССР, II, стр. 409, 412).

Дат.-напр. падеж в той части посессивно-именной парадигмы, которая охватывает склонение имен, снабженных аффиксом принадлежности 3-го лица, почти во всех названных языках имеет формант из немаркированного ряда — *-а* (3), который оказывается парадигматически сопряженным с другим коррелятивом — интерфиксом *-н-*; таким образом, *-а* здесь следует рассматривать как морфологический вариант. Отклонения от этого правила наблюдаются в тувинском и шорском: в тувинском после интерфикса *-н-* (4) следует показатель дат. -напр. падежа *-га* (3) (ГТЯ, стр. 123, 125, стр. 129), иначе говоря, контаминировались черты огузского (4) и узбекско-уйгурского (3) типов склонения; в шорском употребляются параллельно *-н-а*/*-н-га* (ЯН СССР, II, стр. 471).

---

[37] В казахском, киргизском, хакасском, шорском, алтайском языках наличие интерфикса *-н-* в исх. падеже имен, имеющих при себе аффикс принадлежности 3-го лица, замаскировано упрощением геминированного консонантного сочетания *-н-нан* (< *-н-дан*) > казах., кирг. *-нан*, хакас. *-нанъ*, шорск. *-наң*, алт. *-нан*. Ср. татар., ногайск., ккалп. *-н-нан*.

[38] Из личного письма Е. И. Убрятовой к автору. Пользуемся случаем выразить искреннюю признательность Е. И. Убрятовой, Э. В. Севортяну, Э. Р. Тенишеву, Н. А. Баскакову, ознакомившимся со статьей в рукописи и высказавшим ценные замечания по ряду затронутых в ней вопросов.

Таким образом, даже наиболее выраженно тяготеющая к огузскому образцу часть посессивно-именной парадигмы (склонение имен с аффиксом 3-го лица) обнаруживает заметное смешение черт огузского и кыпчакского — узбекско-уйгурского типов склонения. Огузскими (т. е. невыводимыми из кыпчакской именной парадигмы) здесь являются признаки: наличие интерфикса *-н-* (4) и формант. дат.-напр. падежа *-а* (3) (дополнительное смешение, касающееся этих двух признаков, демонстрируют тувинский и шорский языки, где контаминировались огузский *-н-* и кыпчакский *-га*). На фоне огузской специфики в качестве кыпчакского вкрапления (в плане синхронии) воспринимается формант вин. падежа *-н* (2).

Остальные две части кыпчакской посессивно-именной парадигмы — склонение имен, снабженных показателем принадлежности 1 и 2-го лица ед. числа, и склонение имен с показателями 1 и 2-го лица мн. числа — обнаруживают неодинаковые соотношения по языкам.

Склонение имен с аффиксами принадлежности 1 и 2-го лица мн. числа во всех кыпчакских языках, как правило, совершенно совпадает с именной парадигмой, характеризуясь тем же самым маркированным коррелятивным рядом падежных формантов: (1) род. *-ның, -нын, -дың, -дын*, (2) вин. *-ны, -ды*, (3) дат.-напр. *-га, -ға* [39]. В тувинском и шорском в обеих названных частях посессивно-именной парадигмы (т. е. при показателях принадлежности 1 и 2-го лица как мн., так и ед. числа) по образцу именной используются форманты маркированного ряда (ГТЯ, стр. 143—144; ЯН СССР, II, стр. 471), иначе говоря, обе эти части посессивно-именной парадигмы вполне выводимы из именной. В условиях такого предельного для кыпчакского типа склонения выравнивания (по образцу именной парадигмы) двух частей посессивно-именной парадигмы специфика последней сосредоточилась в склонении имен, снабженных аффиксом 3-го лица. В языке барабинских татар и в алтайском наметившаяся тенденция к подобному выравниванию обнаруживается в наличии параллельно употребляемых формантов дат.-напр. падежа *-ға/-а, -га/-а* после аффиксов принадлежности 1 и 2-го лица ед. числа — оба эти члена коррелятивной пары, естественно, здесь являются фонетическими вариантами.

В подавляющем большинстве кыпчакских и в некоторых кыпчакизованных языках склонение имен с аффиксами принадлежности 1 и 2-го лица ед. числа выделяется преимущественно одним признаком, чаще всего это (3). Дат.-напр. падеж после показателей принадлежности 1 и 2-го лица ед. числа имеет формант немаркированного ряда *-а* в татарском, башкирском, кумыкском, карачаево-балкарском, крымско-татарском, караимском, ногайском, каракалпакском, казахском (в последнем еще и после показателя 2-го лица простого мн. числа *-лар-ің* + *-а*), киргизском, хакасском. В отдельных языках эта часть посессивно-именной парадигмы дополнительно выделяется и еще одним признаком. В кумыкском и кара-

---

[39] К сожалению, далеко не все современные научные грамматики и компендиумы дают исчерпывающие сведения о всех разновидностях падежного склонения в описываемом языке. Иногда неполнота сведений оборачивается прямой противоречивостью, дезориентирующей читателя. Так, в «Таблице падежных аффиксов притяжательного склонения (Единственное и множественное число)» для дат.-напр. падежа приведен лишь один формант *-а/-е* («Современный казахский язык», стр. 159), между тем, в ЯН СССР, II (стр. 324), в числе особенностей, которыми «притяжательное местоимение отличается от простого», указано только: «аффикс дат. падежа после аффикса принадлежности 1-го и 2-го лица единственного числа имеет форму *-а/-е*» (разрядка в обоих случаях наша.— *Г. Б.*). Подробно см. в кн.: S. Amançolov, Qazaq tjljnjŋ grammatikasь, 1 — Morfologia, Alma-Ata, 1939, стр. 52: *-а* в словоформе с аффиксом принадлежности 2-го лица простого мн. числа (*kjtap-tarьŋ-a* «вашей книге») и *-оқа* после аффикса принадлежности 2-го лица вежливого мн. числа (*kjtap-tarьŋьz-oқa*).

чаево-балкарском это признак (1—2): род.-вин. падеж в этих языках после аффиксов принадлежности 1 и 2-го лица ед. числа также имеет немаркированный формант *-ы*, в то время как в большинстве кыпчакских языков род. и вин. падежи для этой части посессивно-именной парадигмы имеют маркированные аффиксы, как и при склонении имен с аффиксами принадлежности 1 и 2-го лица мн. числа.

Таким образом, кыпчакская посессивно-именная парадигма воплощает в себе по различным языкам разные меры и способы смешения двух типов склонения. Так, все четыре признака посессивно-именной парадигмы, привлекаемых к изучению, в кумыкском и карачаево-балкарском языках являются чуждыми их именной парадигме и, напротив, легко объяснимыми с точки зрения огузского типа склонения. В большей части кыпчакских и кыпчакизованных языков такими инородными являются по два признака, сосредоточенных в склонении имен с аффиксами 1—2-го лица ед. числа [дат. *-а* (3)] и 3-го лица [дат. *-а* (3) и наличие интерфикса *-н-* (4)]. В тувинском и шорском, отчасти — в языке барабинских татар отличия посессивно-именной парадигмы от именной замкнулись в склонении имен с аффиксами 3-го лица.

Так или иначе, кыпчакская посессивно-именная парадигма в большей или меньшей степени оказывается невыводимой из именной парадигмы того же типа склонения (в иных терминах — см. ВТЯ, стр. 149). С соответствующими показаниями именной парадигмы не согласуются немаркированные форманты дат.-напр. падежа для имен с посессивными аффиксами 1 и 2-го лица ед. числа и тот же формант, осложненный интерфиксом *-н-*, — *-н-а* для имен с аффиксом 3-го лица в большинстве кыпчакских языков, а также немаркированный формант род.-вин. падежа *-ы* для имен с аффиксами 1 и 2-го лица ед. числа в кумыкском и карачаево-балкарском. Эти черты кыпчакской посессивно-именной парадигмы, равно как и наличие интерфикса *-н-* в локативных падежах имен, снабженных аффиксом 3-го лица, явным образом не только перекликаются с огузским типом склонения, но и в известной мере «выводимы» из него с точки зрения синхронии.

Бо́льшим «смещением» в сторону кыпчакского типа склонения характеризуется якутская посессивно-именная парадигма. Здесь наблюдается даже своеобразный гиперизм кыпчакских (в плане синхронии) черт: на всю посессивно-именную парадигму распространились: (2) формант вин. падежа *-(ы)н*, в кыпчакских языках составляющий только примету имен с аффиксом 3-го лица, и (3) формант дат.-напр. падежа *-ҕар*, в отдельных кыпчакских языках используемый только в склонении единичных местоимений — личных или указательных, иногда возвратного (см. ниже). Показательно, однако, что видимый гиперизм кыпчакских черт в якутской посессивно-именной парадигме не обеспечивает тем не менее ее полной выводимости из именной парадигмы.

Как подчеркивал еще Ф. Г. Исхаков, у местоимений большинства кыпчакских и кыпчакизованных языков (кумыкского, татарского, башкирского, казахского, киргизского; хакасского, алтайского, шорского, тувинского) «тип склонения — смешанный (южно-северный)», т. е. «местоимения мн. ч. склоняются по северному типу склонения, ... а местоимения ед. ч.— в основном по южному типу...» (М., стр. 220, 229; см. также стр. 222, 223, 225, 226, 228). С одной стороны, показательно, что в ногайском род. падеж местоимений 1-го лица ед. и мн. числа представлен специфически огузскими формами *меним*, *бизим*; в татарском подобная форма отмечается только у местоимения 1-го лица ед. числа — *минем*. Не вытекающей из позиционных фонетических правил каракалпакского языка представляется форма род. падежа местоимений 1 и 2-го лиц мн. ч. *биз-иң* «наш»,

сиз-иң «ваш» — с формантом немаркированного ряда, как в огузском типе склонения (ср. более закономерную с точки зрения каракалпакской фонетики форму род. падежа местоимения 3-го лица мн. числа *олар-дың* — с формантом маркированного ряда).

С другой стороны, в остальных языках в склонении разрозненных местоимений — реже личных и возвратных, чаще указательных или личноуказательных — дат.-напр. падеж имеет архаический показатель *-гар, -ар* (с вариантами). Например: караимск. *анар* «ему, тому», кумык. *огъар* «ему, тому», *бугъар* «этому», *шугъар/шогъар* «этому, тому» и *оьзуьгер/оьзуьне* «ему, самому», татар. диалектн. *аңгар-га* «ему, тому», *миңәргә* «мне», *синәргә* «тебе», башк. диалектн. *аңарға*. Ср. казах. *маған, саған, оған* и ккалп. *уған, буған, соған*.

Итак, отсутствие полной согласуемости посессивно-именной парадигмы с именной парадигмой в кыпчакском типе склонения, а также выводимость этой посессивной парадигмы в одной ее части из именной парадигмы кыпчакского (а также узбекско-уйгурского) типа, а в другой (несовпадающей по языкам) — из огузского типа склонения позволяет с уверенностью утверждать, развивая мысль В. А. Богородицкого и Н. К. Дмитриева, что кыпчакская посессивно-именная парадигма в плане синхронии имеет смешанный характер. Смешение это в разных языках представлено в самых различных пропорциях — от минимальной [невыводимость посессивно-именной парадигмы из кыпчакской именной по одному признаку (4)] до максимальной (соответствующая невыводимость по всем четырем признакам).

Если учитывать к тому же показания местоименной парадигмы (см.: М, стр. 218 и сл.), то можно говорить о неоднородности кыпчакского типа падежного склонения в целом, причем в отдельных кыпчакизованных языках — тувинском, шорском, хакасском, саларском, якутском — смешение коснулось даже некоторых падежей именной парадигмы. Можно сказать, что кыпчакский тип склонения в целом реализуется в виде разнообразных градаций подобного смешения. С точки зрения формантно-материальной кыпчакский тип склонения в классификационном плане занимает промежуточное место между узбекско-уйгурским и огузским типами: в именной и в одной части посессивно-именной парадигмы он обнаруживает тяготение к узбекско-уйгурскому типу, в остальных частях посессивно-именной парадигмы явным образом примыкает к огузскому типу.

7. Применение принятой здесь методики и, в частности, использование критерия соотношения именной и посессивно-именной падежных парадигм внутри каждого языка, как и принципа выводимости — невыводимости посессивно-именной парадигмы из именной, позволило выделить три (а не традиционных два) классификационных типа тюркского склонения и наметить спецификацию каждого из них. Узбекско-уйгурский и огузский типы склонения, каждый по-своему, являются единообразными, характеризуясь последовательным соблюдением принципа выводимости: посессивно-именная парадигма полностью (в первом из них) или почти полностью (во втором) выводима из именной. Третий, кыпчакский тип, охватывающий наибольшее число языков, занимает промежуточное положение между узбекско-уйгурским и огузским типами склонения: его именная парадигма наиболее близка к соответствующей узбекско-уйгурской, а посессивно-именная — к соответствующей огузской. Иными словами, для кыпчакского типа склонения характерно то, что посессивно-именная парадигма не выводима из именной. Таким образом, кыпчакский тип склонения в целом следует определить как неоднородный, смешанный по своему характеру.

Вероятно, более широкий охват материала в плане не только синхронии, но и диахронии, т. е. по возможности полный учет показаний как современных, так и древнетюркских языков и диалектов по всем существующим (и существовавшим) падежам, дал бы картину еще более сложную, нежели представленная здесь.

Тем не менее, без четкого разграничения выделенных трех классификационных типов тюркского склонения, без установления в каждом конкретном случае морфологической или фонетической значимости вариантов падежного показателя, а значит, и без отчетливого представления о том, какие результаты, не одинаковые по языкам, дает перекрещивание категорий падежа и принадлежности[40], затрудняются любые исследования в области тюркского склонения и оказывается невозможно приступить к следующему этапу изысканий, а именно изучению сложных переплетений трех названных типов склонения на базе исторических и продолжающихся интенсивных контактов среднеазиатско-тюркских языков, диалектов, говоров.

---

[40] Плодотворная идея о взаимодействии в тюркском склонении именно этих двух категорий в неявной форме сквозит в трудах В. А. Богородицкого, Е. Д. Поливанова и Н. К. Дмитриева. Постановку «проблемы точной связи между падежами и прочими морфологическими категориями в данном языке» см.: Р. О. Якобсон, Морфологические наблюдения над славянским склонением, 's-Gravenhage, 1958, стр. 24.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 1 1975

В. Е. ЩЕТИНКИН

ЭВОЛЮЦИЯ ВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ ИНДИКАТИВА ОТ ЛАТЫНИ К ФРАНЦУЗСКОМУ ЯЗЫКУ

Основой временной системы во французском языке, как и в других романских языках, является латинская система, претерпевшая в ходе эволюции глубокие качественные и количественные изменения. Процесс ее становления, равно как и причины имевших в ней место изменений, неоднократно были предметом специальных исследований и достаточно хорошо изучены. Не составляет исключения и так называемое будущее в прошедшем (условное наклонение). Достоверно известно, что форма *chanterais* берет начало от народнолатинской конструкции *cantare habebam*; этот факт не только констатируется [1], но и соответствующим образом интерпретируется [2]. В одних случаях появление новой формы связывается с изменениями в плане выражения: совпадение в звучании пар типа *cantabit — cantavit* ведет к тому, что синтетическое будущее, к тому же «часто двусмысленное и во всех случаях маловыразительное для разговорной речи» [3], исчезает, а образовавшаяся в морфологической системе брешь «закрывается» некоторыми модальными конструкциями, в частности, *cantare habeo*, которые переосмысляются и получают временно́е значение. Поскольку, однако, модальный глагол сохраняет еще свою автономию, он может принимать форму прошедшего времени; так возникает конструкция *cantare habebam*, которая и легла в основу романского будущего в прошедшем [4]. В других случаях причина реорганизации латинской системы усматривается в плане содержания, а именно в противоречивом характере перфективной формы *cantavi*: имея значение законченного настоящего, она могла восприниматься и как собственно прошедшее (претерит). Это привело к тому, что *cantavi* превратилось в форму выражения прошедшего, тогда как законченное действие, связанное с настоящим, стало выражаться перифразой *habeo cantatum*. В связи с этим развиваются и другие перифрастические конструкции, в том числе и *cantare habeo*, и производная от нее *cantare habebam* [5]. Оба эти объяснения основаны на реально наблюдаемых фактах и поэтому несомненно достоверны [6].

[1] K. Nyrop, Grammaire historique de la langue française, II, Copenhague, 1903, § 204; F. Brunot, Histoire de la langue française dès origines à 1900, I, Paris, 1924, стр. 86.

[2] A. Burger, Sur le passage du système des temps et des aspects de l'indicatif, du latin au roman commun, CFS, 8, 1949, стр. 31.

[3] A. Meillet, Esquisse d'une histoire de la langue latine, Paris, 1931, стр. 263.

[4] W. von Wartburg, Évolution et structure de la langue française, Berne, 1946, стр. 38—39.

[5] A. Meillet, указ. соч., стр. 260—261; A. Burger, указ. соч., стр. 25—26.

[6] Вряд ли можно в связи с этим серьезно относиться к утверждению Э. Косериу, который, отмечая материальную неустойчивость классического латинского будущего и характерную для народной латыни тенденцию к аналитическим выражениям, считает, тем не менее, что решающим историческим фактором образования перифрастического будущего было христианство. См.: Э. Косериу, Синхрония, диахрония и история, сб. «Новое в лингвистике», III, М., 1963, стр. 261.

Новая для латыни конструкция *cantare habebam* обнаруживает явную семантическую близость с конъюнктивом. С одной стороны, она употребляется в гипотетических фразах, обозначая действие, которое должно было совершиться, но не совершилось из-за отсутствия необходимого для этого условия: *Sanare te habebat deus si fatereris* «Бог тебя вылечил бы, если бы ты признался» [7]. В этом качестве новая форма, представляющая, по выражению Ф. Брюно, «время-наклонение», вытесняет в конечном счете конъюнктив из условных периодов [8]. С другой стороны, то временное значение следования за моментом прошлого, которое форма *chanterais* получает в романский период, тоже не было новым для латыни и могло выражаться имперфектом конъюнктива: *Xerxes praemium proposuit qui invenisset novam voluptatem* «Ксеркс предложил награду тому, кто изобретет новое удовольствие» [9]. Но если и модальное значение гипотетичности, и временное значение следования за моментом прошлого выражались соответствующими формами конъюнктива, то естественно возникает вопрос: почему стала необходимой эта новая форма? Вряд ли доказательно объяснение, которое сводится к ссылке на параллелизм в развитии конструкций *cantare habeo* и *cantare habebam* [10]: первая понадобилась для замены исчезающего синтетического будущего, тогда как вторая явилась совершенно новым образованием в структуре индикатива. Очевидно, что появление этой последней отвечало какой-то насущной потребности языка, которую уже не «устраивал» конъюнктив; анализ отношений между временными формами индикатива становится поэтому необходимым. Именно это и является предметом изучения в настоящей статье. Но прежде чем приступить к изложению вопроса, необходимо точно оговорить используемую здесь методику, ибо, как справедливо замечено, «реальность исследуемого объекта неотделима от метода, посредством которого его определяют» [11]. В работе используется метод оппозиций.

Тезис об асимметричности грамматической оппозиции, составляющий конструктивную основу метода [12], означает, что один из ее членов имеет узкое, другой — более широкое значение. Терминологически это выявляется тогда, когда для построения используются не контрарные термины типа «черный/белый», а контрадикторные. В этом случае природа сравниваемых объектов не меняется, но значение одного из них характеризуется уже не по связи с денотатом, а относительно другого, взятого за точку отсчета, например, «черный/нечерный». Очевидно, что если исследуемая система состоит из двух объектов, значение отрицательного члена оппозиции элементарно: так, «нечерный» может быть тождествен значению «белый». Если же число взаимосвязанных объектов более двух, отрицательный член исходного отношения не является уже элементарным, в нем возможно отыскать некоторый положительный (но иной, чем в первом отношении) смысл и построить по этому основанию еще одну идентичную оппозицию, например, «белый/небелый», описывающую смысловую структуру отрицательного члена исходного отношения. Теоретически такие

---

[7] W. von Wartburg, указ. соч., стр. 39.

[8] Детальный анализ процесса замены конъюнктива формами индикатива см.: R.-L. Wagner, Les phrases hypothétiques commençant par *si* dans la langue française, dès origines à la fin du XVIe siècle, Paris, 1939.

[9] С. И. Соболевский, Грамматика латинского языка. Часть теоретическая. Морфология. Синтаксис, М., 1950, стр. 225.

[10] R.-L. Wagner, указ. соч., стр. 82—84.

[11] Э. Бенвенист, Уровни грамматического анализа, сб. «Новое в лингвистике», IV, М., 1965, стр. 434.

[12] R. Jacobson, Zur Struktur des russischen Verbums, «Charisteria G. Mathesio... oblata», Pragae, 1932, стр. 74; его же, Les embrayeurs, les catégories verbales et le verbe russe. Essai de linguistique générale, Paris, 1963, стр. 185.

построения можно продолжать и далее; все зависит от числа выделяемых исходных понятий и способа группировки получаемых результатов. Ясно, что наибольшая простота описания достигается при ограничении числа исходных понятий двумя; при этом, однако, необходимо доказать возможность использования метода для описания систем, включающих большее число элементов, в частности, системы глагольных времен. Это становится возможным следующим образом. Значение предшествования, указывающее, что некоторый факт уже имел место в действительности, принимается за точку отсчета; ему противопоставляется значение непредшествования. Это последнее естественно включает в себя значения следования и одновременности; исходным следует признать значение следования, поскольку оно недвусмысленно определяется относительно отправного понятия предшествования, и в свою очередь противопоставить его значению неследования [13]. В образующейся системе: «предшествование/непредшествование», «следование/неследование» — значение одновременности не выражено, но определенно в ней заложено. Дело в том, что набор составляющих систему элементов не исчерпывается одними положительными и отрицательными значениями; в ней возможно выделить, сверх того, значения, характеризующиеся сочетанием только положительных или только отрицательных признаков. Вообще говоря, их реализация не всегда обязательна. Так, в рамках рассматриваемой здесь проблемы, невозможно представить себе сочетание в одной форме значений предшествования и следования сразу [14]. Зато вполне мыслимо значение, которое не является ни предшествованием, ни следованием. Более того, оно реально: непредшествование и неследование относительно какого-то момента есть одновременность с этим моментом. Это означает, что понятие одновременности является производным значений и предшествования, и следования [15]; структурное описание одновременности предполагает поэтому наличие двух взаимосвязанных оппозиций [16]. Подобный ракурс представляет несомненную выгоду для исследователя: два исходных понятия не исключают других производных значений и обеспечивают в то же время максимальную простоту описания [17]. Следует также учесть, что описательные возможности

---

[13] В. Я. Плоткин, *Эволюция систем грамматических оппозиций в германских языках*, «Историко-типологические исследования морфологического строя германских языков», М., 1972, стр. 114—115.

[14] Соединение двух положительных характеристик, однако, принципиально возможно для других языковых объектов. Так, среднефранцузская конструкция *agee d'un trente cinq ans* «в возрасте 35 лет» (Kr. Nyrop, указ. соч., V, Copenhague, 1925, стр. 170) представляет собой соединение двух полярных маркировок — множественности и единичности (при условии, что несчисляемость описывается как немножественность и неединичность); так называемый обоюдный род румынского языка также объединяет в одной парадигме противопоставленные значения муж. и жен. рода.

[15] Ср., однако: «...*относительно-временная дифференциация* развертывается в первую очередь как различение предшествования и непредшествования; дальнейшее различение одновременности и предстояния происходит уже в рамках непредшествования» (И. М. Тронский, Очерки по истории латинского языка, М.—Л., 1953, стр. 212). Очевидно, что здесь значения одновременности и предстояния (следования) квалифицируются как *явления одного порядка*, в равной мере производные от исходного понятия предшествования.

[16] Это условие непременно; без него неясно, каким образом одна лишь бинарная оппозиция «предшествование/непредшествование» может описать иерархию из трех членов. Ср.: Л. И. Лухт, Глагол, в кн.: «Сравнительно-сопоставительная грамматика романских языков. Проблема структурной общности», М., 1972, стр. 304 и сл.

[17] Применение методики к романскому материалу см.: Н. Д. Арутюнова, О системе времен в испанском языке, «Уч. зап. [ЛГПИ им. Герцена]», 317, 1971, стр. 26, 28; германский материал см.: В. Я. Плоткин, указ. соч., стр. 114 и сл. Заслуга эксплицитного введения в обиход научного анализа сочетания только положительных или только отрицательных признаков (дважды маркированного или немаркированного значения) принадлежит Р. Якобсону; см., например: R. Jacobson,

метода расширяются и за счет того, что рассматриваемые понятия могут быть использованы для характеристики не только относительных времен [18], но и абсолютных [19]; различение двух осей ориентации, т. е. изменение точки отсчета, не препятствует тому, чтобы охарактеризовать, например, одновременность с моментом речи или с моментом прошлого одинаково как непредшествование и неследование избранному моменту (что отнюдь не предполагает, разумеется, стирания принципиальных различий между абсолютными и относительными временами). Обратимся теперь к системе индикатива в классическом латинском языке.

Образующие латинский индикатив настоящее, прошедшее и будущее времена реализуются в двух рядах форм, причем формам несовершенного вида соответствуют параллельные перфективные образования [20]; вся система строится так:

		Настоящее	Прошедшее	Будущее
I	Несов. вид	*canto*	*cantabam*	*cantabo*
	Сов. вид	*cantavi*	*cantaveram*	*cantavero*

Влияние фонетических изменений на реорганизацию системы, равно как и роль перфекта *cantavi* в ее перестройке очевидны, но, как будет показано ниже, другим не менее важным звеном в этом процессе был имперфект, который в тесной связи с перфектом (но в ином плане, чем об этом говорилось выше) сыграл решающую роль в появлении романской формы будущего в прошедшем. Речь идет о следующем.

Если оценить систему I в терминах предшествования и следования (а это оправдано с проспективной точки зрения), то оказывается, что формы несовершенного вида имеют полный «набор» временных характеристик: имперфект в качестве прошедшего времени выражает предшествование к моменту речи, футурум I — следование, а презенс — одновременность с этим же моментом речи. Поэтому система форм несовершенного вида может быть записана, в соответствии с принятой методикой, следующим образом:

$$\text{II}\quad \left.\begin{matrix}\text{imperfectum}\\ \text{futurum I}\end{matrix}\right\}\ \begin{matrix}\text{предш./непредш.}\\ \text{следов./неследов.}\end{matrix}\ \Big\}\ \text{praesens}$$

Формы совершенного вида такому описанию не поддаются, ибо все они выражают одно и то же временное значение предшествования: *cantaveram* относительно *cantavi* как формы законченного настоящего; *cantavi* же, но уже в качестве претерита, относительно *canto*; *cantavero* по отношению к *cantabo*. Смысловое соотношение перфективного будущего и будущего несовершенного вида остается тем же при переходе к романским языкам; статус же других перфективных форм заслуживает специального рассмотрения.

Очевидно, что после того, как видовая характеристика законченного настоящего, составляющая первоначальную суть формы *cantavi* [21], перехо-

---

The gender pattern of Russian, «Studii şi cercetări lingvistice», XI, Bucureşti, 1960, стр. 541.

[18] P. I m b s, L'emploi des temps verbaux en français moderne. Essai de grammaire descriptive, Paris, 1960, стр. 13, 188—189; И. Б. Х л е б н и к о в а, Некоторые вопросы типологического сопоставления видо-временных систем, «Структурно-типологическое описание современных германских языков», М., 1966, стр. 72.

[19] A. K l u m, Verbe et adverbe, Uppsala, 1961, стр. 61, 62; Ю. В. В а н н и к о в. Опыт типологического анализа временных значений, «Языковые универсалии и лингвистическая типология», М., 1969, стр. 203—204; В. Я. П л о т к и н, указ. соч.

[20] A. M e i l l e t, указ. соч., стр. 152.

[21] J. P e r r o t, Réflexions sur les systèmes verbaux du latin et du français, RLR, 72, 1956, стр. 145—146.

дит к перифразе *cantatum habeo*, форма *cantavi* закрепляется в языке в качестве собственно прошедшего. Тот факт, что смысловая структура *cantavi* получает значение прошедшего, означает, во-первых, что форма *cantaveram* утрачивает значение предшествования к моменту речи, которое она имела в ряду перфективных форм, и получает значение предшествования к моменту прошлого; во-вторых, что предшествование к моменту речи начинает выражаться и имперфектом, и перфектом, которые должны быть поэтому вписаны в одну и ту же «клетку» системы, т. е.

$$\text{III}\ \left.\begin{matrix}\text{imperfectum}\\ \text{perfectum}\\ \text{futurum I}\end{matrix}\right\}\ \begin{matrix}\text{предш./непредш.}\\ \text{следов./неследов.}\end{matrix}\ \Big\}\ \text{praesens}$$

Но если имперфект и перфект равно обладают значением прошедшего (= выражают предшествование к моменту речи), они в равной мере должны противопоставляться плюсквамперфекту, выражающему предпрошедшесть (= предшествование к моменту прошлого), т. е.

$$\text{plusquamperfectum} / \begin{matrix}\text{imperfectum}\\ \text{perfectum}\end{matrix}$$

Однако, если противопоставление *cantaveram/cantavi* по признакам предпрошедшесть/прошедшесть реально, то отношение *cantaveram/cantabam* по этому же основанию невозможно, ибо не согласуется со все еще действующей корреляцией по виду, в рамках которой плюсквамперфект и перфект равно противостоят имперфекту [22]. Поэтому объединение имперфекта и перфекта как носителей семы прошедшести, допустимое относительно момента речи (форма *canto*), оказывается неприемлемым при соотнесении с предпрошедшим действием (форма *cantaveram*), и это — несмотря на то, что иногда в речи имперфект может обозначать начало действия, что, казалось бы, создает необходимое условие для реализации значения предпрошедшести и относительно имперфекта. Равновесие в системе восстанавливается лишь тогда, когда имперфект интерпретируется как показатель одновременности с моментом прошлого: передавая неоконченное действие в прошлом, начало которого в большинстве случаев также не обозначено [23], имперфект выражает некоторый временной континуум, в который могут вписываться другие, «дискретные», прошедшие времена. Но в иерархии временных признаков одновременность, как уже говорилось, представляет собой сочетание отрицательных характеристик непредшествования и неследования относительно избранного момента и предполагает, следовательно, реализацию обоих исходных понятий. Попытка отождествить временные формы, выражающие положительные значения предшествования и следования относительно момента прошлого, приводит к любопытным результатам. Предшествование выражается при помощи плюсквамперфекта; для значения же следования специальной формы индикатива нет. Правда, есть так называемое перифрастическое спряжение. Подобно тому, как сочетание *scripturus sum* «я намерен писать» от выражения намерения [24], готовности совершить действие [25] может переходить к вы-

[22] Впрочем, нейтрализация латинских видовых различий не делает противопоставление плюсквамперфекта и имперфекта по признакам «предпрошедшесть/прошедшесть» более реальным, как об этом свидетельствуют романские языки, в которых эта оппозиция также невозможна.

[23] Ср. следующую характеристику имперфекта во французском: «ни начало, ни конец действия не существенны для имперфекта как такового» (P. I m b s, указ. соч., стр. 90).

[24] С. И. Соболевский, указ. соч., § 756 а.

[25] А. Эрну, Историческая морфология латинского языка, М., 1950, § 317.

ражению будущего [26], данное сочетание, включенное в план прошедшего (что сигнализируется соответствующими формами глагола *esse*), может переосмысляться и переходить к обозначению будущего в прошедшем: в *scripturus fui* (*eram*) «я был намерен писать» причастие выражает значение следования за моментом прошлого, обозначенного вспомогательным глаголом. Однако нужно иметь в виду, что это спряжение всегда носило искусственный характер [27], в народно-разговорную речь, видимо, не проникало [28]; само причастие на *-turus* было вневидовым образованием [29] и резко противоречило четкому распределению глагольных форм между системами совершенного и несовершенного вида. Но дело не только в особенностях самого спряжения. Не менее важно то, что после того, как латинский инфинитивный оборот *credo hunc venturum esse* «я думаю, что он придет» заменяется личной конструкцией *credo quod venturus est* [30], это сочетание может попадать в сферу действия конъюнктива, который — в соответствии с правилом согласования времен — выражает при необходимости значение следования по отношению к действию главного предложения, и, когда это действие относится к прошлому, берет на себя функцию будущего в прошедшем: *quaesivi quid acturus esse* «я спросил, что ты будешь делать». А поскольку проникновение конъюнктива в различные виды придаточных предложений (например, косвенный вопрос, относительные придаточные и т. д.) было одной из характерных черт развития латыни [31], следует признать, что основным, если не исключительным, средством выражения будущего в прошедшем в латинском языке был конъюнктив. Это значит, что квалификация имперфекта индикатива как показателя одновременности с моментом прошлого предполагает неизбежное обращение к конъюнктиву, т. е.:

IV plusquamperfectum ind. } предш./непредш. } imperfectum ind.
imperfectum conj. } следов./неследов. }

Очевидно, что данная система, построенная не только на временных, но и на модальных характеристиках, противоречива. Стремление к ее гомогенности может означать только одно: устранение из нее конъюнктива и заполнение «пустой клетки» такой формой, которая, принадлежа индикативу, могла бы взять на себя функцию выражения следования относительно момента прошлого. Именно это и происходит в поздней латыни: конструкция *cantare habebam*, выражавшая первоначально долженствование в прошлом, была приспособлена для выражения будущего в прошедшем. Вовлечение этой конструкции в систему временных форм может, таким образом, рассматриваться как свидетельство потребности языка обозначить будущее в прошедшем средствами индикатива и представляет собой реакцию на своего рода «давление» системы. Грамматизация сочетания может рассматриваться как доказательство того, что значение одновременности с моментом прошлого окончательно утверждается как релевантный признак имперфекта, т. е.

V plusquamperfectum } предш./непредш. } imperfectum
cantare habebam } следов./неследов. }

[26] Как отмечается по другому поводу, между *я хочу идти*, *я намерен идти* и *я пойду* большой разницы нет (там же, § 234).
[27] Там же, § 166.
[28] И. М. Тронский, Историческая грамматика латинского языка, М., 1960, § 489.
[29] Там же, § 491.
[30] Э. Бурсье, Основы романского языкознания, М., 1952, § 254 в.
[31] И. М. Тронский, Очерки..., стр. 214.

Внимательный анализ построения дает повод для следующих суждений принципиального порядка. Первое из них касается характера перехода от видовых признаков к временным. Квалификация имперфекта как выразителя одновременности свидетельствует о том, что этот переход был реализован в полном соответствии с видовыми отношениями; это касается времен, соотнесенных не только с моментом прошлого:

$$\text{plusquamperfectum} \left\{ \begin{array}{l} \text{сов. вид/несов. вид} \\ \text{предш./одновременность} \end{array} \right\} \text{imperfectum},$$

но и с моментом речи:

$$\text{perfectum} \left\{ \begin{array}{l} \text{сов. вид/несов. вид} \\ \text{предш./непредш.} \end{array} \right\} \text{praesens},$$

а также с моментом будущего:

$$\text{futurum II} \left\{ \begin{array}{l} \text{сов. вид/несов. вид} \\ \text{предш./непредш.} \end{array} \right\} \text{futurum I}.$$

Данное обстоятельство не может не рассматриваться как конкретное проявление принципа экономии в морфологических изменениях.

Второе замечание связано с перфектом. Отсутствие этого времени в системе V объясняется тем, что его значение «точечного прошедшего» (un passé ponctuel [32]) не совместимо с понятием континуума, передаваемого имперфектом. Несомненно, что, обозначая некоторую точку в этом континууме, относящемуся к прошлому, перфект вписывается в него подобно тому, как момент речи вписывается в значение настоящего времени. Однако ни в том, ни в другом случае понятие момента, избираемого за точку отсчета, не покрывает значение формы, выражающей одновременность. Поэтому вряд ли методологически оправдано включение перфекта в один и тот же с имперфектом отрезок временной оси, как это происходит, например, с французским простым прошедшим [33]: это означает в принципе, что обеим формам приписывается одно и то же значение. Перфект служит ориентиром, относительно которого оцениваются значения других форм, но сам в рассматриваемой системе не представлен.

Нуждается, очевидно, в уточнении мнение (и это третье замечание), согласно которому грамматизация конструкции *cantare habebam* есть следствие более ранней грамматизации сочетания *cantare habeo* [34]. Независимо от того, в чем исследователь видит причину превращения конструкции *cantare habeo* в элемент глагольной парадигмы — в плане выражения, в плане содержания или в совокупном действии того и другого, существо вопроса остается тем же: новая форма имеет структурный статус исчезающей синтетической формы *cantabo*. Напротив, включение *cantare habebam* в систему глагольных форм связано не только с исчезновением перифрастического спряжения, но также и, может быть, главным образом, с потребностью системы найти форму индикатива для выражения значения, которое раньше передавалось конъюнктивом. Поэтому грамматизация *cantare habebam* отвечает не только формальным, но и структурным «запросам» системы и может рассматриваться как явление самостоятельное; мнение о производстве этой конструкции от *cantare habeo* оправдано лишь с точки зрения морфологии вспомогательного глагола.

---

[32] J. P e r r o t, указ. соч., стр. 145.

[33] P. I m b s, указ. соч., стр. 186; A. K l u m, указ. соч., стр. 62.

[34] W. v o n W a r t b u r g, указ. соч., стр. 39; R.-L. W a g n e r, указ. соч., стр. 79 и сл.

Наконец, в-четвертых, нелишне отметить, что предложенное построение отличается целостностью и в плане выражения: родство флексий плюсквамперфекта и имперфекта в исходной системе I не нарушается и после «подключения» к ним *cantare habebam*. Это обстоятельство, видимо, было решающим при выборе именно данной конструкции предпочтительно перед перифразой *cantare habui*, которая бытовала в народной латыни на равных, надо полагать, основаниях с *cantare habebam* [35].

Итак, система позднелатинского индикатива, описываемая в терминах предшествования и следования, может быть построена следующим образом по отношению к моментам:

а) речи — б) будущего

$$\frac{\text{perfectum}}{\textit{cantare habeo}}/\text{praesens}; \qquad \text{futurum II}/\textit{cantare habeo};$$

в) прошедшего

$$\frac{\text{plusquamperfectum}}{\textit{cantare habebam}}/\text{imperfectum}.$$

Разумеется, представленные здесь перифрастические формы на деле суть лишь комбинаторные (и, видимо, не столь частые) варианты синтетического будущего и имперфекта конъюнктива соответственно; устранение этих последних оправдано лишь методологически, с целью подчеркнуть романские свойства системы. Оборот *cantatum habeo*, также не представленный в системе, можно было бы вписать в одну «клетку» с перфектом; однако установить точную дату превращения его из настоящего времени, связанного с прошедшим, в прошедшее время, связанное с настоящим, трудно [36].

Естественно, что реорганизация структуры плана содержания, имевшая место при переходе к народной латыни, т. е. превращение перфективного настоящего в показатель прошедшести (вместо законченности к моменту речи), а имперфекта — в показатель одновременности с моментом прошлого (вместо предшествования к моменту речи) не могла не сказаться на речевой характеристике обеих этих форм. Это подтверждается на наш взгляд, следующими фактами из старофранцузского языка.

Известно, что в раннем старофранцузском простое прошедшее могло выполнять функцию имперфекта [37]. Это объясняется тем, что после разрушения противопоставления между инфектными и перфектными основами обе формы стали выражать прошедшее действие без его видовой характеристики; совпадение их функций представляется как результат устранения лишнего звена (имперфекта) и совмещения значений обеих этих форм [38]. Однако факт выбора именно перфекта для выражения значения и имперфекта остается при этом неясным: в условиях функционального сближения этих времен в поздней латыни и сохранения обеих форм во французском языке, за каждой из них нужно, видимо, признать равные возможности выражать значение другой формы. Думается, что изложенные выше изменения в организации временной системы индикатива позволяют дать

---

[35] Э. Бурсье, указ. соч., §§ 254 в., 257 б.

[36] Э. Бурсье, указ. соч., § 126 б.

[37] F. Brunot, Ch. Bruneau, Précis de grammaire historique de la langue française, Paris, 1956, стр. 376.

[38] Л. М. Скрелина, Из истории французской глагольной системы (Принцип экономии в морфологических изменениях), ФН, 1968, 1, стр. 29.

несколько иной ответ на вопрос о том, почему именно перфект принял на себя функцию имперфекта: после того, как последний перестает выражать предшествование к моменту речи (системы I, II) и переходит к выражению одновременности с моментом прошлого (система V), перфект остается единственной формой, выражающей предшествование в системе (III) времен, соотнесенных с моментом речи, и в этом качестве обозначает не только законченное действие (функция собственно перфекта), но и незаконченное (функция имперфекта), что и послужило основой расширения смысловой структуры французского простого прошедшего.

С другой стороны, чрезвычайно редкое употребление имперфекта в раннем старофранцузском [39] не может не быть сопоставлено со столь же редким употреблением будущего в прошедшем [40]. Учитывая, что будущее простое в тот же период употребляется без каких-либо ограничений, можно предположить, что различия в частотности двух генетически сходных форм связаны не только с некоторым отставанием в становлении временного значения в *cantare habebam* по сравнению с *cantare habeo*, но также, видимо, и с новизной структурной связи «будущее в прошедшем ↔ имперфект» в рамках системы V.

Нетрудно заметить, что приведенная выше структура позднелатинского индикатива перешла целиком и во французский язык. Как и в латыни, все времена индикатива в современном языке могут быть описаны в терминах предшествования и следования по отношению к моментам речи, будущего и прошедшего. Имевшие место при переходе к французскому языку изменения: замена латинских форм новыми (аналитическое предпрошедшее вместо латинского синтетического плюсквамперфекта; будущее предшествующее вместо футурума II), появление новых, неизвестных латыни форм (непосредственное предпрошедшее), уточнение значения некоторых унаследованных времен (ср. эволюцию простого прошедшего и имперфекта) реализуются в рамках тех временных отношений, которые сложились в поздней латыни.

Среди собственно французских (романских) инноваций в индикативе можно отметить лишь две: это появление оппозиции простое/сложное будущее в прошедшем и «подключение» к перфекту как носителю семы прошедшести сложного прошедшего. В романских языках это последнее стало основным средством выражения значения предшествования к моменту речи. Но было бы, очевидно, неоправданным утверждение о том, что простое прошедшее не выражает значения предшествования: отсутствие связи с моментом речи, характерное для этой формы в современном французском языке, есть, видимо, факт нормы; подтверждением тому может служить параллельное использование обеих форм на письме [41], а также употребление простого прошедшего в речи южной Франции [42]. С точки зрения структуры языка, обе формы могут рассматриваться как комбинаторные варианты, в которых реализуется одно и то же значение прошедшести и, значит, предшествования к моменту речи [43].

---

[39] F. Brunot, Ch. Bruneau, указ. соч., стр. 376.

[40] Первое зарегистрированное употребление этой формы относится к 980 г. (там же, стр. 378).

[41] M. Cohen, Nouveaux regards sur la langue française, Paris, 1963, стр. 30—32.

[42] J. Damourette, E. Pichon, Des mots à la pensée, Essai de grammaire de la langue française, V, Paris, 1911—1933, § 1704; F. Brunot, Ch. Bruneau, указ. соч., стр. 381; А. Доза, История французского языка, М., 1956, стр. 239.

[43] Ю. С. Степанов, Структура французского языка, М., 1965, стр. 82—83. Ср. способ описания сложного и простого прошедшего при помощи сем «контактность с моментом речи» и «дистантность с моментом речи» (Л. И. Лухт, указ. соч., стр. 311).

Сказанное позволяет сделать вывод о структурном тождестве позднелатинской и французской системы индикатива в целом. Последняя может быть представлена следующим образом (в тех же терминах предшествования и следования) относительно моментов:

а) речи	б) будущего
passé simple passé composé futur simple /présent;	futur antérieur/futur simple;
в) прошедшего	**г) будущего в прошедшем**
plusqueparfait passé antérieur futur dans le passé /imparfait;	futur antérieur dans le passé / futur dans le passé.

В высшей степени примечателен тот факт, что, несмотря на глубокие изменения в системе форм, романские языки в обязательном порядке сохраняют все те времена позднелатинского индикатива, которые необходимы для обозначения понятий предшествования и следования по отношению к моментам речи, будущего и прошедшего, и обнаруживают в этом плане удивительную цельность. Так, во всех без исключения языках имеются формы настоящего времени, имперфекта, одного из прошедших, обоих будущих и обоих будущих в прошедшем. Формы сложного прошедшего в большинстве языков дублируются простым прошедшим; отсутствие последнего в сардинском и ретороманском не влияет на полноту реализации системы, соотнесенной с моментом речи. При всем многообразии способов выражения значения предшествования к моменту прошлого (двумя формами — непосредственно предпрошедшим и предпрошедшим сложным — во французском, провансальском, итальянском, испанском и каталанском; двумя же формами — предпрошедшим сложным и предпрошедшим простым — в португальском; одной лишь формой — предпрошедшим простым — в румынском или предпрошедшим сложным — в сардинском и ретороманском) структурное отношение «предшествование/непредшествование» остается неизменным. Это не может не расцениваться как проявление высокой степени структурной общности романской системы индикатива.

Подведем некоторые итоги. Качественная эволюция временной системы индикатива при переходе от классической к народной латыни заключается прежде всего в становлении новых структурных отношений между отдельными элементами системы. Основным звеном изменений в латыни было переосмысление значений перфекта и имперфекта и появление в связи с этим структурно новой формы будущего в прошедшем. Последующие изменения, имевшие место на «участке» от народной латыни к французскому языку, касаются (за исключением оппозиции двух будущих в прошедшем) уточнения значения отдельных форм или создания новых, но в рамках позднелатинской структуры.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 1 1975

Н. А. БАСКАКОВ

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ФОРМ ПОВЕЛИТЕЛЬНО-ЖЕЛАТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ В ТЮРКСКИХ ЯЗЫКАХ

К категории повелительно-желательного наклонения условно отнесены личные формы 1, 2 и 3-го лица ед. и мн. числа, выражающие пожелание для 1 и 3-го лица и повеление для 2-го лица, хотя некоторые тюркологи и отрицают правомерность объединения этих форм в единую парадигму спряжения глагола в так называемом повелительно-желательном наклонении.

В задачу статьи входит учет всех показателей этих форм — как самостоятельных морфем, так и их фонетических вариантов; анализ состава и структуры сложных аффиксов 1, 2 и 3-го лица ед. и мн. числа повелительно-желательного наклонения, установление наиболее архаичных их типов и процессов фонетического развития их фонетических вариантов, происхождение каждой формы и их отношение к соответствующим формам других алтайских языков, т. е. сравнительно-исторический анализ названных форм в тюркских языках, а в некоторых случаях — и во всех алтайских языках.

Проблемой генезиса форм повелительно-желательного наклонения занимались многие тюркологи и алтаисты [1], но специального исследования, объединяющего все возможные типы и фонетические варианты этих форм, до сего времени не было, хотя и высказывались неоднократно гипотезы о их происхождении.

Современное состояние изучения отдельных языков и наличие обобщающих исследований [2] позволяют с большей полнотой привлечь конкретные данные по языкам и диалектам и более полно осветить все многообразие изучаемых форм.

1-е лицо. Формы 1-го лица единственного числа. Наиболее полными в фонетическом отношении являются следующие формы 1-го лица ед. числа повелительно-желательного наклонения: ст.-узб. *-aj-myn* [3]; хорезм.-тюрк. *-γaj-ym*, *-γaj-yn*; турецк. *-aj-ym*; туркм. *-a : j-yn*.

Уже эти формы позволяют установить, что их прототипом и наиболее архаичным вариантом была форма **-γaj-myn*, которая полностью в данной парадигме не встречается ни в одном из современных тюркских языков и ни в одном из памятников древнетюркской письменности, но является

---

[1] См. последнее по времени исследование, посвященное рассматриваемой проблеме, в котором дана также основная библиография: Г. Ф. Благова, Строение форм желательного наклонения в тюркских языках и тенденция к сверхнормальному их усложнению, «Советская тюркология», 1973, 1.

[2] «Языки народов СССР», II — Тюркские языки, М., 1966; «Philologiae Turcicae fundamenta», I, Wiesbaden, 1959; Н. Ф. Катанов, Опыт исследования урянхайского языка, СПб., 1903.

[3] Здесь и ниже за основное фонетическое оформление аффиксов берется вариант для основ с задними негубными гласными и конечными задними согласными.

обычной для многих как древних, так и современных тюркских языков в парадигме желательного наклонения, в основе которого лежит причастие на *-γa*.

Следует отметить, что фонетически полные варианты данного форманта *-γaj-ym*, *-γaj-yn*, *-aj-ym*, *-a : j-yn* представляют собой довольно редкие случаи как для старых тюркоязычных памятников, так и для современных тюркских языков; наиболее характерными для повелительно-желательного наклонения 1-го лица ед. числа в современных языках являются фонетически редуцированные форманты. Фонетическое их развитие и постепенное фонетическое стирание (редукция) идет в четырех основных направлениях.

Все фонетические варианты формантов 1-го лица ед. числа можно разделить прежде всего по характеру редукции местоименного окончания на две группы: *-ym-* варианты и *-yn-* варианты, т. е. на типы 1) *-γaj-ym* ~ *-aj-ym* > *-aj-ym*/*-yj-ym* и т. д. и 2) *-γaj-yn* ~ *-a : j-yn* > *-aj-yn*//*-yj-yn* и т. д. По характеру оформления аффикса *-(γ)aj* широкими или узкими гласными внутри намеченных типов можно произвести деление еще на два подтипа: а) *-aj-ym*, *-aj-yn* и т. д. и б) *-yj-ym*, *-yi-yn* и т. д.

Обратимся сначала к вариантам первого типа, т. е. с местоименным окончанием *-ym* и с широким гласным в аффиксе:

-aj-ym ~ *-aj-m* — ног., башк., кумык., караим., кр.- татар., к.- балк., турецк., ст.-осм. (*-aj-um*), ст.- узб., хорезм.-тюрк.;

-aj — чул.-тюрк., шор., н.- уйг., узб., казах.;

-a : m — кр.-татар.;

-am — чуваш., кр.- татар.

Варианты первого же типа, но с узким гласным в аффиксе:

-yj-ym ~ *-yj-m* — кр.- татар., кумык., гаг., мамелюкск.- кыпч.;

-y : m — якут., хакас., чул.-тюрк., шор.;

-ym — азерб., гаг.

Варианты второго типа, т. е. с местоименным окончанием *-yn* и широким гласным в аффиксе:

-aj-yn ~ *-aj-n* — тув., тоф., хакас., чул.- тюрк., шор., алт., узб., кирг., к.-калп., казах., к.-балк., турецк., туркм. (*-a : j-yn*), ст.-осм., ст.-узб., хорезм.-тюрк., караханид.-тюрк., кумыкск., др.-тюрк.;

-a : n ~ *-an* — тоф.

Вариант второго типа, но с узким гласным в аффиксе:

-yj-yn ~ *-yj-n* — тув., тоф.;

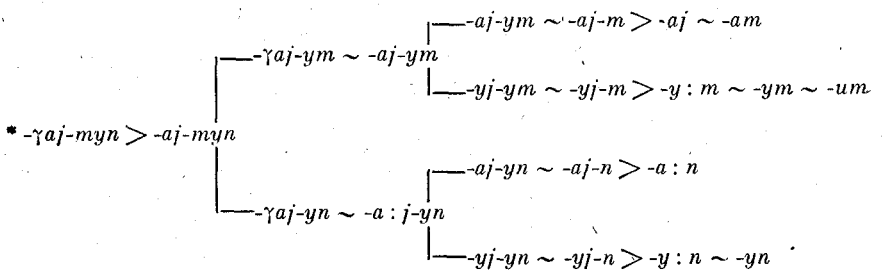
-yn — сарыг-юг.

Сложный аффикс **-γaj-man* ~ *myn* — этимон или архетип данного форманта — в процессе фонетического развития дал серию различных фонетических вариантов, с одной стороны, с сохранением полного местоименного аффикса — *-aj-myn* (но с утратой начального *γ* в первом элементе *-γaj*), а с другой — с сокращением личных показателей в различных типах, т. е. с редукцией либо начального *m*, либо конечного *n* (но с полным сохранением фонетического облика первого элемента, т. е. *—γaj-ym* или *-γaj-yn*). В дальнейшем фонетическое развитие этого сложного форманта пошло по линии, с одной стороны, сохранения широкого вокализма архетипа (т. е. образования вариантов типа *-aj-ym*, *-aj-m*, *-aj*, *-am*, либо *-aj-yn*, *-ajn*, *-a : n*), а с другой стороны, по линии сужения вокализма (т. е. образования вариантов типа *-yj-ym*, *-yj-m*, *-y : m*, *-ym* и *-yj-yn*, *-yj-n*, *-y : n*, *-yn*).

Из общего обзора фонетического развития форманта 1-го лица ед. числа повелительно-желательного наклонения, равно как и всех типов этого форманта в реальном множестве его фонетических вариантов, можно сделать следующие выводы. Во-первых, формант этот является единым и общим для всех языков и состоит из двух элементов: а) аффикса прича-

стия желательного наклонения *-γaj* в различных степенях его фонетической редукции и б) аффикса лица, восходящего к форме личного местоимения *-man ~ -myn*, также в различных степенях редукции. Во-вторых, фонетическое развитие аффикса причастия *-γaj* в форме 1-го лица ед. числа повелительно-желательного наклонения характеризуется в первой степени редукции исчезновением начального согласного *γ* и в последующей — исчезновением конечного *j*. В-третьих, редукция местоименного окончания в данном аффиксе проявляется неодинаково и характеризуется стиранием либо начального согласного *m*, либо конечного *n*.

Итак, фонетическое развитие данного форманта может быть представлено следующей схемой:



Формы 1-го лица множественного числа. Фонетически наиболее полными вариантами данного форманта являются:

-aj-lyq — узб., н.- уйг., алт.;

-aj-yq — азерб., турецк. (диалектн.), ст.-осм.;

-aj-ly — н.- уйг., алт.;

-γa-lyŋ — хорезм.-тюрк.

Фонетический состав этих вариантов позволяет реконструировать полную форму этого сложного аффикса в виде * *-γaj-lyq*, состоящего из двух элементов: а) аффикса причастия желательного наклонения *-γaj* и аффикса *-lyq*, выражающего коллективное мн. число. Эта полная форма в процессе фонетического развития дала множество вариантов по конкретным тюркским языкам.

Все варианты данного форманта по своим результатам фонетического преобразования могут быть классифицированы на четыре основных типа. Первый тип вариантов характеризуется постепенной редукцией первого элемента сложного аффикса *-γaj-lyq* сначала исчезновением начального *γ*, затем конечного *j* и, наконец, полной его редукцией, но с сохранением второго элемента *-lyq*, выражающего идею мн. числа. К вариантам этого типа относятся:

-aj-lyq — алт., н.-уйг., узб. (диалектн.);

-a-lyq — туркм., кирг., казах., алт., хакас., чул.- тюрк., шор.;

-a-lux — анат.-турецк. (диалектн.);

-lyq — ст.-кыпч. (куманск).

Второй тип вариантов характеризуется теми же особенностями развития первого элемента, но уже с большей степенью редукции второго элемента *-lyq*, а именно сначала переходом конечного *q* в сонорный *ŋ* или *n*, а затем и исчезновением начального *l*:

-γa-lyŋ — хорезм.- тюрк.;

-a-lyŋ-(n)ar/-y: -lyŋ-(n)ar — тув., тоф.;

-a-lyŋ — хорезм.- тюрк., ст.- узб., туркм.;

-a-lyŋ/-aj-nyŋ/-aj-ny/-a-ny/-y-ny — н.- уйг.;

-y-n-a — сарыг-юг.;

-a : -ŋ — гаг., алт.;

-a : *ṇ* + (*-n*)*ar*/*-a-ṇ* + -(*n*)*ar* ~ *-y-ṇ* + -(*nar*) — хакас., чул.- тюрк., шор., алт.;

-a +-*r* — чуваш.

Третий тип вариантов характеризуется наличием рудиментов первого элемента *-γaj* в виде *-aj* или *-a* : ~ *-a* и рудиментов второго элемента *-ly* или *-l*, а для некоторых форм также включением третьего элемента в виде либо аффикса мн. числа *-lar*, либо аффикса лица *-m*, *-myz*, либо побудительной частицы *-yš* ~ *-ys*:

-aj-ly (/ + *-lar*) — алт., н.-уйг.;

- *aj-lu* + *-m* (т. е. тот же аффикс, но с прибавлением личного окончания *-m*) — анат.- турецк. (диалектн.);

-a : *-ly* — тув., тоф.;

-a-ly — тув., тоф., алт., н.-уйг., кирг., туркм., ст.- узб., ст.-кыпч.;

-a-ly + *-wys* — (тот же аффикс, но с прибавлением полного аффикса 1-го лица мн. числа) — лобн.;

-a-ly + *-m* (т. е. тот же аффикс, что и в предыдущем варианте, но с прибавлением редуцированного личного окончания *-myz* > *-m*) — в др.-тюрк., ст.- кыпч., караханид.-тюрк., хорезм.- тюрк., ст.-осм. (*-a-lu* + + *-m*); турецк., гаг., хакас.;

-a-ly + *-š*/*-s* (тот же аффикс с присоединением побудительной частицы *čy* ~ *šy* ~ *sy* ~ *š* ~ *s*) — хакас., чул., шор. диалектах;

-y : *-ly* — тув.;

-y : - *lyṇ* + (*n*)*ar* — тув.;

-y-ly — тув. (диалектн.);

-a : *-l* — тув., тоф., чул.- тюрк., шор., хак., гаг.;

-a : *-l* + *-dar* — алт.;

-a-l — тув., тоф., чул.- тюрк., шор., хакас.

Четвертый, последний тип вариантов аффикса 1-го лица мн. числа повелительно-желательного наклонения характеризуется наличием рудиментов первого элемента *-γaj* в виде *-aj* ~ *-a* и рудиментов второго элемента *-lyq* в виде *-yq* ~ *-yx* ~ *-yax* ~*-uox* ~ *-q* ~ *-ġ*, а для некоторых форм также включением третьего элемента—либо аффикса мн. числа *-lar*~ ~ *-tar*, либо побудительной частицы *-čy*:

-aj-yq — узб., ног., к.- калп., казах., башк., кумык., караим. (*/-aj-yx*), кр.-татар., к.-балк. (*/-aj-uq*);

-aj-yq + *čy* — кумык.;

-yj-(*y*)*q* — татар., башк.;

-ya-x/*-ya-x* + *yṇ*/*-yt-yax* — якут.;

-a : *-ġ*/*-a-ġ* — азерб.;

-a : *-q* - чул.- тюрк., алт., хакас., шор.;

-a : *-q* + *-tar* — алт.;

-a-q — турецк., хакас., шор., чул.-тюрк.;

-a-q + *-tar* — хакас., чул.-тюрк.

Из обзора всех вариантов фонетического оформления сложного аффикса 1-го лица мн. числа повелительно-желательного наклонения можно сделать следующие выводы. Во-первых, формант этот является общим по своему происхождению для всех тюркских языков и состоит из двух основных элементов: а) первого — аффикса причастия на *-γaj*/*-gej*, общего и для 1-го лица ед. числа, в различных степенях его фонетической редукции и б) второго — аффикса коллективного множества *-lyq*/*-lik* и дополнительных и факультативных - либо аффикса мн. числа *-lar*/*-ler* (в различном по языкам фонетическом оформлении), либо личного аффикса 1-го лица мн. числа *-myz*/*-miz* (также в различном фонетическом оформлении), либо усилительной частицы *-čy* ~ *-šy* ~ *-sy* > *-š* ~ *-s*. Во-вторых, фонетическое развитие этого сложного аффикса в отношении первого элемента

-γaj/-gej, как и для того же элемента аффикса 1-го лица ед. числа, происходило в направлении редукции либо начального *-γ/-g*, либо конечного *-j*; эволюция второго, основного элемента *-lyq/-lik* также совершалась в направлении стирания либо первого начального согласного аффикса *-l*, либо конечного согласного *-q/-k*. В-третьих, по характеру фонетического развития основных элементов форманта *-γaj* и *-lyq* и факультативных дополнительных элементов сложного аффикса, образующего формант 1-го лица мн. числа повелительно-желательного наклонения, можно выделить четыре основных типа редукции его фонетического состава.

1. Процесс развития форм первого типа характеризуется сохранением в большей степени второго элемента *-lyq* и постепенной редукцией первого элемента *-γaj*.

2. Процессу развития форм второго типа свойственно сохранение в большей степени элемента *-γaj* и редукция элемента *-lyq*.

3. Для процесса развития третьего типа характерно наличие рудиментов элемента *-γaj* в виде *-aj* или *-a* и рудиментов элемента *-lyq* в виде *-ly* или *-l*.

4. Процесс развития четвертого типа характеризуется наличием рудиментов элемента *-γaj* в виде *-aj* или *-a* и элемента *-lyq* в редуцированном виде — *-q* или *-x*.

Все фонетические варианты данного форманта могут быть представлены следующим образом:

*-γaj-lyq >
1. -aj-lyq > -a-lyq ~ -a-lux > -(y)-lyq
2. -γa-lyŋ > a : -lyŋ + -(n)ar ~ -y : -lyŋ + -(n)ar > -a-lyŋ > -a-lyn ~ -aj-nyŋ ~ -j-ny ~ -a-ny ~ -y-ny > -y-n + a > -a : -ŋ > -y-ŋ > -a : -ŋ + + -(n)ar ~ -a-ŋ + -(n)ar > -a : + r > -a + r
3. -aj-ly(/+-lar) ~ -aj-lu + m > -a : -ly > -a-ly ~ -a-ly + -wys ~ -a-ly + + -m ~ -a-ly + -š/-s > -y : -ly ~ -y : -lyŋ + -(n)ar > -y-ly > -a : -l ~ ~ -a : -l + -dar > -a-l
4. -aj-yq ~ aj-yx ~ -aj-uq > -ya-x ~ -ya-x + yŋ ~ -ym-ya-x > -a-ġ ~ ~ -a-q > -a : -q ~ a : -q + tar > -a-q + tar*

И так, сложные форманты 1-го лица ед. и мн. числа повелительно-желательного наклонения в тюркских языках имеют исторически общим элементом аффикс *-γaj/-gej*. В ед. числе варьирование по языкам достигается только фонетическими различиями показателя 1-го лица ед. числа. Во мн. числе *-γaj* сочетается не только с соответствующим личным аффиксом 1-го лица мн. числа (который является по существу факультативным), но и с общим для всех тюркских языков вторым элементом — аффиксом коллективного множества *-lyq/-lik*. Именно к последнему и присоединяются факультативные для конкретных языков дополнительные элементы сложного форманта — либо аффикс 1-го лица мн. числа *-myz/-miz*, либо аффикс мн. числа *-lar/-ler* — оба в различном по языкам фонетическом облике.

Аффикс *-γaj/-gej* лежит в основе различных глагольных форм, имеющих значение настояще-будущего времени или передающих оттенки пожелания. Так, в некоторых современных тюркских языках этот аффикс, выступая в нередуцированном виде, служит основой желательного наклонения, которое имеет полную парадигму спряжения. Например, в алтайском языке:

	Ед. число	Мн. число
1-е лицо	*al-γaj-ym* «пожалуй/пусть я возьму»	*al-γaj-ybys/al-γaj-lyq*
2-е лицо	*al-γaj-yŋ/al-γaj-zyŋ*	*al-γaj-yγar/al-γaj-zyγar*
3-е лицо	*al-γaj*	*al-γaj-lar*

Этот же аффикс служит основой для 1-го лица ед. и мн. числа повелительно-желательного наклонения, но уже в фонетически несколько измененном виде.

Г. Рамстедт допускает также, что фонетически редуцированный аффикс *-γaj/-gej* лежит в основе причастия на *-aǯaq* ~ *-ajaq* < *-γaj* + *aq* и в основе деепричастия на *-γaly* < *-γaj* + *ly* [4], семантика которых подтверждает это предположение.

Весьма вероятна гипотеза о происхождении от той же формы на *-γaj/-gej* деепричастия на *-a/-e/-j*, общего для всех тюркских языков [5] (хотя Г. Рамстедт и не сближает эти формы). Это деепричастие имеет в тюркских языках следующие фонетические варианты *-a/-e/-j* ~ *-ja/-je/-ju/-jü* ~ ~ *-γa/-ge*. В монгольских языках им соответствуют два ряда показателей: *-a/-e* ~ *-aj/-ej* и *-ga/-ge* ~ *-ga: /-ge:* (дано в орфографии современного монгольского письменного языка), причем в последнем ряду согласный *g*, по мнению Г. Рамстедта, «не имеет здесь никакого историко-фонетического значения, потому что он возник между гласными как заполнитель зияния» [6].

Однако наличие того же варианта *-γa/-ge* в некоторых тюркских языках [7] в составе деепричастия настояще-будущего времени, как и близость значений этого деепричастия и причастия будущего времени на *-γaj/-gej* к оттенкам пожелания, допускают предположение об общем происхождении этих форм, что в значительной мере подтверждает во многих тюркских языках семантика настояще-будущего времени, образующегося из деепричастия основного глагола на *-a/-e/-j* и вспомогательного глагола *tur-* (т. е. форм типа *al-a-man* < *al-a-tur-ur-man* <**al-γaj tur-ur-man* «я обычно беру; я возьму»).

Итак, формы 1-го лица ед. и мн. числа повелительно-желательного наклонения своим основным формантом имеют общий аффикс *-γaj/-gej*, который в ед. числе усложняется личным аффиксом 1-го лица, а во мн. числе — аффиксом коллективного множества *-lyq/-lik* и окончанием мн. числа *-lar/-ler*, которые не являются общими для всех тюркских языков и встречаются в данной повелительно-желательной форме только в отдельных языках.

В некоторых тюркских языках, например лобнорском, в состав сложного форманта повелительно-желательного налонения 1-го лица мн. числа может входить также соответствующий личный аффикс *-wys/-wis* < < *-myz/-miz* < *-byz/-biz*.

В других языках, например, в чулымско-тюркском и некоторых диалектах хакасского и шорского, к обычной форме повелительно-желательного наклонения 1-го лица мн. числа присоединяется частица побуждения *-čy/-šy/-sy* > *-š/-s*, в результате чего получается сложный аффикс *-a-ly* + + *š/s* < *-γaj-lyq* + *šy/sy*, например, хакас. *par-a-ly* + *s* «пойдемте-ка».

Однако в большинстве тюркских языков собственно повелительно-желательные формы 1-го лица в ед. числе имеют сложный показатель, состоящий из аффикса причастия на *-γaj/-gej* и личного аффикса 1-го лица ед. числа, а во мн. числе — сложный показатель, состоящий из того же причастного аффикса на *-γaj/-gej* и аффикса коллективного множества *-lyq/-lik* в различной степени фонетического развития. Таков состав и происхождение форм 1-го лица ед. и мн. числа повелительно-желательного наклонения в тюркских языках.

2-е лицо. Формы 2-го лица единственного числа. Если формы 1-го лица ед. и мн. числа имели для всех тюркских языков единую по происхождению основу **-γaj* и отличались только различными личными показателями — **-man* для ед. и *lyq*(/+ *-lar* ~ *-myz*) для мн. числа, то формы 2-го лица ед. и мн. числа имеют генетически различные

[4] Г. И. Рамстедт, Введение в алтайское языкознание, М., 1957, стр. 88.
[5] См.: Н. А. Баскаков, Каракалпакский язык, II, М., 1952, стр. 446—448.
[6] Г. И. Рамстедт, указ. соч., стр. 109.
[7] См.: T. Kowalski, Karaimische Texte im Dialekt von Troki, Kraków, 1929.

основы не только для различных тюркских языков, но и внутри одного конкретного языка.

К формам 2-го лица ед. числа повелительно-желательного наклонения относится прежде всего наиболее продуктивная и общая для всех тюркских языков так называемая нулевая форма, совпадающая с основой глагола (*V*); например, *al* «возьми!».

Нулевая форма иногда усложняется побудительными частицами: *V* + *čy/či* — кирг., к.- балк., кумык.; *V* + *šy/ši* ~ *yš/iš* — ног., к.- калп., казах.; *V* + *sy/si* — башк. (т. е. с учетом различных фонетических вариантов побудительной частицы модель такова: *V* + *čy/či* ~ *šy/ši* ~ *sy/si/yš/iš* ~ *ys/is*); например, кирг. *al* + *čy*!, казах. *al* + *šy*!, ног. *al* + *yš*!, башк. *al* + *sy* «возьми же!».

Нулевая, безаффиксальная форма, употребляющаяся как простейшее повеление, является как бы естественной формой краткого повеления или приказания и встречается не только в тюркских, но во многих языках.

Второй (по частоте) встречающейся в тюркских языках формой 2-го лица ед. числа повелительно-желательного наклонения является форма на **-γaj* + *syn*, т. е. с общим также для 1-го лица ед. и мн. числа показателем *-γaj*, претерпевшим значительную фонетическую редукцию.

Наиболее фонетически полный вариант этой формы представлен в языке караханидских памятников: *-a* + *n* [<-(γ)a(j) (*sy*)-*n*]. В большинстве же языков формант *-γaj* полностью исчез, и все фонетические варианты формы данного типа состоят из основы глагола и сокращенного аффикса лица:

-y + *n* — др.- тюрк., якут. (общий с формой 2-го лица мн. числа), кирг., караханид.- тюрк., хорезм.-тюрк., ст.- узб., н.- уйг., узб., турецк. (диалектн.), туркм., азерб. (диалектн.), ст.- кыпч., кр.-татар., казах., к.-калп., ног.;

-yn — турецк., азерб., гаг., мамелюк.- кыпч., караим.;

-y/-u — ст.-узб.;

-a — караханид.-тюрк.

Все эти формы и формы 2-го лица мн. числа слабо дифференцированы между собой, хотя в большинстве языков последние отличаются дополнительным аффиксом множественности.

Третьим типом формы 2-го лица ед. числа повелительно-желательного наклонения является форма, общая с формой условного наклонения на *-sa/-se* в различных фонетических вариантах с усеченным аффиксом 2-го лица. Исторически полным фонетическим вариантом сложного аффикса, образующего эту форму, общую с формой 2-го лица условного наклонения, был **-yγ* + *-sa* + *-r* + *- syn*, который в процессе фонетического развития редуцировался: **-yγ* + *-sa* + *-r* + *-syn* > *-(yγ)* + *-sa* (*r*) + (*-sy*)*n* > *-sa* + *n*. В том же фонетическом виде *-sa* + *n* этот аффикс служит для выражения 2-го лица ед. числа повелительного наклонения и в конкретных языках встречается в следующих вариантах:

-sa + *-n* — н.- уйг., кумык.;

-sa + *-n/-za* + *-n* — хакас., чул.-тюрк., шор., алт.;

-sa + *-n* + *a* — н.-уйг., турецк. (диалектн.), к.-балк., туркм. (*sa* + + *n* + *a*) (т. е. та же форма, но с побудительной частицей поощрения *a*);

-sa + *n* + *a* — турецк., кумык. (тот же вариант с замещением *n* > *n*);

-sa + *n* + *ču* — н.-уйг. (тот же вариант с побудительной частицей *ču*);

-sa + *n* + *šy/-sa* + *j* + *šy* — казах.

Кроме указанных выше аффиксов, в тюркских языках используются также следующие аффиксы для образования форм 2-го лица ед. числа повелительно-желательного наклонения:

-γyl ~ -qyl ~ -xyl — н.-уйг., ст.-осм., ст.-узб., хорезм.-тюрк. (*/-γul*), караханид.-тюрк., ст.-кыпч., др.-тюрк., казах., узб., татар., хакас.;

-γyn ~ -qyn ~ -xyn — ст.-узб., мамелюк.-кыпч., туркм., н.-уйг., узб., кирг., алт., караханид.-тюрк. (*/-qun*), кумык., к.-калп., казах., татар., к.- балк. (*/-xyn*);

-γyn + a ~ -qyn + a — н.-уйг.;

-γyr ~ -qyr — н.- уйг., узб., кумык.;

-a : r — якут. (для повеления в будущем времени).

Формы на *-γyl*, *-γyn*, *-γyr~ -a:r*, как правило, употребляются без аффиксов лица и представляют собой причастные по своему происхождению спрягаемые глагольные формы. В некоторых языках эти формы сохранились только в поэтическом стиле и в архаичных выражениях, например, в формулах проклятия (аффикс *-γyr/-qyr*), в других языках (главным образом в древних) формы на *-γyr*, *-γyn*, *-γyl* были живыми и продуктивными.

Из обзора всех типов форм 2-го лица ед. числа повелительно-желательного наклонения можно сделать следующие выводы. Во-первых, данная форма, в отличие от формы 1-го лица ед. числа того же наклонения, представлена не одним общим типом, а шестью типами различного происхождения:

1) нулевой формой, т. е. основой глагола, которая является кратчайшим приказанием или повелением с двумя вариантами:

а) *V* без каких-либо дополнительных формантов; б) *V* + побудительная частица: *čy ~ šy ~ sy/yš ~ ys*;

2) формой на *-γaj* + усеченный аффикс 2-го лица в вариантах: а) *-a* + + *n̥* [<-(γ)a(j) + - (sy)n̥]; б) *-y* + *n̥* ~ *-y* + *n* [<-(γaj + s)yn̥]; в) *-y* ~ ~ *-u*[<-(γaj + s)y (n̥)]; г) *-a* [<-(γ) *a* (j) + (syn̥)];

3) формой на *-sa/-se*, общей с формой условного наклонения, + аффикс 2-го лица в вариантах: а) *-sa* + *n̥* ~ *-za* + *n̥* < [-(yγ) + *sa* + (*r*) + + (*sy*) *n̥*]; б) *-sa* + *n̥* + *a* ~ *-sa* + *n* + *a* < [(yγ) + *sa* + (*r*) + (*sy*)*n̥* — *a*!]; в) *-sa* + *n̥* (*/j*) + *ču* (*/čy/šy*) < [-(yγ) + *sa* + (*r*) + (*sy*) *n̥* + *čy*!];

4) формой на *-γyl ~ -qyl ~ -xyl*;

5) формой на *-γyn ~ -qyn ~ -xyn* с вариантом *-γyn + a ~ -qyn + a*;

6) формой на *-γyr ~ -qyr ~ -a : r*.

Не останавливаясь на вопросе о происхождении формы на *-sa/-se* [8], которая лежит в основе одной из современных продуктивных моделей повелительно-желательного наклонения глагола тюркских языков, перейдем к анализу трех архаичных форм 2-го лица ед. числа того же наклонения — на *-γyl*, *-γyn* и *-γyr ~ -a:r*.

Форма на *-γyl* является наиболее загадочной для тюркских языков, хотя, как отмечает Г. Рамстедт, она имеет, по-видимому, общее происхождение с тунгусской формой на *-kal/-kel* с тем же значением. Из существующих гипотез о ее происхождении следует отметить сближение этого аффикса с побудительной частицей со значением «же», «все же» и предположение о том, что этот аффикс произошел от вспомогательного глагола *qyl* «делать».

Из глагольных форм древних языков семантически наиболее близкой к форме на *-γyl* является форма на *-γuluq*, встречающаяся в языке древних уйгуров. Например: др.-уйг. *ol tutγuluq erdi* «он намеревался схватить», или *ol satγuluq turur* «он намеревается продать» [9]. Эта форма в современных языках сохранилась в виде причастия на *-γuluq*, ср. н.-уйг.

---

[8] О форме на *-sa/-se* см.: Н. А. Баскаков, К вопросу о происхождении условной формы на *-ca/-ce* в тюркских языках, сб. «Академику В. А. Гордлевскому к его 75-летию», М., 1953.

[9] «Diwān luġat at turk», II, Ankara, 1939—1941 (далее — МК II), стр. 297.

qilγuluq «предназначенный для дела», *jegülük* «предназначенный для еды»[10] и в виде деепричастия цели *-γyly* в новоуйгурском языке, например, *alγyly* «чтобы взять», *kelgili* «чтобы прийти» и т. д.

Современная повелительная форма 2-го лица на *-γyl* представляет собой, вероятнее всего, усеченную аналитическую спрягаемую форму причастия на *-γaly/-γyly*, происходящего в свою очередь от причастия на *-γaj* без личного постпозитивного форманта, т. е. (*sen*) *alγyl*[< *sen alγyl*(*y*)< *sen al-* + *-γaj-ly*] «ты, долженствующий взять» > «ты возьми».

Весьма вероятна и другая гипотеза происхождения формы на *-γyl*, которую можно предложить, опираясь на встречающуюся в некоторых тюркских языках (например, в киргизском и алтайском) форму 2-го лица мн. числа повелительного-желательного наклонения на *-γyla*, а именно рассматривать эту форму как состоящую из основы глагола и аффикса многократного вида *-γyla*, тем более, что формы 2-го лица мн. числа часто используются также и для того же лица ед. числа в тех случаях, когда придается оттенок вежливости. В ед. числе форма на *-γyla* может иметь фонетически усеченное оформление *-γyl*.

Форма на *-γyn* также может быть возведена к древнему причастию на *-γyn* ~ *-qyn*, которое в тюркских языках сохранилось либо только в застывших изолированных формах типа к.-калп. *qaš-qyn* «беглый», казах. *öt-kin* «пронзительный, острый» и др., либо в деепричастных формах типа н.- уйг. *kälgiнčä* «пока не придет», турецк. *görünže* «лишь только он увидел» [11].

В качестве повеления 2-го лица форма на *-γyn* представляет собой, по-видимому, аналитическую спрягаемую форму древнего причастия без постпозиционного личного форманта: (*sen*) *alγyn* «ты должен взять» > «ты возьми».

Другая гипотеза, которую можно привести в связи с употреблением во 2-м лице ед. числа простого повеления с побудительной частицей *-γyna* (ср. н.-уйг. *al-γyna* «уж возьми-ка ты, пожалуйста» [12]): образование усеченной формы *al-γyn*(*a*) из *al-γyna*, т. е. формы по аналогии с эволюцией *al-γyl*(*a*) < *al-γyla*.

Наконец, форма на *-γyr* ~ *-a:r*, встречающаяся главным образом в формулах проклятия, имеет своей основой древнюю причастную форму на *-γyr*, сохранившуюся только в застывших изолированных формах (например, к.-калп. *körin-gir* «все время попадающийся на глаза», *sez-γir* «чуткий», *al-γyr* «хваткий», *il-gir* «цепкий» [13]).

Форма повелительно-желательного наклонения на *-γyr* таким образом представляет собой форму спрягаемой основы на *-γyr* без постпозиционного показателя лица, т. е. по схеме *sen guru-γur* «ты пропащий» > «ты пропади».

По своему происхождению форма на *-γyr* безусловно связана с монгольской повелительно-желательной формой на *-γaraj* ~ *-a:raj* [14]. В тюркских языках эта форма имеет три основных фонетических варианта: *-γyr* (в большинстве языков), *-a* : *r* — в якутском для 2-го лица ед. числа повелительно-желательного наклонения будущего времени (мн. число *-a* : *ryŋ*) и *-a* : *r* в шорском для 2-го лица мн. числа повелительно-желательного наклонения. Форма на *-ăr* 2-го лица мн. числа того же наклонения в чувашском языке имеет, по-видимому, иное происхождение и соответствует, вероятнее всего, форме на *-ŋyz* ~ *-yz* других тюркских языков.

[10] Н. А. Баскаков, Очерк грамматики уйгурского языка, в кн.: «Уйгурско-русский словарь», М., 1939, стр. 222.

[11] Г. И. Рамстедт, указ. соч., стр. 137—138.

[12] Н. А. Баскаков, Очерк грамматики уйгурского языка, стр. 220.

[13] Н. А. Баскаков, Каракалпакский язык, II, стр. 339.

[14] В. Котвич, Исследование по алтайским языкам, М., 1962, стр. 219.

Таким образом, все формы 2-го лица ед. числа имеют своей основой либо причастные формы, либо формы, исторически относящиеся к причастным образованиям. Все типы и варианты формантов 2-го лица ед. числа повелительно-желательного наклонения в тюркских языках могут быть представлены следующей схемой:

I $\begin{cases} 1 & \sqrt{} \text{ во всех тюркских языках} \\ 2 & \sqrt{} + \check{c}y \sim \check{s}y \sim sy \,//\, -y\check{s} \sim -ys \end{cases}$

II *-γaj + syn̥[< -(γ) a (j) + -(sy)n̥] > -a + -n̥ ~-y + -n̥ ~-y + n ~ -y // -u ~ -a

III *-yγ-sar + syn̥ [<-(yγ)-sa(r) + -(sy)n̥] > -sa + n̥ ~ -sa + -n// -za + -n̥ ~ -sa + -n̥ + -a ~ -sa + -n + -a~ -sa + -n̥ + -čи ~ -sa + -n̥ + + -šy// -sı + j + šı

IV *-γu + -luq ~ -γy + -ly ~ -γa + -ly//-γu + -ly [<-γy + -l(y)// -γy + -la] > -γy + -l > -γyl

V *-γyn//-γy + -na [<-γyn//-γyn(a)] > -γy + -n > -γyn

VI *-γur ~ -γyr[// монг. -γaraj ~ -a:raj] > -γyr ~ -a:r

Форма 2-го лица множественного числа. В этих формах по существу повторяются аффиксы 2-го лица ед. числа и дополнительно присоединяется аффикс мн. числа. Кроме того, для 2-го лица мн. числа в некоторых тюркских языках (шорском и якутском) используется показатель -a:r, заимствованный из монгольских языков.

К формам 2-го лица мн. числа относятся, во-первых, формы простого повеления, усложненные аффиксом взаимно-совместного залога, выражающего в данном случае мн. число. Эти формы встречаются только в хакасском, чулымско-тюркском и шорском языках: чул.-тюрк. $\sqrt{}$ + -yš; шор., хакас. $\sqrt{}$ + -ys.

Наиболее продуктивной моделью формы 2-го лица мн. числа повелительно-желательного наклонения в тюркских языках является форма, генетически происходящая из $\sqrt{}$ + -γaj + -syn̥ с прибавлением аффикса мн. числа -lar или -yz в различной степени фонетической редукции по конкретным языкам.

1. С аффиксом мн. числа -lar:

-a : n̥ + -ar [<-(γ)a(j) + -(sy)n̥ + -(l>n)ar] — хакас., чул.-тюрк., шор.;

-a:+ lar [<-(γ)a(j)(+ -syn̥) + -lar]— хакас., чул.-тюрк., шор.;

-a:n̥[<-(γ)a(j) + -(sy)n̥(+ -lar)] — туркм.;

-yn̥ + lar (//-dar//-nar) [<-(γaj) + -s(yn̥) + -lar] — др.-тюрк., караханид.-тюрк., хорезм.-тюрк., ст.-узб., н.-уйг. (/-yn̥ + -lar + -a), узб., ст.-кыпч., к.-калп. (-yn̥-lar/-dar/-nar), казах. (-yn̥ + -dar);

-yn̥ + -ar [<-(γaj) + -(s)yn̥ + -(l>n)ar] — др.-тюрк., тув., тоф., хакас., чул.-тюрк., шор.;

-yγ + -ar [<-(γaj) + -(s)y(n̥>)γ + -(l)ar] — алт.;

-yn̥[<-(γaj) + -(s)yn̥ + -(lar)] — др.-тюрк., якут., кирг., караханид.-тюрк., хорезм.-тюрк., ст.-узб., узб., туркм., турецк. (/-yn), азерб. (/-yn), гаг. (-yn), казах., ног., к.-каш.;

-yn̥ + -čy [<-(γaj) + -(s)yn̥ + čy] — узб.;

2. С аффиксом мн. числа -yz:

-a + -syn̥ + -yz [<-(γ)a(j) + -syn̥ + -yz] — гаг.;

-j + -yn + -yz [<-(γa)j + -(s)yn + -yz] — турецк., гаг., азерб.;

-syn̥ + -yz [<-(γaj) + -syn̥ + -yz] — к.-балк.;

-yn̥ + -yz [<-(γaj) + -(s)yn̥ + -yz] — др.-тюрк., кирг., хорезм.-тюрк., ст.-узб., узб., ст.-осм., турецк., азерб., ст.-кыпч., мамелюкск.-кыпч. (-yn+

+ *-yz/-yng* + *-yz*), кр.-татар., караханид.-тюрк. (*-yj* + *-yz/-yn* + *-yz*), татар. (*-yŋ* + *-ys*), казах., к.-калп., ног.;

-yγ + *-yz*[<*-(γaj)* + *-(s)y(ŋ>)>γ* + *-yz*]— ст.-кыпч., кумык., к.-балк., татар. (*/-yγ* + *-ys*), башк. (*-yγ* + *-yẑ*);

-ăr – чуваш.

3. С двумя аффиксами мн. числа *-yz* и *-lar*:

-yŋ + *-yz* + *-lar* [<*-(γaj)* + *-(s)yŋ* + *-yz* + *-lar*] — узб., кирг. (*-yŋ* + + *-yz* + *-dar*).

Реже для формы 2-го лица мн. числа используется модель с включением аффикса, общего с условной формой *-sa/-se*, т. е. типа *V* + *-sɪ* + *-ŋ* + + *-lar* [<*-(yγ)* + *-sa*(+*r*) + *-(sy)ŋ* + *-lar*] — узб., н.-уйг., алт.; *-sa* + + *-ŋ* + *-lar* + *-a* [<*-(yγ)* + *-sa*(*r*) + *-(sy)ŋ* + *-lar* + *-a*] — узб., н.-уйг.; *-za* + *-γ* + *-ar*[<*-(yγ)* + *-sa*(+*r*) + *(-sy)*(*ŋ* >)*-γ* + *-(l)ar*] — алт.

В новоуйгурском языке встречается форма 2-го лица мн. числа на *-γyn* — *-γyn* + *-lar*.

Для киргизского и алтайского языков характерны также формы на *-γyla* ~ *-qyla* [<*-γyla*] — кирг., *-γyla* ~ *-qyla-/-γyla* + *γar* ~ *-qyla* + + *γar* < [*-γyla* + *(-sy)* + *-(ŋ>)γ* + *-(l)ar*] — алт., а для хакасского, чулымско-тюркского и шорского языков форма на *-a:l* + *-yŋ* + *-ar* [<*-(γy>) a:l* + *-(s)yŋ* + *-(l)ar*].

4. Наконец, последним типом форм 2-го лица мн. числа являются формы на *-a:ryŋ* [< *-(γy>) -a:r* + *-(s)yŋ* + *-(lar)*] — якут. (для 2-го лица мн. числа повелительно-желательного наклонения в будущем времени) и *-a:r* [<*-(γy>) -a:r*] — хакас., чул.-тюрк., шор.

Обзор всех форм 2-го лица ед. и мн. числа повелительно-желательного наклонения показывает идентичность происхождения основных формантов для мн. и ед. числа; практически эти формы различаются между собой только показателем мн. числа, входящего в состав форм мн. числа.

3-е лицо. Формы 3-го лица единственного и множественного числа. Общей формой 3-го лица ед. и мн. числа повелительно-желательного наклонения для всех тюркских языков является форма на *-syn* в различных фонетических вариациях. Мн. число этой формы в некоторых языках имеет дополнительный формант *-lar/-ler*. По конкретным языкам форма 3-го лица имеет следующие фонетические и морфологические варианты:

-zun(*-zunlar*) — др.-тюрк.;

-sun(*-sunlar* ~ *-sullar*) — ст.-осм., ст.-узб., н.-уйг., хорезм.-тюрк. (*/-su* ~ *-suny*), караханид.-тюрк. (*/-su* ~ *-suny*);

-syn ~ *-zyn* (*-synlar* ~ *-zynlar/-synnar* ~ *-zynnar*) — алт., хакас., шор., чул.-тюрк., тув., тоф.;

-syn (*-synlar* ~ *-synnar* ~ *-syllar*) — ног., к.-калп., кирг., татар., кр.-татар., кумык., караханид.-тюрк., ст.-кыпч., гаг., турецк., азерб., узб., кирг. (*/-syndar*), казах. (*/-syndar*), к.-балк. (*-synla* ~ *-sylla*);

-ŝyn(*-ŝynlar*) — туркм.;

-hyn(*-hyndar*) — башк.;

-tyn ~ *-dyn* ~ *-lyn* (*-tynnar*, *-dynnar*, *-lynnar*) — якут.;

-tăr (*-ččar*) — чуваш.

Отклонением от общей нормы являются отдельные варианты форм, встречающиеся в некоторых языках, например: *-yš* + *syn* кирг., н.-уйг. для мн. числа, где аффикс *-yš*, общий с аффиксом взаимно-совместного залога, указывает на мн. число; *-sun-čo* ~ *-sun* + *čи* — н.-уйг. с побудительной частицей *čo* ~ *čи*. К более сложным и затемненным формантам 3-го лица мн. числа относится аффикс *-yaxtyn* ~ *-ytyn* (*-yaxtyn-nar* ~ ~ *-ytynnar*) в якутском.

Из обзора всех разновидностей форм повелительно-желательного наклонения 3-го лица ед. и мн. числа можно сделать следующие выводы. Общей для всех тюркских языков формой 3-го лица является форма на *-syn* в различных фонетических вариантах: *-syn*(*-sun*) ~ *-zyn*(*-zun*), *-ŝyn* ~ ~ *-hyn* ~ *-tyn* (*-dyn* ~ *-lyn*) ~ *-su* и с некоторой модификацией *-tăr*(*-*(*č*)*čăr*) в чувашском. Кроме этой основной и общей для всех тюркских языков формы, встречаются формы, усложненные либо дополнительными аффиксами множественности, например аффиксом, общим с залоговым, указывающим на совместность или взаимность действия *-yš* (*-yš* + *syn*), характерным для киргизского и новоуйгурского языков, либо частицей побуждения *čo*/*ču*, например, в новоуйгурском языке (*-syn* + *čo*/*ču*). Встречаются как исключения некоторые параллельные с основной формой формы на *-sun-y* в караханидско-тюркском и *-yaxtyn*//*-ytyn* в якутском.

При выяснении происхождения форм 3-го лица вызывают интерес: 1) основная форма на *-syn* во всем многообразии ее фонетического оформления; 2) формант *-y* в форме ед. и мн. числа *-sun-y*, встречающийся в письменных памятниках караханидской эпохи и, в частности, в «Qutadγu bilig»; 3) форма 3-го лица ед. и мн. числа будущего времени *yaxtyn*//*-ytyn* (*-yaxtynnar*//*-ytynnar*) в якутском языке.

Касаясь происхождения аффикса 3-го лица повелительно-желательного наклонения *-syn* ~ *-zyn* ~ *-ŝyn* ~ *-tyn* ~ *-hyn* (//*-sun* ~ *-zun* ~ *-ŝun*) в тюркских языках, Г. Рамстедт считает его производным причастием от общеалтайской формы древнего желательного наклонения на *-su* и приводит соответствующие формы тюркских, монгольских, тунгусского и корейского языков [15]. В. Котвич отмечает, что форма на *-sy* ~ *-su* как в некоторых тюркских (якутском *-sy* > *-ty*), так и в монгольских не является характерной только для 3-го лица, а встречается и в других лицах; по мнению В. Котвича, этот аффикс возник на тюркской почве как формант желательного наклонения [16].

Здесь следует согласиться с господствующим в тюркологии мнением о связях аффикса *-syn* с аффиксом *-sy*/*-sa*, продуктивным словообразовательным показателем (производит также условную форму и форму 3-го лица повелительно-желательного наклонения) в тюркских языках [17].

Формант *-sy* + *n*, как предполагает большинство исследователей, представляет собой сложный аффикс, в котором элемент *-sy* имеет значение показателя желательного наклонения, а элемент *-n* — причастное значение с пассивным оттенком [18].

Аффикс *-sy-n*, образующий повеление 3-го лица, исторически был более сложным, так как элемент *-sy* мог сочетаться только с именной формой, но не с основой глагола. Присоединяясь к глаголу, этот аффикс имел посредствующее звено — аффикс имени действия на *-γy* ~ *-yγ*, и таким образом причастие, образующее форму повеления 3-го лица, было вторичным и состояло, по-видимому, из основы глагола + сложный аффикс *-γy* + *sy-n* [19].

Что касается чувашской формы *-tăr*, в которой Г. Рамстедт видит иную, чем в других тюркских языках форму, а именно «повелительное наклонение фактитивного глагола на *-tur*; чув. *pulṭar-* < *boltur-* „за-

[15] Г. И. Рамстедт, указ. соч., стр. 83.

[16] В. Котвич, указ. соч., стр. 261—262.

[17] См.: W. Bang, Studien zur vergleichenden Grammatik der Türksprachen, SBAW, XXXVII, 1916; Г. И. Рамстедт, указ. соч., стр. 83; В. Котвич, указ. соч., стр. 261—262; Н. А. Баскаков, К вопросу о происхождении условной формы на *-ca*/ *-ce*.

[18] Н. А. Баскаков, К вопросу о происхождении условной формы на *-ca*/*-ce*, стр. 47, 58, 59.

[19] См.: Н. А. Баскаков, Каракалпакский язык, II, стр. 456—457.

ставить быть; сделать, чтобы стал"»[20]. Нам, как и В. Котвичу, представляется, что формант *-tă-r* в левой своей части имеет общий элемент *-tă* < *-sy* ~ *-ty*, а второй — аффикс причастия на *-r*.

Только частицей побуждения *-y* ~ *-a* характеризуется модификация той же основной формы на *-syn*, а именно форма 3-го лица повелительно-желательного наклонения на *-sun-y* в письменных памятниках караханидской эпохи и в частности в «Qutadγu bilig».

Более сложной является якутская форма того же лица и наклонения в будущем времени на *-yax-tyn/-y-tyn*. Здесь не вызывает сомнения второй элемент этого сложного аффикса *-tyn*, представляющий собой фонетическое соответствие *-tyn* ~ *-syn*; что же касается первого элемента *-yax/-y*, общего, кстати, с инклюзивной формой 1-го лица повелительно-желательного наклонения *-yax*, то этот элемент безусловно восходит к аффиксу коллективного множества *-lyq*.

Обзор и анализ всех форм повелительно-желательного наклонения в тюркских языках позволяет сделать общий вывод о причастной природе всех личных форм этого наклонения, которое конструируется посредством супплетивных причастных форм различного происхождения для каждого лица.

---

[20] Г. И. Рамстедт, указ. соч., стр. 83.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 1 1975

ИЗ ИСТОРИИ НАУКИ

Д. С. ЧАНТУРИШВИЛИ

ИЗ ИСТОРИИ ДВУЯЗЫЧНОЙ ЛЕКСИКОГРАФИИ

Грузинско-русские языковые контакты, носившие до начала XIX в. спорадический характер и осуществлявшиеся главным образом через литературные связи, вот уже 170 с лишним лет являются постоянно действующим (хотя и по-разному проявлявшимся) фактором в жизни грузинского народа и его языка: если до установления советской власти в Грузии коммуникативная функция грузинского языка всячески ограничивалась, то после установления советской власти грузинский язык получил ничем не ограниченные возможности развития во всех его стилевых разновидностях.

Общественно-политическая действительность, установившаяся в Грузии после 1801 г., важные своими последствиями связи прогрессивных демократических сил Грузии и России, усиливающаяся тяга к образованию — все это выдвигало настоятельную необходимость изучения русского языка и обучения ему. Не последняя роль в этом принадлежала словарям и прежде всего — двуязычным. Так в самом начале прошлого столетия возникла острая потребность в двуязычных словарях — русско-грузинском и грузинско-русском.

В России к тому времени уже был создан знаменитый «Словарь Академии Российской» (1789—1794), составивший целую эпоху в истории русской лексикографии, а Грузия располагала поразительным по своей точности и лаконичности «Грузинским словарем» Сулхана-Саба Орбелиани (1658—1725), до сих пор являющимся одним из главнейших лексикографических источников картвелологов. Эти два лексикографических труда надолго определили содержание и характер работы грузинских ученых в области составления толковых и двуязычных словарей.

Одним из таких ученых, которого по праву можно признать лучшим языковедом первой половины XIX в., был представитель знаменитой династии Чубиновых (Чубинашвили) — Нико (Николай) Давидович. «Если о наследственности таланта можно еще спорить,— писал А. А. Цагарели,— то, кажется, спорить о наследственности известных занятий трудно. Это видно между прочим из очерка жизни Чубиновых: в течение более столетия из этого рода выходили писатели, книжники, типографщики и библиографы. С 1782 по 1891 годы мы встречаем в этом семействе три поколения книжников: свящ. Давид, дети его Иессей и Николай, сын Иессея Давид подвизаются на поприще грузинской литературы, педагогии и коллекционерства; свящ. Давид заведует грузинской государственной типографией и содержит частную школу, прот. Иессей пишет Грузинскую грамматику и преподает грузинский язык в Тифлисской духовной семинарии, Николай учительствует в Тифлисском благородном училище и пишет немало трудов по физике, математике, географии, по языку грузинскому (русско-грузинские разговоры, грамматические рассуждения,

словарь) и по археологии Грузии; наконец, Давид Иессеевич, живший и подвизавшийся при более благоприятных для учено-литературных занятий условиях, чем его предки, как количеством, так и качеством своих трудов далеко оставляет за собою своих родственников» [1].

Действительно, судьба Давида Иессеевича сложилась счастливее судьбы его дяди Николая Давидовича. Достаточно напомнить, что «в течение почти полстолетия Д. И. Чубинов и М. И. Броссе трудились на поприще грузинологии рука об руку, с редким единодушием, поддерживая и помогая друг другу словом и делом, оттого и совершили в этой области так много. Очерк их жизни и деятельности представляет весьма богатый материал для истории полувекового существования грузинологии в России, а именно с тех пор как грузинский язык и литература сделались предметом академического преподавания и систематической разработки» [2]. Труды племянника стали широко известны еще при его жизни, тогда как богатое лексикографическое наследие дяди так и осталось бы лежать покрытым архивной пылью, если бы не энтузиазм грузинского языковеда и лексикографа А. А. Глонти, отдавшего на подготовку и публикацию словарей Нико Чубинашвили 20 лет жизни [3], т. е. столько, сколько затратил на составление своих словарей сам Нико Чубинашвили [4].

Н. Д. Чубинашвили (настоящая фамилия — Гиоргишвили. Чубин, т. е. «меткий», была кличка деда Н. Чубинашвили — Георгия) родился 15 апреля 1788 г. Сразу же после окончания Тифлисского благородного училища (1807) 19-летний юноша назначается преподавателем русского языка, а через шесть лет — и преподавателем математики в том же училище. В 1810—1814 гг. он переводит «Физику» Бриссона, «Физику» Гиляревского, а также учебники по арифметике и географии. В 1815 г. оставляет училище и назначается секретарем Синодальной конторы в Тифлисе. В 1821 г. назначается членом комиссии по переводу на русский язык грузинских законов, известных под названием Уложения царя Вахтанга VI. В 1825 г. переводится на службу в Петербург и назначается переводчиком грузинского языка при Азиатском департаменте МИД. В 1837 г. по состоянию здоровья возвращается на родину, но продолжает числиться на службе в МИД. В 1842 г. совершает археологическое путешествие по Самцхе, Имеретии и Мегрелии, а в 1845 — в Иерусалим, где снимает копию портрета Ш. Руставели с одной из фресок и дает описание Крестного монастыря и некоторых грузинских рукописей, хранящихся там. Как отмечает А. А. Глонти, именно Н. Д. Чубинашвили (а не Н. Я. Марру, как это полагали в свое время) принадлежит честь открытия в этом монастыре знаменитого «Жития Григория Хандзтийского» (Н. Я. Марр вторично открыл и блестяще издал этот памятник с соответствующим научным аппаратом и русским переводом) [5]. Скончался Н. Д. Чубинашвили в 1845 г. в Петербурге, где и похоронен.

Среди других книг и рукописей, оставленных племяннику Давиду, Н. Д. Чубинашвили особо отметил составленные им полные грузинско-русский и русско-грузинский словари, которым, как он сам пишет, нет

[1] А. А. Цагарели Сведения о памятниках грузинской письменности, I, выпуск третий, СПб., 1894, стр. I—II.

[2] Там же, стр. II.

[3] См. об этом: В. Третьяков, Пятнадцать строчек в энциклопедию, Учит. газ. 19 IV 73.

[4] См.: Н. Чубинашвили, Русско-грузинский словарь, I—II, Тбилиси, 1971—1973 (под ред. и с предисловием А. А. Глонти. Ред. обоих томов — Д. С. Мгеладзе).

[5] Н. Чубинашвили, Словарь грузинского языка с русским переводом. Редакция и исследование А. А. Глонти, Тбилиси, 1961, стр. 7.

цены, ибо он им посвятил всю свою жизнь. Мнение А. А. Глонти о том, что работу над словарями Н. Д. Чубинашвили в основном завершил в Грузии, а в Петербурге он дорабатывал их и готовил к печати, нам представляется более вероятным, нежели мнение А. А. Цагарели, относящего лексикографическую работу Н. Д. Чубинашвили целиком к петербургскому периоду его жизни. Мнение это решительно поддерживает и Л. И. Кутателадзе [6]. Впрочем ни одно из этих двух мнений не подтверждено документально, и их авторы свои соображения высказывают предположительно. Вопрос этот не имел бы принципиального значения, если бы не одно обстоятельство: как показала Л. И. Кутателадзе в своей монографии, Иоанн Багратиони раньше Н. Чубинашвили (примерно к 1810 г.) закончил русско-грузинский словарь, явившийся переводом «Словаря Академии Российской». Однако М. А. Келенджеридзе, детально сличившая словари И. Багратиони и Н. Чубинашвили, пришла к выводу, что Н. Чубинашвили не был известен словарь И. Багратиони и что эти словари «отличаются построением, количеством словарных единиц, переводом слов» [7].

Даже поверхностное сличение «Русско-грузинского словаря» Н. Чубинашвили (далее — РГСНЧ) с его первоисточником убеждает в том, что этот словарь не находится в тесной зависимости от «Словаря Академии Российской», хотя своим существованием и обязан последнему. Сплошь и рядом пространному энциклопедическому толкованию слова в РГСНЧ соответствует достаточно адекватная и предельно лаконичная передача его значения на грузинском языке. Вот один из типичных примеров. Слово *варган* в «Словаре Академии Российской» толкуется так: «Железное мусикийское орудие, простонародием употребляемое: длиною около вершка, коего головка почти в кольцо согнута; от того же места, где кольцо не довершается, протянуты два параллельно идущие треугольные брусочка; к середине головки приваривается стальная полоска, проходящая между брусков, не касаясь их, имеющая на конце крючок. Играют на сем орудии, приложа его к губам, вбирая и выпуская дух и приводя в движение перстом стальную полоску». Н. Чубинашвили это слово переводит как «короткий музыкальный инструмент из железа наподобие свирели». Нередко подобное пространное толкование в правой части РГСНЧ заменяет всего лишь одно слово — грузинское соответствие заглавного слова словарной статьи русского оригинала. Так, *велблюд* (*верблюд*) с очень подробным толкованием передается по-грузински как *аклеми*. Ясно, что для Н. Чубинашвили важна не точная передача содержания словарной статьи русского источника, а доведение до понимания грузинского читателя значения русского слова. Этой цели Н. Чубинашвили успешно добивается путем передачи значения заглавного слова без полного перевода словарной статьи. Тем самым РГСНЧ, составленный на основании «Словаря Академии Российской», является не его переводом, но оригинальным лексикографическим трудом — и в построении словаря, и в подаче лексического материала.

Лексикографическая деятельность Н. Чубинашвили приходится на период, предшествующий возникновению сравнительно-исторической индоевропеистики. Тем более поражают его верные лингвистические суждения. Достаточно вспомнить, к примеру, замечание Н. Д. Чубинашвили по поводу этимологии топонимов *Осети* и *Двалети* (с остроумной анало-

[6] Л. Кутателадзе, Лексикографические работы Давида и Иоанна Багратиони (Филологические исследования и тексты). ДД, Тбилиси, 1971 (на груз. яз.), стр. 106—107.

[7] М. А. Келенджеридзе, Русско-грузинские рукописные словари XVIII—XIX веков, Тбилиси, 1961 (на груз. яз.), стр. 64—67.

гией русск. *столица* для доказательства того, что *Двалети* — это простое слово с суффиксом *-ети*, оно не имеет никакого отношения к сочетанию *два лета*), его рассуждения о некоторых буквах грузинского алфавита, его попытки при объяснении языковых фактов обращаться к фактам того же и других языков, а также к истории, чтобы согласиться с А. А. Глонти, утверждающим, что Н. Д. Чубинашвили следует отнести к числу предшественников компаративистов-индоевропеистов[8]. В словарной статье, посвященной букве *а*, в его «Грузинском словаре с русским переводом» имевшему к тому времени хождение мнению о феминизирующем значении *а* для выражения лица женского пола (при полном отсутствии категории рода в грузинском языке!) Н. Д. Чубинашвили противопоставил значительно более обоснованное мнение об отнесенности этого *а* в существительных лица к категории субъективной оценки, тем самым признав искусственность корреляции по полу в грузинском языке. В то же время, отдавая дань тогдашней лексикографической традиции, Н. Чубинашвили все же отразил в своем словаре несколько пар коррелятивных по полу существительных лица, например, в словарных статьях *богиня*, *владелец*, *владыка*, *господин* и др., а женские корреляты слов *граф* (*графиня*) и *император* (*императрица*) дал в виде грузинской транслитерации этих слов.

Таким образом, Н. Д. Чубинашвили с полным основанием можно считать пионером сопоставительного анализа лексики двух разносистемных языков, получившего дальнейшее развитие в трудах Я. С. Гогебашвили, Г. С. Ахвледиани, С. Д. Пурцеладзе, С. М. Вачнадзе и других ученых. Он заложил в Грузии основы двуязычной лексикографии.

Приступая к составлению «Русско-грузинского словаря», Н. Д. Чубинашвили должен был решить ряд важных вопросов, связанных с источниками такого словаря, количеством толкуемых лексических единиц, принципами подбора слов и построения словарной статьи, проблемой «правой части» словаря и т. д. Источники РГСНЧ указаны вполне определенно: это — оба издания «Словаря Академии Российской» (1789—1794 и 1806—1822). «Новый словотолкователь» Н. Яновского (1803—1806), «Латинский лексикон с российским переводом» Розанова; для грузинской части источниками послужили «Грузинский словарь» С.-С. Орбелиани и «Словарь грузинского языка с русским переводом» самого Н. Д. Чубинашвили.

Н. Д. Чубинашвили не пошел по пути, избранному И. Багратиони: он не стал переводить на грузинский язык «Словарь Академии Российской», хорошо, по-видимому, понимая, что толковый словарь одного языка едва ли станет двуязычным словарем, если просто перевести на другой язык словарные статьи, оставив заглавное слово на том же языке.

Анализ РГСНЧ и его сопоставление с обоими изданиями «Словаря Академии Российской» наглядно показывают, что РГСНЧ не является копией словаря-источника ни по своей структуре, ни по подаче словарной статьи. Заглавные слова словарных статей в РГСНЧ расположены в алфавитном порядке, и этим РГСНЧ похож на второе издание академического словаря, однако словарная статья включает и однокоренные с заглавным словом лексические единицы, и этим РГСНЧ похож на первое издание академического словаря. Поэтому определить количество слов в РГСНЧ довольно трудно. По нашим подсчетам, в РГСНЧ 26 678 словарных статей, однако фактически толкуемых лексических единиц значительно больше, что можно видеть из следующей примерной ста-

[8] Ал. Глонти, Грузинский словарь Нико Чубинашвили, в кн.: Н. Чубинашвили, Словарь грузинского языка с русским переводом, стр. 36 и сл. А. А. Цагарели также дает весьма высокую оценку лингвистическим рассуждениям Н. Д. Чубинашвили (А. А. Цагарели, указ. соч., стр. LXV).

тистики: на букву *А* в словаре 1789—1794 гг. помещено 372 толкуемых лексических единицы, расположенных в 196 словарных гнездах; в словаре 1806—1822 гг. — 460 толкуемых лексических единиц и столько же словарных статей; в РГСНЧ — 445 толкуемых лексических единиц, составляющих 274 словарных статьи. Видимо, здесь надо считать так же, как М. Броссе, в предисловии к «Грузинско-русско-французскому словарю» Д. Чубинашвили отметивший, что этот словарь «содержит в себе 19 866 статей, составляя 35 000 слов по методе принятой в нем лексикографии».

Таким образом, оригинально сочетая алфавитный способ расположения слов с гнездовым способом построения словарной статьи, Н. Д. Чубинашвили сумел поместить в свой словарь такое количество лексем, что имел серьезные основания назвать его «Полным словарем российско-грузинским».

«Словарь Академии Российской», а следовательно и РГСНЧ отражают русский язык допушкинского периода. В грузинской части РГСНЧ отражает язык дочавчавадзевского периода. Поэтому может создаться — и не без основания[9] — впечатление об архаичности словарей Н. Д. Чубинашвили, их лишь историческом интересе[10]. А между тем сопоставление РГСНЧ с трехтомным «Русско-грузинским словарем», изданным АН ГрузССР (1956—1959), дало весьма любопытные результаты: 7773 заглавных слова имеют толкование, полностью (658 слов) или почти полностью (7115 слов) совпадающее с толкованием этих слов в академическом трехтомнике. Это составляет почти 30% общего количества заглавных слов в РГСНЧ. Если такое сопоставление распространить на все толкуемые слова, то процент этот значительно возрастет. Разумеется, семантическая тождественность десятков и даже сотен русских и грузинских слов начала XIX в. и 70-х годов XX в. не означает тождественности лексико-семантических систем этих языков той и нынешней эпох[11], однако наши статистические данные могут служить иллюстрацией тезиса А. А. Глонти о том, что Н. Чубинашвили вместе со своим братом Иессеем боролся за становление новогрузинского языка и что об этом свидетельствуют их грамматические труды и особенно — словари Н. Чубинашвили[12]. Эти данные свидетельствуют о богатой интуиции и широкой эрудиции Н. Д. Чубинашвили, ориентировавшегося при отборе лексического материала не только на XVIII в., но и в значительной степени — на современную ему языковую действительность.

Об этом, в частности, свидетельствуют следующие данные. В РГСНЧ более 800 слов имеют помету «простон.». Проверка этих слов по «Словарю русского языка» (I — IV, М., 1957—1961) показала следующее:

1. Многие слова с указанной пометой в четырехтомном словаре даются без всяких стилистических помет: *барахтаться*, *батрак*, *бедняк*, *бесталанный*, *богач*, *беременная*, *бужу*, *буян*, *быт*, *верещу*, *ветер*, *вилки*, *волоком*, *врежу*, *вхожу*, *высоко*, *вышка*, *головня*, *гладь*, *горчица*, *двенадцать*,

---

[9] Достаточно привести такие формы 1-го лица ед. числа настоящего времени, как *бдю*, *блюду*, *вемь*, *влаю*, *дудю*, *кудесю*, *мышлю*, *мыю*, *небрегу*, *нравлю* и мн. др.

[10] Так отнесся, например, к словарю Д. Чубинашвили Н. Я. Марр (см. его «Древнегрузинско-русский словарь к 1—2 главам евангелия Марка», СПб., 1913, стр. III).

[11] Ср.: «Систематическое изучение лексики не может не быть проникнуто историзмом, снимающим метафизическое противопоставление синхронии и диахронии. Каждое состояние лексического состава есть лишь момент в цепи его непрерывных изменений. В каждом из таких исторических моментов даны отражения предшествующего движения, наслоения разных эпох и стимулы дальнейших изменений» (Ю. С. Сорокин, Развитие словарного состава русского литературного языка. 30—90-е годы XIX века, М.—Л., 1965, стр. 20).

[12] См.: Ал. Глонти, указ. соч., стр. 48

дьякон, долото, дохлый, доска, один, если, озеро, жара, жнец, жгут, женитьба, жупан, заведомо, задушевный, залп, изумруд, копье, кочан, крохобор, культя, локоть, лачуга, лачужка, лестница, леший, ложь, люлька, междоусобица, меж, молотить, молоко, моряк, мошкара, муравей, мчать, нагайка, напачкать, напихать, наслюнить, насовать, нахлынуть, недотрога, несушка, ничком, обойщик, полотно, плюсна, поверье, поголовно, погожий, подсвечник, снадобье, съедать, селянка, сорочка, толмачить, тридцать, тяга, уволакивать, хихикать, холостяк, щажу, юркнуть и др.

2. Ряд устойчивых сочетаний, имеющих в РГСНЧ указанную помету, в четырехтомном словаре дан без помет: *баклуши бить, взяться за ум, задеть за живое, (ни) зги не видать, зубы скалить, пустить в глаза пыль, выносить сор из избы* и др.

3. Многие слова с указанной пометой в РГСНЧ в четырехтомном словаре квалифицируются как «разг.» и «прост.»: *авось, ахинея, балагур, башка, болтушка, бородач, ветрогон, волокита, ворочу, вякать, дока, дребедень, дубасить, загулять, здорово, здоровяк, красотка, кукиш, ластиться, лизоблюд, мешанина, миляга, мироед, мозгляк, мудрить, мусолить, мыкаться, навеселе, нахапать, нахрапом, нашлепать, нукать, обезденежеть, одёжа, озорник, околесица, окрыситься, олух, паршивец, пачкун, поджилки, попустому, попусту, по-свойски, приструнить, проруха, пузо, раздолье, разнюхать, скопидом, смекнуть, судачить, теплынь, улепётывать, фертик, хайло, хаять, хват, хорохориться, шушера, юлить* и др.

4. Ряд слов с указанной пометой в РГСНЧ в четырехтомном словаре квалифицируется как «устар». или «обл.»: *балясник, балясничать, благой, властитель, грамотка, домовище, дуван, исполать, крючкотворец, курень, ледянка, лохмотник, попрошайка, присест, прямик, телепень, чудодей* и др.

5. Некоторые слова с указанной пометой в РГСНЧ в четырехтомном словаре квалифицируются как «народн.-поэт.» или «книжн.»: *кривда, кручина, памятую* и др.

6. Ряд слов с указанной пометой в РГСНЧ имеет значение, не засвидетельствованное в четырехтомном словаре: *вкопанный, встряхиваю, втора, вызвездить, грежу, кикимора, коротышка, кристалл, летун, обух, хохлач* и др

7. Многие слова с указанной пометой в самом РГСНЧ даны в виде вариантов, один из которых квалифицируется как «стар.», а другой имеет вполне современное звучание и значение: *дроб* и *дробь, здравлю* и *здравствую, злодейственный* и *злодейский, клеветарь* и *клеветник, колокольница* и *колокольня, коромольник* и *крамольник, мних* и *монах, надобье* и *надобность, опаство* и *опасение, посельник* и *поселянин, хлап* и *холоп* и др.

8. Почти половина слов с указанной пометой в РГСНЧ отсутствует в четырехтомном словаре.

Перед Н. Чубинашвили не стоял вопрос о принципах выделения лексических единиц: они уже были разработаны составителями первого издания «Словаря Академии Российской». Тем не менее при подаче глагола Н. Чубинашвили пришлось отойти от принятого в русской лексикографии принципа, согласно которому в качестве заглавного слова дается инфинитив с последующим указанием отдельных форм данного глагола. Н. Чубинашвили, а еще раньше И. Багратиони, как правило, предпочтение отдают форме 1-го лица ед. числа глагола, и выбор этот вполне закономерен, поскольку в грузинском языке роль инфинитива выполняет смешанная глагольно-именная категория масдар, производная от глагола. Русский инфинитив в РГСНЧ передается старым способом — стилистически весьма невыразительным направительным падежом, тогда как

личная форма глагола дает несравненно более богатые возможности передачи семантики русского глагола на грузинский язык.

Система грамматических и иных помет в РГСНЧ в общем повторяет ту, которая принята в первом издании «Словаря Академии Российской», однако, в отличие от него, в РГСНЧ дается указание о заимствованиях. Особенно велико здесь число старославянизмов, имеющих в РГСНЧ помету «сл.». Их в словаре более двух тысяч, и именно они вместе с устарелыми формами создают впечатление архаичности словаря. Впрочем, как правило, наряду со старославянской формой дается и русская и наоборот, причем трудно решить, на какую форму автор ориентирует читателя, какой он сам отдает предпочтение: *вхожду* и *вхожу*, *град* и *город*, *клас* и *колос*, *пию* и *пью*, *действие* и *действо*, *змей* и *змий*, *корова* и *крава*, *ночь* и *нощь*, *холод* и *хлад* и т. д.

Пуристическая установка относительно заимствований первого издания «Словаря Академии Российской» сохранилась и во втором. По данным В. В. Виноградова, в первом издании академического словаря 342 греческих, 107 латинских, 92 французских, 74 немецких слова [13]. РГСНЧ остался верен принципу академического словаря, хотя Н. Чубинашвили все же внес в свой словарь небольшую коллекцию иноязычных слов в несколько десятков единиц, не встречающихся ни в первом, ни во втором изданиях «Словаря Академии Российской»: *абака*, *аббат*, *авангардия*, *авантаж*, *адрес*, *акушер*, *амбиция*, *аншеф*, *аполог*, *аппетит*, *аппробация*, *асфиксия*, *атеист*, *багаж*, *бассейн*, *билет*, *катер*, *оригинал* и др. По нашим подсчетам, в РГСНЧ 313 греческих, 140 французских, 127 латинских, 67 немецких, 26 татарских, 13 турецких, 12 еврейских, 10 арабских и в пределах 10 — персидских, итальянских, голландских, венгерских, английских слов. Общее количество заимствований — около 800 слов. Иноязычное слово, как правило, толкуется, даже если (например, *автор*) оно употребляется в грузинском языке в том же виде (естественно, приспособленное к фономорфологической системе грузинского языка). Принцип этот важен для двуязычной лексикографии, ибо едва ли имеет смысл без всяких пояснений помещать в двуязычный словарь заимствование, значение которого читателю непонятно.

Для «правой» части двуязычного словаря принимается позиция грузинского читателя. Так, слово *бахча* (не *бакча*!), которое в «Словаре Академии Российской» (1806—1822) толкуется как «коробочка или ящичек, содержащий фунт чаю», раскрывается так: «по-русски (!) называется коробка для одного фунта чая». Аналогичным образом толкуются слова *лапша* («русские макароны»), империал («русский золотой червонец»), *сажень* («три русских адли» [14]), *станица* («так именуют волжские и донские казаки свою деревню») и др.

Отраженная в словарях Н. Д. Чубинашвили лексика обоих языков отражает переходное состояние; в ней уже были предпосылки для последующих реформ А. С. Пушкина и И. Г. Чавчавадзе. Многое в принципах построения двуязычного словаря, предложенное и осуществленное Н. Д. Чубинашвили полтораста лет тому назад, сохраняет свою актуальность и сегодня.

Такова далеко не полная характеристика этого лексикографического памятника, ставшего теперь достоянием широкого читателя.

---

[13] В. В. Виноградов, Русская наука о русском литературном языке, «Уч. зап. МГУ», т. 3, кн. 1, вып. 106, 1946, стр. 36.

[14] Грузинская мера длины, равная русскому аршину.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 1 1975

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

ОБЗОРЫ

Н. М. ТЕРЕЩЕНКО

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ САМОДИЙСКИХ ЯЗЫКОВ

В самодийскую языковую группу входит четыре языка: ненецкий (юрако-самоедский), энецкий (енисейско-самоедский), нганасанский (тавгийско-самоедский), селькупский (остяко-самоедский) [1]. До XIX в. сюда относились еще языки племен, обитавших по северным склонам Саянского нагорья: камасинцев, маторов, койбалов, котовцев, тайги, карагасов, утративших впоследствии свою языковую самобытность под влиянием тюркоязычных соседей. О былой принадлежности языков этих племен к самодийской группе позволяют судить словарные записи, сделанные в XVIII и в начале XIX в. Ф. И. Страленбергом, П. С. Палласом, Г. Ю. Клапротом. В наши дни А. К. Матвеевым и А. Кюннапом в сел. Абалаково на Саянах были собраны материалы от двух старых женщин, в известной мере помнивших язык своих предков.

Наиболее крупной из самодийских народностей являются ненцы (29 000), при этом свыше 83% считают ненецкий родным языком. Самая малочисленная самодийская народность — энцы (около 400 человек), подавляющая часть которых продолжает пользоваться в быту родным — энецким языком.

Современные самодийские народности расселены на обширной территории Крайнего Севера СССР: от восточного побережья Белого моря на западе до нижнего течения р. Енисея на востоке. Северной границей их расселения является побережье Северного Ледовитого океана с прилегающими островами, а южной — таежная зона. Большая часть занимаемой самодийцами территории входит в состав трех национальных округов: Ненецкого национального округа Архангельской области, Ямало-Ненецкого национального округа Тюменской области, Таймырского (Долгано-Ненецкого) национального округа Красноярского края. Ненцы расселены в пределах всех трех указанных округов, нганасаны и энцы — только в северных районах Таймырского округа. Наиболее компактная группа тазовских селькупов проживает в Тазовском и Красноселькупском районах Ямало-Ненецкого национального округа. Другие группы этой народности обитают в Красноярском крае и в Томской области.

Соседями самодийцев являются многие народы. В западных и южных районах Ненецкого национального округа, в южной части Ямальского полуострова ненцы живут в соседстве с коми-зырянами. В южных районах Ненецкого национального округа ненцы («колвинцы») подверглись сильному влиянию со стороны своих соседей в хозяйственном и в куль-

[1] В скобках даются дореволюционные названия самодийских языков, которые фигурируют еще и сейчас в работах ряда зарубежных ученых.

турном отношениях. Родным языком их стал коми язык. В более северных районах, в особенности на Ямале, где основным занятием населения является оленеводство, напротив, коми восприняли ненецкие методы и способы ведения оленеводческого хозяйства, частично ненецкий язык.

Проживающие в таежной области в пределах Ханты-Мансийского национального округа Тюменской области группы ненцев тесно соприкасаются с ханты, что нашло отражение в ненецком языке, в первую очередь в его фонемном составе. Наоборот, в северных частях Ямала с преобладающим ненецким населением живущие здесь ханты оказались полностью ассимилированными ненцами.

Сильное влияние ненецкая материальная культура и ненецкий язык на Таймыре оказали на энцев, преимущественно из племени бай. Большая часть этой малочисленной народности во время Всесоюзной переписи населения даже причислила себя к ненцам. Значительно меньшее влияние со стороны ненцев испытали нганасаны.

Тесными являются исторические взаимоотношения селькупов с кетами. Представляют несомненный интерес и селькупско-хантыйские языковые связи. На Таймырском полуострове самодийские народности живут в соседстве с эвенками и долганами. Во всех местах расселения они интенсивно контактируют с русскими.

По сравнению с языками ряда других народностей Крайнего Севера самодийские языки являются менее диалектно раздробленными, хотя в каждом из них существуют различные диалектные разновидности. Так, в ненецком языке выделяются два значительно различающихся между собой наречия: наречие тундровых ненцев и наречие лесных (или таежных) ненцев. На тундровом наречии говорит значительная часть ненецкого населения (около 27 000 человек), носителей лесного наречия насчитывается немногим более 2000 человек. Каждое наречие распадается на ряд говоров. Несмотря на обширную территорию, занимаемую тундровыми ненцами, их язык довольно единообразен: даже носители окраинных говоров без большого труда понимают друг друга (например, ненец с полуострова Канина свободно общается на родном языке с ненцем Таймырского полуострова). В известной мере это можно объяснить кочевым образом жизни, который ненцы ведут в своей массе и в настоящее время, благодаря чему между ними сохраняются постоянные контакты. Иное положение наблюдается в отношении лесного наречия: в силу разобщенности отдельных групп этих ненцев свободное понимание между ними затруднено.

Селькупский язык распадается на две больших группы: группу тазовских говоров и группу нарымских говоров, различия между которыми весьма существенны. Внутри каждой из групп заключается ряд говорных подразделений.

Язык энцев слагается из двух значительно разнящихся между собой наречий: бай и маду. При этом наречие бай очень близко языку ненцев, а наречие маду во многих отношениях сближается с языком нганасанов. Исключение из самодийских языков составляет нганасанский, различные представители которого — авамские и хатангские (или вадеевские) нганасаны — в настоящее время говорят на одном языке [2].

По утвердившемуся в науке после работ М. А. Кастрена и в особенности Э. Н. Сетеля [3] мнению, самодийские языки входят в группу уральских языков, куда помимо них относятся финно-угорские и юкагирский

[2] См., например: Б. О. Долгих, Образование современных народностей Севера СССР, «Советская этнография», 1967, 3, стр. 10.

[3] E. N. Setälä, Zur Frage nach der Verwandtschaft der finnisch-ugrischen und samojedischen Sprachen, Helsinki, 1915.

языки. Высказывались различные точки зрения по вопросу о том, к каким финно-угорским языкам наиболее близки самодийские. Например, по мнению Д. В. Бубриха [4], наибольшая близость прослеживается между самодийскими языками, с одной стороны, и саамским, с другой. М. Н. Коляденков подчеркивал сходство по ряду существенных признаков самодийских языков с мордовскими. Имеются материалы, позволяющие говорить о значительной типологической общности самодийских языков с обско-угорскими [5] и т. д. Вопрос этот, как и целый ряд других, может быть разрешен лишь в процессе дальнейшего исследования. Имеющихся данных для окончательных выводов пока недостаточно.

Из существующих гипотез о происхождении современных самодийских народностей наиболее убедительной представляется, с нашей точки зрения, гипотеза М. А. Кастрена — И. Э. Фишера в редакции Г. Н. Прокофьева [6]. В соответствии с положениями этих ученых, первоначальным местом обитания самодийцев явилось Саянское нагорье. В вынужденном продвижении с Саян на север и северо-запад потомки самодийских племен постепенно разобщались, сталкивались и смешивались с аборигенами занимаемых ими территорий. В результате этого сложного процесса образовались современные ненцы, энцы, нганасаны и селькупы.

История изучения самодийских языков до 1960 г. изложена довольно подробно с приложением соответствующего библиографического указателя [7]. До Великой Отечественной войны единственным центром исследования самодийских языков был Ленинград (Научно-Исследовательская Ассоциация Института народов Севера и Институт языка и мышления АН СССР). Деятельность в этом направлении возглавлялась Г. Н. Прокофьевым. Вместе с этим видным ученым работали и его первые ученики — А. П. Пырерка и Г. Д. Вербов. Вокруг них группировались обучавшиеся в Институте народов Севера ненцы и селькупы. Общими усилиями научных работников при активной помощи со стороны студентов была создана и развивалась письменность на ненецком и селькупском языках, являвшаяся в те годы неотъемлемой частью лингвистического исследования.

Были написаны и изданы первые в советское время грамматики и грамматические очерки всех самодийских языков, велась большая собирательская работа, закладывались основы для создания словарей. Большое внимание уделялось сбору произведений устного народного творчества ненцев и селькупов, выявлению основных диалектных разновидностей этих языков. Не столь интенсивно изучались языки количественно весьма малочисленных нганасанов и энцев, расселенных к тому же в трудно доступных тогда районах Таймырского полуострова.

После Великой Отечественной войны изучение самодийских языков сосредоточилось главным образом в ЛО Института языкознания АН СССР (созданного на основе Института языка и мышления) и на Северном факультете ЛГУ, а после закрытия этого факультета — на Северном отделении ЛГПИ им. Герцена.

---

[4] Д. В. Бубрих, К вопросу об отношениях между самодийскими и финно-угорскими языками, ИАН ОЛЯ, 1948, 6. См. также: B. Collinder, Proto-Lappisch and Samoyed, «Språkvetenskapliga Sällskapets i Uppsåla Förhandlingar», Uppsala, 1952—1954.

[5] Н. М. Терещенко, К вопросу о ненецко-хантыйских языковых связях, ВЯ, 1959, 2; Я. Н. Попова, О роли экстралингвистического влияния в процессе формирования языка, «Проблемы этногенеза народов Сибири и Дальнего Востока. Тезисы докладов Всесоюзной конференции», Новосибирск, 1973.

[6] Г. Н. Прокофьев, Этногония народностей Обь-Енисейского бассейна, «Советская этнография», 1940, 3. См. также: Б. О. Долгих, указ. соч.

[7] И. С. Вдовин, Н. М. Терещенко, Очерки истории изучения палеоазиатских и самодийских языков, Л., 1959.

В первые послевоенные годы продолжались в основном исследования языка ненцев как языка наиболее крупной самодийской народности, на котором к тому же была создана и продолжала развиваться письменность. Уточнялся фонемный состав, изучался более детально и углубленно морфологический строй, разрабатывался синтаксис, ранее слабо изученный, более развернуто продолжалась лексикографическая работа, были созданы два русско-ненецких и три ненецко-русских словаря и велся сбор текстовых материалов (как образцов разговорной речи, так и произведений устного народного творчества). Было предпринято дальнейшее исследование языков нганасанов и энцев.

Центр исследовательской работы по селькупскому языку переместился в эти годы в Томск. Благодаря усилиям покойного А. П. Дульзона, кроме селькупского, в Томске начали изучаться также нганасанский и энецкий языки. В результате в круг интересов томских языковедов включены все самодийские языки (кроме ненецкого.) В настоящее время ненецкий и селькупский языки изучаются и в Новосибирске. Работа по изучению языка последних, оставшихся еще в живых, представителей самодийцев нагорья Саян была начата и успешно продолжалась языковедами Свердловска и Тарту. Довольно интенсивно фиксировались топонимические данные в местах расселения самодийских народностей (в первую очередь ненцев и селькупов).

В итоге исследованием самодийских языков в СССР занимается сейчас довольно значительное число научных работников, преподавателей вузов, и работа по этим языкам сосредоточивается в ряде научных учреждений и высших учебных заведений. Размах работы требует координации исследований, объединенных усилий исследователей по расширению и углублению научного изучения языка во всех его аспектах.

Изучение самодийских языков проводится, кроме того, в Хельсинки под руководством А. Й. Йоки и в Венгрии под руководством П. Хайду (Сегедский университет), а также в ФРГ и в Швеции.

В исследованиях по уральскому языкознанию советские и зарубежные ученые пользуются материалами самодийских языков настолько широко, насколько это позволяют имеющиеся публикации (см. работы Б. А. Серебренникова, В. И. Лыткина, Б. Коллиндера, Б. Викмана, Д. Дечи, П. Хайду, Й. Н.-Шебештьен, В. Штейница и других). Сведения по самодийским языкам, прежде всего ненецкому, в меньшей мере — селькупскому, в отдельных случаях — энецкому широко привлекались для решения ряда общетеоретических вопросов (особенно в трудах акад. И. И. Мещанинова).

Изучение отдельных диалектов, порой значительно отличающихся друг от друга, способствует выявлению структуры языка в целом. Сравнительный подход к исследуемому материалу дает в ряде случаев возможность выявить происхождение отдельных грамматических категорий и фонетических явлений, подготовляя тем самым основу сравнительно-исторических штудий. Результаты наблюдений в этой области опубликованы лишь частично [8].

Разработка проблем диалектологии является неотложной задачей. Неслучайно первая защищенная кандидатская диссертация по самодийским языкам была посвящена диалектологической теме [9]. По мере развития двуязычия и многоязычия у малых народностей, не имеющих письменной традиции, сфера функционирования их языков все более сужа-

[8] Н. М. Терещенко, Материалы и исследования по языку ненцев, М.—Л., 1959; ее же, К сравнительному изучению самодийских языков, «Советское финно-угроведение» (далее — СФУ), 1965, 2.

[9] Г. Д. Вербов, Диалект лесных ненцев (в печати); работа защищена в 1936 г.

ется, а диалектные различия, естественно, стираются. Через некоторое время собрать эти языковые данные станет уже практически невозможно. Тем самым языковедческая наука понесет невосполнимую утрату. Первоочередным в этом отношении является изучение наречия маду энецкого языка.

Проблемы диалектологии непосредственно связаны с изучением общественных функций самодийских языков. Эти задачи ставятся в появившихся социолингвистических исследованиях [10].

Актуальность задач, связанных с теоретической разработкой проблем грамматики, достаточно хорошо сознается всеми, кто занимается самодийскими языками. В этом отношении в настоящее время делается немало, в том числе по слабо изучавшимся ранее нганасанскому и энецкому языкам и по группе нарымских говоров селькупского языка. Так, написана и подготовляется к печати монография «Нганасанский язык». В самое последнее время на грамматические темы защищены две кандидатские диссертации: одна по нганасанскому, другая— по селькупскому языку [11]. Первая из этих работ, посвященная обстоятельному описанию одной из частей речи недостаточно еще изученного нганасанского языка в сопоставлении с данными иносистемных языков и с выходами в диахронию, способствует исследованию прилагательных в теоретическом аспекте. Во второй работе подробно рассматриваются аналитические конструкции селькупского языка типа «деепричастие + вспомогательный глагол», привлекаются соответствующие материалы группы нарымских говоров и тем самым в известной мере восполняется пробел в изучении селькупского глагола. Обе названные работы связаны с большой комплексной проблемой «Происхождение аборигенов Сибири и их языков», которой по инициативе А. П. Дульзона уже в течение ряда лет занимаются в Томском ГПИ. В конце 1974 г. в Тарту была защищена докторская диссертация, где на основе сравнительно-исторического анализа выявляется происхождение первичных словоизменительных формантов в самодийских языках [12]. Свои взгляды на подобное изучение самодийских языков диссертант формулирует так: «Давно миновали времена, когда сравнительно-историческая самоедология являлась подсобной дисциплиной финно-угроведения. Самоедология наших дней — это самостоятельная дисциплина. Но она, конечно, не утратила своих связей с финно-угроведением. Даже наоборот — эти связи все время крепли и крепнут. Финно-угроведение и самоедология являются двумя равноправными компонентами, из которых состоит уралистика» [13].

Разрабатывается ряд тем, которые предполагается оформить в качестве диссертаций: а) кандидатских: грамматические категории глагола в энецком языке (Ленинград), способы выражения пространственных и временных отношений в ненецком языке (Новосибирск), селькупские имена прилагательные (Томск) и ряд других; б) докторских: монографическое описание селькупского языка с сопоставлением обоих его наречий (Новосибирск), падежная система селькупского языка (Томск).

---

[10] Н. М. Терещенко, О роли родного и русского языков в культурном развитии малых народностей Севера, «Вопросы развития литературных языков народов СССР», Алма-Ата, 1964; е е ж е, Развитие самодийских языков в советскую эпоху, Сыктывкар, 1965.

[11] Е. П. Больдт, Образование имен прилагательных в нганасанском языке. АКД, Новосибирск, 1974; Н. М. Воеводина, Аналитические глагольные конструкции в селькупском языке. АКД, Новосибирск, 1974.

[12] А. Кюннап, Склонение и спряжение в самодийских языках. ДД, Тарту, 1974.

[13] Там же, стр. 8.

Изыскания в этой области не только способствуют более детальному раскрытию грамматической структуры самодийских языков. При исследовании грамматических проблем нередко поднимаются вопросы, разрешение которых представляет интерес не только для уралистики, но и для общей теории языкознания, тем самым работа в этом направлении служит общим целям советской языковедческой науки [14].

В изучении самодийских языков участвуют зарубежные ученые [15]. В отдельных случаях при этом отмечается различный подход со стороны зарубежных и отечественных исследователей к одним грамматическим категориям. Так, некоторыми зарубежными учеными выдвигается иная модель системы склонения в самодийских языках, чем это принято среди советских специалистов. Например, венгерский языковед И.Н.- Шебештьен отрицает существование в этих языках формы род. падежа (генитива), в связи с чем встает, в частности, вопрос о способах выражения посессивных отношений. По ее мнению, в самодийских, как и в финно-угорском праязыке, выражение принадлежности достигается простым соположением двух именных основ, из которых первая (слева) обозначает обладателя, а вторая — объект обладания [16].

Между тем, для правильного понимания природы атрибутивных отношений в этих языках важно учитывать противопоставление двух синтаксических конструкций, которые характеризуют различные виды определительных значений: качественное (в широком значении этого слова) определение, с одной стороны, и определение по принадлежности, с другой. В соответствии с присущим всем самодийским языкам правилом для выражения качественного определения служит имя в форме им. (основного) падежа, а для передачи определения по принадлежности — имя в форме род. падежа. Форма род. падежа имеет немаловажное значение в грамматической системе самодийских языков, выступая в качестве производящей основы ряда словоизменительных и словообразовательных форм. Нельзя не учитывать при этом, что современные самодийские языки обладают развитой морфологической структурой, многообразием синтаксических построений и богатством лексики. Поэтому отнесение их к числу «архаичных» вряд ли можно считать вполне обоснованным. Правда, в некоторых отношениях в самодийских языках сохраняются элементы прошлого состояния, но это старое, в ряде случаев отмирающее, выступает наряду с новым, развивающимся, составляя в своей совокупности единую языковую систему.

Общий взгляд на категорию падежа не выработан и советскими языковедами. Так, если Г. Н. Прокофьев, а вслед за ним и Е. Д. Прокофьева выделяли в селькупском языке девять падежей, то у последующих исследователей наблюдается тенденция к более дробному делению падежных

---

[14] См. библиографию в статьях: П. Я. Скорик, Итоги и задачи исследования в области палеоазиатских и самодийских языков, сб. «Склонение в палеоазиатских и самодийских языках», Л., 1974; Н. М. Терещенко, Склонение в самодийских языках, там же.

[15] См., например: B. Collinder, Comparative grammar of the Uralic languages, Uppsala, 1960; P. Hajdú, The Samoyed peoples and languages, Bloomington, 1963; его же, Morphologische Beiträge zur Kenntnis der samojedischen Sprachen, Berlin, 1965; его же, Chrestomathia Samoiedica, Budapest, 1968; A. Joki, Über das Element *n* in der samojedischen Deklination, Helsinki, 1971.

[16] J. N.-Sebestyén, Die possessiven Fügungen im Samojedischen und das Problem des uralischen Genitivs, AL, VII, fasc. 1—2, Budapest, 1957; fasc. 3—4, 1958; ее же, Zum Problem des samojedischen und des uralischen Genitivs, «Commentationes fenno-ugricae», Helsinki, 1962. См. отклики на эти статьи: Н. М. Терещенко, О выражении посессивных отношений в самодийских языках, М. —Л., 1962; ее же, К развитию атрибутивных отношений в самодийских языках, Ижевск, 1967; А. Кюннап, К проблеме камасинского генитива, СФУ, 1970, 2.

форм (вплоть до 14)[17]. В падежную парадигму нганасанского языка некоторыми языковедами вводится особый лишительный падеж, формы которого, с нашей точки зрения, закономерно рассматривались как аналитические конструкции со значением необладания. Из других спорных вопросов назовем: образование формы вин. падежа мн. числа в ненецком языке, восстановление некоторых падежных праформ самодийского языка-основы и др.

Нуждается в дальнейшем детальном изучении ряд грамматических категорий глагола, в том числе вопрос о залогах, о выражении видо-временных отношений. Едва ли правильно, например, считать, что спряжение в самодийских языках является лишь парадигмой глагольных имен, оформленных личными глагольными суффиксами [18]. В тех случаях, когда именные и глагольные основы однотипны по своему строению, парадигма служит целям как словоизменения, так и словообразования — при ее посредстве осуществляется отнесение слова к той или иной части речи. При решении подобных вопросов необходимо разграничивать прошлое и современное состояния языка. В этой связи следует подчеркнуть, что проблемы исторической морфологии ждут специального исследования. Необходима также теоретическая разработка ряда проблем синтаксиса.

Морфологическая структура самодийских языков чрезвычайно сложна, их синтаксический строй во многих отношениях весьма своеобразен. Вполне естественно, что на первых порах изучения приходится ограничиваться выявлением основных структурных особенностей. Только при дальнейшем развитии координированности в исследовательской работе удастся достигнуть общего понимания спорных вопросов, в частности, определить место самодийских языков в уральской языковой семье и отношения их к уральскому праязыку. Для решения этих спорных проблем планомерное изучение самодийских языков должно теснейшим образом сочетаться с изучением языков других групп, в первую очередь финно-угорских и палеоазиатских. При этом задачи дальнейшего исследования определяются задачами уралистики в целом.

Лексикографическая работа в области самодийских языков была начата еще в довоенные годы. Помимо постатейных словариков к учебникам и книгам для чтения, была заложена основа для составления «Русско-ненецкого словаря», который и вышел под общей редакцией акад. И. И. Мещанинова (М., 1948). Словарь этот насчитывает около 15 000 слов и снабжен «Кратким грамматическим очерком ненецкого языка». Работа в указанном направлении продолжалась и в последующие годы. Наиболее крупным из имеющихся изданий является «Ненецко-русский словарь» с приложением краткого грамматического очерка (около 22 000 слов, М., 1965). Хотя и этот словарь не отражает всего богатства словарного состава ненецкого языка, он дает тем не менее довольно ясное представление о лексическом своеобразии: многозначность слов, чрезвычайная детализация той лексики, которая связана с непосредственной трудовой деятельностью ненецкого населения и его тундровым бытом; употребление в ряде случаев для обозначения одного и того же явления, действия, состояния различных слов в зависимости от того, применяются ли они к человеку, животному или предмету и др. Показан также процесс развития от основ-

[17] Ср.: Е. Д. Прокофьева, Селькупский язык, «Языки народов СССР», III, М., 1966, стр. 400; А. И. Кузьмина, К вопросу о склонении в селькупском языке, «Происхождение аборигенов Сибири и их языков. Материалы межвузовской конференции 11—13 мая 1969 г.», Томск, 1969; A. Dulsohn, Gemeinsame Kasusendungen in den samojedischen und jenisseischen Sprachen, «Congressus tertius internationalis fenno-ugristarum», 1970, стр. 175.

[18] J. N.-Sebestyén, Zur juraksamojedischen Konjugation, «Finno-ugrische Forschungen», XXXVIII, 1970.

ных значений слов к переносным, в известной мере представлена фразеология и идиоматика [19].

Что касается других самодийских языков, то ведущаяся лексикографическая работа значительно отстает от возможностей публикации. Так, без движения лежит пока еще не обработанная обширная картотека селькупского словаря в Томском ГПИ [20]. Ожидают дальнейшей обработки подготовленные еще до войны Г. Н. Прокофьевым материалы к сравнительному словарю самодийских языков. Несомненно большой научный интерес представила бы публикация нганасанско-русского словаря, материал для которого собирался в последние годы в районах расселения обеих групп нганасанов (авамских и хатангских), и энецко-русского словаря, материал для которого собран частично.

Логическим завершением этой работы должен явиться сравнительный словарь самодийских языков [21], который надлежит создать коллективными усилиями ряда специалистов на основе тщательного уточнения в полевых условиях ранее собранных в этих целях и зафиксированных позднее материалов современных языков, а также их наиболее характерных диалектных подразделений в сопоставлении с имеющимися в литературе словарными записями по самодийским языкам Саянского нагорья.

Лексикографическая работа теснейшим образом связана с лексикологическими исследованиями. До последнего времени производилось лексикологическое обследование только ненецкого языка. Охарактеризован словарный состав этого языка и его отличительные особенности; изучались пути обогащения лексики, вопросы терминологии, связанной с производственной деятельностью, бытом, социальной организацией, а также выявление специфических отличий лексики ненецкого языка от лексики русского языка и др. Пока лишь в кратком виде с далеко не исчерпывающей полнотой представлены некоторые данные по сравнительному изучению лексики самодийских языков. Лексический состав других языков этой группы ожидает своего изучения.

Особый раздел исследований в области лексики составляет проблема лексических заимствований. В своем историческом развитии самодийские народности контактировали со многими народами, которые оставили более или менее заметные следы в их языках, прежде всего — в лексическом составе. В зарубежной литературе по уралистике таким вопросам уделяется довольно большое внимание [22]. В советской литературе показаны главным образом русское языковое влияние на ненецкий и нганасанский языки, а также наиболее характерные способы адаптации заимствованных слов [23]. Рассматривалось взаимодействие на уровне лексики ненецкого языка и языков ближайших соседей (например, ненцев Ямальского полуострова и ханты). Предстоит выявить различные пласты лексики в само-

---

[19] См. также: Н. М. Терещенко, Вопросы лексики ненецкого языка и принципы построения двуязычных словарей языков разных систем с различной письменной традицией. АДД, Л., 1967.

[20] На основании опубликованных работ Г. Н. Прокофьева и Е. Д. Прокофьевой составлен селькупский словарь: J. Erdélyi, Selkupisches Wörterverzeichnis. Tas-Dialekt, Budapest, 1969.

[21] В настоящее время из опубликованных работ этого рода можно указать лишь самодийский раздел в этимологическом словаре Б. Коллиндера (B. Collinder, Fenno-Ugric vocabulary, Stockholm — Uppsala, 1955).

[22] См., например: A. Joki, Die Lehnwörter des Sajansamojedischen, Helsinki, 1952.

[23] Н. М. Терещенко, О русских влияниях на ненецкий язык, «Уч. зап. [ЛГУ]», 157, 1953; ее же, Влияние русского языка на язык нганасанов, «Вопросы советского финно-угроведения. Тезисы докладов и сообщений на XV конференции по финно-угроведению, посвященной 250-летию Академии наук СССР», Петрозаводск, 1974.

дийских языках, различающиеся по своему происхождению, характеру, количеству, а также изучить эту лексику в историко-этимологическом аспекте. Исследования этого рода несомненно представят значительный интерес для сравнительно-исторической уралистики.

В области ономастики получены и опубликованы некоторые данные по отдельным районам расселения ненцев и селькупов, изучена селькупская топонимия [24]. Обследованы ненецкие и нганасанские антропонимы [25], родовые названия ненцев [26]. Для «Справочника собственных имен народов РСФСР» подготовлена сводка ненецких собственных имен с развернутым предисловием. В помощь картографам составлен список наиболее употребительных апеллятивов и слов, встречающихся в нганасанских географических названиях.

Фразеология и идиоматика самодийских языков изучались еще очень мало — практически исследование этих вопросов начато на ненецком языковом материале. Так, в «Ненецко-русский словарь» включен ряд фразеологических выражений и идиоматических оборотов с соответствующей расшифровкой. Изучению фразеологии самодийских языков в сопоставительном плане посвящена одна только статья [27].

В настоящее время на первый план выдвигается максимально полный сбор фразеологического и идиоматического материала самодийских языков, его классификация и квалифицированный перевод. К этой работе желательно широко привлечь носителей языка из числа национальной интеллигенции.

Сравнительное изучение самодийских языков только начинает развертываться. В сравнительном аспекте исследован синтаксис этих языков [28]. Описана система формантов камасинского склонения с обобщающими сопоставлениями и экскурсами генетического характера [29]. В ряде статей рассматриваются вопросы сравнительно-типологического изучения лексики, фонетики, грамматики этих языков [30]. Такого рода работы в совокупности явятся надежным основанием для последующих исследований сравнительного плана. Без углубления сравнительного изучения самодийских языков невозможна будет широкая постановка проблем сравнительно-исторической уралистики.

Развертывание сравнительно-исторических исследований по самодийским языкам подразумевает хорошо поставленное изучение их фонетики. Работа в названном направлении велась первыми исследователями этих языков и продолжается в настоящее время. В частности, описана звуковая система и основные фонетические процессы одного из говоров селькупского языка [31], между тем, как отдельные территориальные единицы,

[24] Э. Г. Беккер, Селькупские топонимы Западной Сибири. АКД, Томск, 1965.

[25] Н. М. Терещенко, Собственные имена людей у ненцев, «Вопросы финно-угорского языкознания», М., 1966; ее же, Собственные имена людей у нганасанов, «Этногенез народов Северной Азии», Новосибирск, 1969.

[26] N. M. Terescsenkó, A nyenyec nemzetségnevekról, «Névtudományi vizsgálatok a magyar nyelvtudományi társaság névtudományi konferenciája», Budapest, 1960.

[27] Н. М. Терещенко, Фразеологизм и слово в самодийских языках, «Труды Самаркандского гос. ун-та», Нов. серия, 178, 1970.

[28] Н. М. Терещенко, Синтаксис самодийских языков, Л., 1973.

[29] A. Künnap, System und Ursprung der kamassischen Flexionssuffixe. I — Numeruszeichen und Nominalflexion, Helsinki, 1971.

[30] Н. М. Терещенко, К сравнительному изучению лексики самодийских языков, СФУ, 1971, 4; ее же, Обоснования исконного родства языков самодийской группы (тематический сборник Томского ГПИ, в печати); ее же, Грамматические категории глагола в самодийских языках, «Типология грамматических категорий (Мещаниновские чтения 1973 г.). Тезисы докладов», М., 1973; ее же, Склонение в самодийских языках, сб. «Склонение в палеоазиатских и самодийских языках».

[31] Ю. А. Морев, Звуковой строй средне-обского (ласкинского) говора селькупского языка. АКД, Новосибирск, 1973.

обозначаемые в их совокупности термином селькупский язык, фонетически пока еще не обследовались; эта работа является первой и притом удачной попыткой экспериментального исследования. Близка к завершению кандидатская диссертация по сопоставительному изучению фонетики лесного и тундрового наречий ненецкого языка (Я. Н. Попова, Новосибирск)[32].

По ряду вопросов из области фонетики у ученых нет единого мнения. Не всеми зарубежными исследователями признается тот состав фонем ненецкого и энецкого языков, который установлен в послевоенные годы в результате уточнения сделанного ранее. Так, венгерский ученый П. Хайду (в противоположность мнению Б. Коллиндера, Д. Дечи, Э. Ристонен, Н. Микола) отрицает наличие двух гортанных смычных фонем в обоих языках — назализованной и неназализованной (или: носовой и ртовой). Между тем эти две фонемы, имеющие смыслоразличительный характер, во многом определяют своеобразие лексики и грамматического строя названных языков. Имеются некоторые расхождения в установлении состава фонем нганасанского и энецкого языков и среди советских языковедов. В частности, в записях нганасанских текстов не обозначается фонема /ə/, отчетливо противопоставляемая другим гласным фонемам — /а, о, у, ы/. В то же время, по традиции вслед за М. А. Кастреном в звуковом составе нганасанского языка продолжают выделять фонему /ф/, хотя и у авамских и у хатангских нганасанов полностью закрепился переход ее в фонему /х/[33].

Подобные расхождения объясняются отчасти тем, что до последнего времени не проводилось экспериментального исследования звукового состава самодийских языков. Можно рассчитывать, что в недалеком будущем этот недостаток будет восполнен — в Лаборатории экспериментально-фонетических исследований ИИФФ СО АН СССР под руководством В. М. Наделяева начато исследование фонетики энецкого языка и предполагается организовать изучение нганасанской фонетики. Экспериментальное обследование фонемного состава самодийских языков поможет уточнить и выявленные ряды закономерных звуковых соответствий, которые необходимы для обоснованного подтверждения сравнительных и сопоставительных языковых параллелей.

Одной из неотложных задач, стоящих перед исследователями самодийских языков, является унификация транскрипции. Усилиями финно-угроведов, представителей различных стран, выработана единая финно-угорская транскрипция на латинизированной основе для разных подгрупп уральских языков, в том числе и для самодийской языковой группы. Однако типографские возможности, особенно на периферии, затрудняют ее использование. Кроме того, в разных исследовательских группах сложились свои традиции. В силу отмеченных причин те же звуки обозначаются разными исследователями неодинаково; не единообразны и применяющиеся диакритические значки. Все это затрудняет пользование работами, изданными на разной транскрипционной основе, между тем общими сила-

[32] Детальному изучению лесного наречия ненецкого языка придается большое значение, поскольку, по мнению М. А. Кастрена, лесные ненцы «... представляют собой переходное звено, связующее самоедов, кочующих на Севере у Ледовитого океана, с южными алтайцами» (M. A. C a s t r é n, Reiseberichte und Briefe aus den Jahren 1845—1849, St.-Pb., 1856, стр. 67; под алтайцами М. А. Кастрен понимал в этом случае саянских самодийцев).

[33] Постепенность этого перехода зафиксирована в литературе. Еще М. А. Кастрен указывал на особенность артикуляции звука *f* — колебание его между губно-губным *f* и *h* (M. A. C a s t r é n, Grammatik der samojedischen Sprachen, St.-Pb., 1854). См. также: Г. Н. П р о к о ф ь е в, Нганасанский (тавгийский) диалект, «Языки и письменность народов Севера», ч. I, М.—Л., 1937, стр. 55.

ми вполне возможно добиться большего единообразия в передаче языкового материала. Помимо собственно фонетической, необходима и единообразная фонологическая транскрипция на основе русской системы графики для всех языков самодийской группы. С использованием фонологического принципа строится письменность на ненецком языке (как и на языках других малых народностей Крайнего Севера СССР).

К числу первоочередных проблем относится планомерная квалифицированная запись произведений устного народного творчества. Фольклор самодийских народностей очень богат и во многих отношениях оригинален. Язык фольклора отличается рядом черт от разговорного языка, сохраняя в определенных случаях формы, не свойственные обыденной речи, в том числе архаические. Для языка фольклора характерна фиксация отдельных оборотов, связанных с традиционным описанием обычаев (например, устойчивые формулы сватовства), готовые трафареты для обозначения силы, мужества, женской красоты, природных явлений, определенная условность, или иносказательность некоторых высказываний. Поэтому язык фольклора требует специального изучения, особенно в связи с различными жанрами, а также в связи с тем, что язык устного народного творчества оказывает исключительно большое влияние на формирующуюся художественную литературу.

Подготовка методических пособий для учителей неизбежно предполагает необходимость изучения фонетики, лексики и грамматики языка ненцев в сопоставлении с русским языком. Первый опыт сопоставительной грамматики ненецкого и русского языков был осуществлен в виде учебного пособия [34]. Таким образом, задачи собственно научного исследования тесно увязываются с научно-практическими задачами по развитию письменности. Для улучшения преподавания и успешного приобщения самодийских народностей к русскому языку, а через него к социалистической культуре, необходима интенсификация сопоставительного изучения не только ненецкого, но и других языков этой группы с русским.

Итак, в настоящее время основной задачей является хорошо организованная координация исследований всех самодийских языков и диалектов, расширение и углубление всестороннего научного их изучения. Необходимы специальные работы по диалектологии, фонетике, морфологии, синтаксису, лексике и фразеологии, топонимии, создание полных словарей каждого из самодийских языков, в том числе сравнительного словаря всех этих языков, развертывание сравнительных и сопоставительных исследований, квалифицированная запись и публикация текстов, в особенности на нганасанском и энецком языках. Все указанное многообразие аспектов исследования по существу группируется вокруг основной проблематики —«Родство и взаимодействие самодийских языков и их взаимосвязи с языками соседних народов». Только общими усилиями всех исследователей самодийских языков можно добиться углубленного и всестороннего изучения этих языков и тем самым обеспечить приоритет советских языковедов в этой отрасли лингвистической науки.

---

[34] Н. М. Терещенко, В помощь самостоятельно изучающим ненецкий язык, Л., 1959.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 1 1975

Й. БЛАШКОВИЧ

ТЮРКОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ЧЕХОСЛОВАКИИ

1. В 60-е годы после основания Тюркологического семинара в Карловом университете в Праге (1950 г.) чехословацкая тюркология стала успешно развиваться [1]. Новые законы о высшей школе создали условия для развития всех научных дисциплин, в том числе и тюркологии, на широкой основе. Успех работы обеспечивается научно-исследовательскими планами исследовательских и учебных заведений. Коллективные и индивидуальные планы научных работников составлены таким образом, что они представляют собой органическую часть научных планов университета и Академии наук, а также общегосударственного плана научных работ, служат интересам нашего социалистического общества и соответствуют способностям научных сотрудников.

Работы по тюркологии ведутся в трех учреждениях: на Кафедре изучения стран Азии и Африки при философском факультете Карлова университета, в Институте востоковедения ЧСАН (Orientální ústav ČSAV, Прага) и в Кабинете ориенталистики Словацкой Академии наук (Братислава). В Карловом университете штатным работником и руководителем тюркологического сектора является Й. Блашкович, в Институте востоковедения работают тюркологи: Л. Гржебичек, З. Весела, Н. Зимова и И. Шторхова. В Кабинете ориенталистики работают два аспиранта: В. Копчан и К. Целнарова. Все это выпускники философского факультета Карлова университета. Помимо этих трех центров тюркологические исследования велись еще в двух университетах страны. В Кабинете балканистики Брненского университета тюрколог-историк Й. Кабрда успешно работал над изучением османско-турецких источников, связанных с историей Балканских стран; после кончины ученого в 1968 г. исследования по тюркологии в этом университете не были возобновлены. В Братиславском университете два учебных года подряд (1969—1970 и 1970—1971 гг.) для студентов-арабистов и славистов еженедельно (2—4 часа) читался факультативный курс современного турецкого языка. К числу студентов, прослушавших этот курс, принадлежат В. Копчан и М. Одран.

Перспективы развития тюркологии в Чехословакии ныне оказываются связаны с проходящей в последние годы широкой реорганизацией исследовательской работы в университетах и в Чехословацкой Академии наук. В результате происходящих преобразований интенсифицируются тюркологические исследования в Институте востоковедения ЧСАН и в Кабинете ориенталистики САН. В настоящее время разрабатываются перспективные планы в следующих направлениях: филология (Л. Гржебичек), изучение истории османско-турецкой литературы в связи с историей Турции (З. Весела), новейшая история Турции и современная турецкая культура (Н. Зимова), османско-турецкие исторические источники и палеография (В. Копчан), современная турецкая литература и фольклор (К. Целна-

[1] См. об этом: Й. Блашкович, Современное состояние и перспективы развития тюркологии в Чехословакии, ВЯ, 1963, 5.

рова). В ходе исследовательской работы расширяются и укрепляются контакты с зарубежными коллегами, прежде всего — с советскими тюркологами, с достижениями которых ученые Чехословакии знакомятся систематически.

2. Высшее образование новые кадры тюркологов получают только в Карловом университете, подготовка аспирантов ведется во всех трех учреждениях. Обучение в Карловом университете длится пять лет (предметам по специальности отводится 10—12 часов в неделю). В первые годы обучения читаются курсы грамматики турецкого языка, истории турецкой литературы, истории Османской империи и новейшей истории Турции; на старших курсах — лекции о происхождении и предыстории турков; слушателей знакомят также с тюркскими языками народов Советского Союза и историей литератур тюркских народов, а также с османско-турецкой палеографией.

Число студентов планируется Министерством школ ЧССР в зависимости от потребностей государства. Каждые четыре года проводится новый набор (4—5 студентов). За период с 1963 г. по 1973 г. Карлов университет выпустил 15 человек, из которых 4 получили звание доктора; из числа выпускников университета предшествующего периода трое получили ученую степень кандидата наук. Они принимают активное участие в педагогической работе в Карловом университете.

Помимо штатных сотрудников, в учебном процессе принимают участие также внештатные работники: В. Галикова, получившая тюркологическое образование в Ленинграде, преподавала в 1965/1966 гг. узбекскую грамматику; А. Бротанкова преподавала в 1966/1967 гг. грамматику казахского языка; разговорную практику по турецкому языку в 1966/1968 гг. вел М. Йеткин и в 1969—1971 гг. М. Алдемир.

3. С подготовкой студентов была связана работа над основными учебными пособиями (по крайней мере, для младших курсов). В настоящее время изданы два учебника по современному турецкому языку для начинающих [2]. На старших курсах используются грамматические труды советских тюркологов (В. А. Гордлевского, Н. К. Дмитриева, А. Н. Кононова, Э. В. Севортяна, Н. А. Баскакова и др.), а также некоторые основные пособия западных авторов [3].

4. В университете наряду с педагогической деятельностью ведется научно-исследовательская работа в области тюркологии, главным образом по тем направлениям, которые тесно связаны с исследованиями истории Чехословакии. Особенное внимание уделяется изучению письменных памятников периода османско-турецкого господства в Словакии (1543—1686), а также топонимов старотюркского происхождения.

Много ценных языковых памятников периода османско-турецкого господства в Словакии сохранилось как в отечественных, так и в зарубежных архивах [4]. В 60-х годах были обнаружены новые турецкие рукописи. Две из них — исторические труды (Mustafa Zühdi «Tarih-i Uyvar», 1663, fol. 1—86 и Mehmed Necati «Tarih-i feth-i Uyvar», 1665, fol. 1—51), а пять — различные переписные дефтеры (Defter-i mufassal-i eyalet-i Uyvar) из области Нове Замки, датируемые 1664 годом. Изучение этих рукописей показало, что помимо большого числа ценных исторических данных они содержат целый ряд ранее неизвестных слов, выражений и понятий. Нуж-

[2] J. Blaskovics, Učebnice turečtiny. D. I, Praha, 1964, 2-е изд.—1970; L. Hřebíček, Malá učebnice turečtiny, Praha, 1969.

[3] Например: «Philologiae Turcicae fundamenta», I, Wiesbaden, 1959.

[4] См. об этом мою статью: «Some notes on the history of the Turkish occupation of Slovakia», «Acta Universitatis Carolinae», Philologica, I, Orientalia Pragensia, Praha, 1960.

но было установить этимологию этих слов и объяснить их значения. Например, *baša* (из тур. *beşe* «старшина, начальник»), *yönge* («унция»), *bedel-i kısmet* («пошлина за наследство», букв. «сбор за судьбу»). Кроме того, из указанных текстов удалось извлечь значительную информацию о фонетических и морфологических явлениях в османско-турецком языке того периода [5].

В налоговых списках (defter) и кодексах (kanunname) XVI — XVII вв. среди наименований сельскохозяйственных продуктов встречается *kvkl* (كوكل), десятую часть (*öşr*) которого крепостные должны были отдавать феодалу. *kvkl* прежде считалось неизвестным словом или же читалось как *gönül* «сердце», «любовь», «согласие». Привлечение большого числа источников позволило трактовать это слово как *güğül* «кокон тутового шелкопряда» [6]. Происхождение и этимология слова *kuruc* (лат. *crux* «крест» > > тур. *kurus* > словац., венг., нем. *kuruc*) установлено также на основе данных, содержащихся в турецких исторических грамотах, которые хранятся в архивах ЧССР [7].

5. Другая область тюркологии, связанная с изучением истории ЧССР — это топономастика. На территории Чехословакии уже с VI — VII вв. поселились бо́льшие или меньшие этнические группы и остатки тюркских племен (авары, хазары, печенеги, половцы и т. п.). Несколько десятков топонимов, оставшихся от них на территории Словакии, до последнего времени не были этимологизированы. В 1972 г. удалось установить этимологию двадцати восьми таких топонимов [8].

6. В сфере нашей научно-исследовательской деятельности находятся проблемы турецкой лингвистики. Например, в турецком языке, как и в диалектах некоторых тюркских языков Советского Союза, конечный сонорный *r* (особенно в словах с палатальным вокализмом — например, *gelir*, *gelmiştir*, *gör*, *öbür*, *benzer*) произносится несколько иначе, чем в инлауте и анлауте (ср. *rica*, *rüzgâr*, *bira*, *eren*, *örnek*, *örümcek*). Исследователи обращали внимание на это явление, но попыток определить и идентифицировать его не делалось. Тщательный фонетический анализ позволил установить, что этот тип сонорного близок дрожащему переднеальвеолярному сонорному, известному в фонетической литературе как «чешский *ř*». Тем самым удалось приблизиться к решению некоторых вопросов ротацизма в тюркских языках. Сонорный *ř* в чешском возник в результате палатализации *r* (*r* > *ŕ* > *ř*); конечной фазой этого развития является звук *z* или *š*. Подобное фонетическое изменение могло иметь место и в тюркских языках (ср.: *gör-* «видеть» ~ *göz* «глаз», *semir-*«толстеть» ~ *semiz* «толстый, тучный», ср. чувашск. *ӑкӑр* «вол» и тур. *öküz* и т. д.) [9].

Важным центром, объединяющим в себе исследование различных востоковедческих дисциплин, является Институт востоковедения ЧСАН в Праге. Здесь большое внимание уделяется количественным методам описания тюркских языков. Л. Гржебичек при описании синтаксиса турецкого языка использовал некоторые понятия теории графов, причем графиче-

---

[5] Эта информация обобщена во введении к кн.: J. B l a š k o v i č, Rimavská Sobota v čase osmanskotureckého panstva, Bratislava, 1974 и в статье «Die Osmanisch-Türkische in Donauraum im 17. Jhdt.» «Schriften zur Ceschichte und Kultur des alten Orients», V, (Berlin, 1974.

[6] J. B l a š k o v i č, «Gönül» — Güğül, в сб. «Asian and African studies», I, Bratislava, 1965.

[7] См.: e r o ж e, Türkische Quellen, das Wort *kuruc* betreffend, «Studia Turcica», Budapest, 1971.

[8] См. наши статьи: «Топонимы старотюркского происхождения на территории Словакии», ВЯ, 1972, 6; «Alte türksprachige Ortsnamen in der Slowakei» (в печати).

[9] См.: Y. B l a ş k o v i č, «R» sessizin söylenişi, в кн.: «X. Türk Dil Kurultaynda okunan bildiriler», Ankara, 1964.

ская модель проверяется статистическими сигнификативными тестами [10]. Ученый занимается также стилеметрическим анализом творчества Абая Кунанбаева в различных аспектах — начиная с эвфонии и эстетической функции гармонии гласных и кончая лексикой произведений поэта [11]. Кстати, один из разделов казахской лексики — русизмы — явился предметом специального изучения автора [12].

Несколько статей Л. Гржебичек посвятил изучению различных уровней турецкого языка: его внимание привлекли некоторые черты генеративной системы турецкого языка, омонимические синтаксические конструкции в аспекте генеративно-дескриптивном, фонологическая структура турецких слов и метод семантического анализа турецкого текста [13]. В последние годы интересы ученого тяготеют к сфере строения слова — специально исследована фонетическая структура начальных слогов в некоторых тюркских языках, а также структура корневых морфем в узбекском [14].

Разрабатывая проблемы общего языкознания, Й. Крамский широко привлекает также материалы тюркских языков; им изучались вопросы тюркского артикля, аккузатива (вин. определенный и неопределенный), причастия [15]. Ученому принадлежит также ряд рецензий на некоторые грамматики современных тюркских языков [16].

Болгаровед М. Одран, работающий на кафедре славистики Братиславского университета, занят исследованием тюркизмов в словацком языке [17].

7. Обзор трудов чехословацких тюркологов будет неполным, если не сказать хотя бы несколько слов об исследованиях в других областях тюркологии. Библиографический перечень тюркологических работ, изданных в период 1963—1973 гг., насчитывает 115 названий (сюда не включено более двухсот рецензий на научные публикации). Заметное место в этом перечне занимают работы исторические (58, из них две — большие монографии), прежде всего — посвященные периоду османско-турецкого господства в Словакии. Обработка турецких исторических грамот и других письменных памятников является неотложной задачей тюркологов в Чехословакии. Работ литературно-исторического характера издано 22, исследований по фольклору — 8, языковедческих трудов 27.

---

[10] L. Hřebíček, Turkish grammar as a graph, «Dissertationes Orientales», 31, Prague, 1971.

[11] См., например: L. Hřebíček, Euphony in Abay Kunanbayev's poetry, «Asian and African studies», I; его же, Aestetic function of vocal harmony in the poetry of Abay Kunanbayev, AO, 32, 1964, стр. 100—103; Л. Гржебичек, О некоторых количественных свойствах лексики Абая, «Вестн. АН КазССР», 4, 1964.

[12] L. Hřebíček, Russian borrowings in Kazakh, AO, 34, 1966.

[13] См.: L. Hřebíček, Some features of the Turkish generative system, «Linguistics», 28, Hague, 1966; его же, Several Turkish homonymous constructions and their generative description, AO, 39, 1971; его же, The phonological structure of the Turkish words, «Asian and African studies», III, Bratislava, 1967; его же, A method of semantic analysis of the Turkish text, AO (в печати).

[14] L. Hřebíček, The phonemic structure of the first syllabe in several Turkic languages, Szeged, 1970; его же, The Turkic first syllabe its correlation analysis, AO, 41, 1973; его же, The structure of the Uzbek stem-morpheme, AO, 35, 1967.

[15] Й. Крамский, К проблеме артикля, ВЯ, 1963, 2; J. Krámský, Some ways of expressing the category of determinedness, «Travaux linguistiques de Prague», 3, 1968; его же, The article and the concept of definiteness in languages, The Hague — Paris, 1972; его же, A typological study of morphological homonymy in language, «Acta linguistica Hafniensia», X, 1, 1972.

[16] Рец. на кн.: Ll. B. Swift, A reference grammar of modern Turkish (AO, 32, 1964); A. Sjoberg, Uzbek structural grammar (там же); R. J. Herbert, N. Poppe, Kirghiz manual (AO, 34, 1966).

[17] См.: М. Одран, Тюркские лексические элементы в словацком языке. АКД, Баку, 1969.

На языках мирового значения публикуются научные статьи чехословацких тюркологов, в распоряжении которых имеются два научных журнала: «Archív orientální» (с 1953 г. его издает Чехословацкая Академия наук) и «Asian and African studies» (с 1965 г. издает Словацкая Академия наук).

Одной из важнейших задач является популяризация научных знаний. Деятельность чехословацких тюркологов в этой области разнообразна и широка. Общее число популярных, научно-популярных и информативных публикаций достигло ста, причем восемь из них — книги. Переводы художественных произведений малых форм (с турецкого, казахского, азербайджанского, узбекского, татарского и шорского языков), биографии советских тюркоязычных писателей, репортажи, различные сообщения, информации и т. п. печатаются в популярном ежемесячном журнале «Nový Orient» (издается с 1945 г.) и некоторых других журналах и газетах.

Как показывает краткий обзор, чехословацкие тюркологи ведут разностороннюю и многообразную работу. Охватывая все области тюркологии, их деятельность развивается главным образом в тех направлениях, которые связаны с потребностями изучения истории Чехословакии. Мы стремимся также ознакомить широкие круги общественности с результатами научных изысканий, информировать об актуальных проблемах и событиях современной Турции, способствовать культурному сближению с тюркоязычными народами Советского Союза.

Перевел с чешского *Л. Н. Смирнов*

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 1 1975

РЕЦЕНЗИИ

«Словник української мови», I, А—В. — Київ, 1970;
II, Г—Ж, 1971; III, З, 1972; IV, І—М, 1973.

Славянская лексикография за последние десятилетия имеет ряд несомненных достижений, особенно в области создания толковых словарей национальных языков. В это время были завершены большие толковые словари русского [1], польского [2], чешского [3] и других языков. Подготавливаются и издаются словари болгарского, словацкого, сербскохорватского, белорусского и словенского языков. С 1970 г. начал выходить в свет толковый словарь украинского языка — «Словник української мови», издаваемый Институтом языковедения им. А. А. Потебни Академии наук УССР.

Создание и выпуск в свет первых томов толкового словаря украинского языка — большое событие в украинской лексикографии и лексикологии. Это — первый толковый словарь, отражающий лексико-семантическое богатство украинского языка от эпохи И. П. Котляревского до наших дней. Необходимость такого собрания лексико-фразеологического материала ощущалась давно: идея создания большого словаря украинского языка толкового типа зародилась в передовых научных и культурных кругах еще в прошлом столетии. Но в это время для осуществления этой идеи не было ни соответствующих условий, ни материальной базы. Украинская лексикография, ведущая свое начало от известных словарей П. Берынды и Л. Зизания, имеет богатый опыт составления двуязычных словарей, который, естественно, учитывается и при работе над одноязычным словарем национального языка.

Опыт составления толковых словарей нормативного типа как в Советском Союзе, так и за рубежом свидетельствует о том, что эти словари не ограничиваются фактами современного языка в узком смысле этого слова, а в той или иной мере захватывают языковое прошлое. Для этого есть серьезные основания. В понятие «современная национальная культура» входят и литературные произведения прошлого, особенно те, которые изучаются в школе, являются источником образования, средством воспитания эстетического вкуса и речевой культуры. В этих границах захват толковыми словарями языкового прошлого вполне оправдан и необходим. Недаром Л. В. Щерба, говоря о делении словарного состава на активный и пассивный, указывал, что и пассивный запас как-то входит в систему лексики современного языка. Видимо, нужда в словаре украинского языка, ориентированном на языковые факты, извлеченные из различных источников с конца XVIII в. до наших дней, ощущается сейчас наиболее остро.

Главное здесь, может быть, заключается не в строгом определении хронологических границ, а в пристальном внимании к отбору источников, из которых выбирается лексико-фразеологический материал. Думается, что эта сторона в словаре украинского языка представлена хорошо. Круг источников словаря широк и многообразен. Здесь и произведения лучших украинских прозаиков и поэтов — И. Котляревского, Т. Шевченко, И. Франко, Л. Украинки, А. Корнейчука, М. Рыльского, В. Сосюры, П. Тычины, О. Гончара и мн. др., здесь и труды К. Маркса, Ф. Энгельса и В. И. Ленина на украинском языке, здесь и переводные произведения классиков русской и польской литературы — А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя, А. С. Грибоедова, А. Мицкевича, В. В. Маяковского, А. М. Горького, М. А. Шолохова и др. Важное место среди источников занимают научно-популярные произведения, учебные пособия, журналы, газеты. В качестве справочных пособий привлечены двуязычные словари, словари русского и других славянских языков, энциклопедии, различного рода справочники и т. п.

Естественно, что даже в словаре большого объема, каким будет «Словник української мови» (10 томов), невозможно отобразить весь лексико-фразеологический состав украинского национального

[1] «Словарь современного русского литературного языка», 1—17, М.— Л., 1950—1965; «Словарь русского языка», I—IV, М., 1957—1961.

[2] «Słownik języka polskiego», 1—11, Warszawa, 1958—1969.

[3] «Slovník spisovného jazyka českého», 1—4, Praha, 1958—1971.

языка. Составители словаря и не преследуют такой цели. «Отражая современное состояние словарного состава украинского литературного языка, словарь включает прежде всего общеупотребительную лексику и фразеологию. Однако в пределах возможности в нем представлена и та часть украинской лексики, которая перешла в пассивный фонд, но в свое время употреблялась довольно широко и засвидетельствована как устной традицией, так и выдающимися мастерами слова» [4].

«Словник української мови» создается как нормативный словарь современного украинского языка. Основываясь на критериях употребительности, общеизвестности и нормативности, коллектив составителей словаря сумел из безбрежного моря лексического состава украинского языка отобрать все ценное и жизнеспособное, и это дает возможность представить верную картину современного состояния украинского языка и определенных черт его исторического прошлого.

Самую значительную часть словника словаря составляют слова основного лексического фонда, употребительные во всех функциональных стилях на всех этапах развития украинского языка: *вода, дерево, земля, дід, мати, син, брат, їсти, пити, нести, народ, мир, праця, життя, вчора, допомога* и т. п. Заметное место в словаре занимают лексические пласты, отражающие успехи в развитии культуры, науки, техники, изменения в общественно-политической жизни украинского народа в условиях советского государства: термины науки и техники — *альфа-частинки, барокамера, барограф, біомицин, біосинтез, вакуумметр, електрокардіографія, генетика*; промышленного и сельскохозяйственного производства — *бульдозер, автоген, автокар, арматура, комбайн, механізатор*; социально-политическая лексика и фразеология — *взаємодопомога, життєвість, аташе, демократія, діалектика, ескалація* и мн. др.

Стремясь отразить реальное состояние и показать непрерывное развитие словарного состава современного украинского языка, составители включают в «Словник» те слова и словосочетания из области социально-политической и специальной лексики и терминологии, которые активно функционируют в украинской прессе, в произведениях социально-политической литературы, в научно-популярных изданиях, в школьных учебниках, т. е. те слова и сочетания, которые стали широкоупотребительными. В этих новых явлениях лексики украинского языка ярко проявляется наша современность.

Входящие в общее употребление сложные и сложносокращенные слова также широко привлечены в словарь: *автовантажнік, автовізок, автогальмо, автогужовий, автодром, автоклав, автокран, автоматика, автопілот, автопоїлка, автотрансформатор, агрокомплекс, агролісомеліорація, агрометеорологія, агротехніка, гідроавіація, гідроагрегат, гідроакустика, гидробіологія, гідровідбивання, гідровузол, гідрогенізація, гідроенергетика, гідромеханізація* и т. п. В словаре нашли место первые и вторые части сложных слов: *авіа..., аеро..., авто..., водо..., военно..., вологo...*; *...водный ...воз, ...графія, ...дром* и др. Так показывается регулярность образования слов с использованием этих элементов. Можно отметить лишь отдельные слова, которые должны были бы быть включены в словарь: *автоклуб, автоспорт, автотурист, аквалангіст, акванавт, бадмінтон, газоочисний, газотурбоход, геофізик, геохімік, глобальний, гальванотерапія* и некот. др. Однако такие пропуски единичны.

Наряду с общеупотребительной лексикой современного языка в словаре представлены слова, уже вышедшие из активного употребления, слова устаревшие, историзмы, засвидетельствованные классической литературой и другими письменными источниками: *війт, волость, десяцький, повіт, земство, рало, пищаль, городничий, лицедій, двигарі, будуцина, біблія, дяк, губернатор* и т. п.

Нашла свое место в словаре и определенная часть слов из местных народных говоров. И это не случайно, так как диалектная лексика в процессе взаимодействия с лексикой литературного языка постоянно проникала и проникает в его словарный состав, обогащая его номинативными средствами и выполняя в нем различные стилистические функции. Поэтому областные слова, широко представленные в художественной литературе и публицистике как одно из стилистических средств, вводятся в словник нормативного словаря: *газда* «господин», *бакай* «яма», *студений* «холодный», *вуйко* «дядя», *банно* «сумно» и др.

Впервые в истории украинской лексикографии в словаре собран и разработан богатейший запас различного рода устойчивых и фразеологических сочетаний украинского языка. Во фразеологических сочетаниях отображены все стороны жизни народа, его хозяйственной, культурной и общественной деятельности в прошлом и в настоящем. Ср., например, набор фразеологизмов в статье на слово *життя: віддавати (віддати) життя, вкорочувати (вкоротити) життя собі, дарувати життя, життя бере (взяло) своє, життя нема (немає) кому, життя повернулося гострим боком, зав'язати життя, за перетворення в життя, зв'язувати (зав'язати) життя, знати ціну життю, іти в ногу з життям, не життя,*

[4] «Словник української мови», I, Від редакційної колегії, стр. V.

не на життя, а на смерть, обіграти життя, позбавити життя, покласти (зложити) життя и т. д. Фразеологические обороты сопровождаются семантической характеристикой (толкованием значения) и цитатами, показывающими функционирование оборота в языке. Обычно этот материал дается экономными, но вполне достаточными средствами. Составители словника избежали смешения фразеологических оборотов и словосочетаний-терминов, выделив последние в особый раздел словарной статьи. Однако как и в семнадцатитомном «Словаре современного русского литературного языка», фразеологические обороты в «Словнике української мови», как правило, даются вместе с тем или иным значением слова в его свободном употреблении. Вряд ли это может быть названо лучшим способом размещения и разработки фразеологического материала. И если нельзя согласиться с теми, кто предлагает вывести всю фразеологию за пределы лексической части словаря, отведя ей отдельные тома [5], то все же надо признать целесообразным все фразеологические обороты разрабатывать в конце словарной статьи, не связывая их с определенными значениями слова.

Широкий охват лексики, включаемой в «Словник», не приводит к отказу от демонстрации языковой нормы. Этим только утверждается, что современная норма — сложное и противоречивое явление, что с нормативными элементами взаимодействуют различные сферы языка — от разговорно-просторечных до устарелых и диалектных. В лексической системе языка постоянно проявляются отношения устойчивых и подвижных элементов, центральных и периферийных, территориальных и возрастных. Все это определяет словоупотребление одного времени.

Наше время требует от любого словаря современного литературного языка, в том числе и от словарей фундаментальных, каким является словарь украинского языка, чтобы он был активным научным пособием по культуре речи. Словарь украинского языка многими своими сторонами выполняет эту роль, являясь в известной степени словарем «для пользования (и учения) всех» [6].

Нормативность «Словника» достигается и отбором слов и фразеологических сочетаний, и раскрытием путем толкования значений слов, и показом основных грамматических форм и ударения, и приведением образцовых цитат, иллюстрирующих особенности функционирования слова в языке. Принцип нормативности «Словника» нашел выражение и в стилистической квалификации отдельных слов и целых лексических категорий путем применения системы стилистических помет. В словаре принята достаточно широкая сетка стилистических и специальных помет, свидетельствующая о многогранности и разнообразии словарного состава украинского литературного языка, о его широких выразительных и эмоционально-экспрессивных возможностях. Это помогает пользующемуся словарем отобрать наилучшие слова, соответствующие определенной ситуации. Всего помет насчитывается более 30; это пометы стилистические: урочисто-піднесені, заневажливо-лайливі, книжні, народно-поетичні, жартівливо-іронічні и т. п.; указывающие на сферу употребления термина: ав. (авіація), архл. (археологія), астр. (астрономія), фіз. (фізика) и т. д. По широте и дробности стилистических квалификаций «Словник української мови» ближе всего стоит к «Толковому словарю русского языка» под ред. Д. Н. Ушакова. Стилистическая оценка лексики в «Словнике» проведена с позиций современного словоупотребления.

В обработке лексического состава в «Словнике української мови» нашли отражение достижения украинской, русской и всей славянской лексикографии, имеющей вековые традиции. Это благотворно сказалось прежде всего на разработке семантики включенных в словарь слов. Способы филологического толкования слова в «Словнике» детально раскрывают его семантическое значение, стремятся представить детальную семантическую характеристику лексики. При этом отдельное слово подается не изолированно, а по возможности в его связях с другими компонентами фразы или словосочетания, в его отношениях с другими словами. Тем самым «Словник» стремится показать элементы системных отношений в лексике украинского языка.

Для характеристики значений слов применяются описательные толкования с указанием основных признаков предметов или явлений, например: *брова́* «дугаста смужка волосся над очною ямкою», *ангі́на* «гостре запалення слизової оболонки зіва, закрема мигдаликів глотки». Широко применяется способ синонимических определений, при котором значение слова сопоставляется со словами тождественными или близкими по значению (*атраме́нт* «чорнило», *гонбрство* «самолюбство»). Эти типы определений нередко сочетаются. В некоторых определениях значений толкование сопровождается указанием на синонимы и антонимы, например: *акти́вний* «енергійний, дія́льний; протилежне пасивний»; *абориге́н* «корінний житель країни або місцевості; тубілець, автохтон». Ши-

[5] См.: А. М. Бабкин, Новый академический словарь русского языка. Проспект, Л., 1971, стр. 34—38.

[6] В. И. Ленин, Полн. собр. соч., 51, стр. 192.

рокое использование в толкованиях синонимов и антонимов важно не только с точки зрения показа системных отношений в современной лексике, но и с точки зрения практической; оно может послужить хорошей основой для создания специальных словарей синонимов и антонимов украинского языка.

Распространенные названия животных, растений, плодов, металлов, минералов, химических соединений, лекарств, явлений природы, научных и специальных терминов представлены в общелитературном их понимании, однако исходя из их определения в авторитетных научных источниках, энциклопедиях, справочниках и т. п. См., например: *гідра́т* «хімічна сполука, що містить молекули води»; *дере́н* «кущ або дерево родини кизилових з їстівними кислувато-солодкими ягодами; кизил», *дрохва́* «великий перелітний птах степових і пустельних місць». Использовав достижения современного языкознания и опыт отечественной и зарубежной лексикографии в семантической разработке слов, составители «Словника української мови» внесли в эту область много нового, предложив более рациональные способы истолкования некоторых разрядов производных существительных, прилагательных и других категорий лексики.

При характеристике лексического значения и особенностей функционирования слов общеупотребительной лексики, в том числе многозначных слов, обладающих разветвленной семантикой, «Словник» стремится показать весь наличный в современном украинском языке комплекс их значений и оттенков значений, демонстрируя тем самым многообразную жизнь слова в языке. Многие словарные статьи по точности и исчерпанности интерпретации значений и оттенков, по полноте грамматической характеристики, по тонкости стилистического анализа, по обилию фразеологического материала с полным основанием могут быть названы лексическими этюдами об особенностях функционирования того или иного слова. Так, в статье на слово *бити* выделено 14 значений, десятки оттенков значений, переносных и образных употреблений, множество фразеологических сочетаний. Все это подтверждается хорошо подобранными цитатами из лучших произведений художественной, публицистической и научно-популярной литературы. Иллюстративный материал не только подтверждает толкование того или иного слова, но часто дополняет его семантическую характеристику, показывает специфику употребления и сферу жанрово-стилистического функционирования, особенности его сочетаемости и связей с другими словами. Многомиллионная картотека, на основе которой создается словарь, дает возможность отбора цитат с учетом соблюдения нормативно-стилистической направленности издания.

«Словник української мови» отличается цельностью и последовательностью в построении словарных статей, все вышедшие тома характеризуются внутренним структурным единством, что нелегко соблюсти в многотомном издании, над которым работает большой коллектив составителей и редакторов. Украинским лексикографам это удается.

Создание большого толкового словаря национального языка — это своего рода подведение итогов развития его словарного состава за определенную эпоху, это итог нормирования его лексического фонда. Эпоха, в которую создается толковый словарь украинского языка, определяется ленинской национальной политикой, обеспечившей свободное развитие и расцвет украинской национальной культуры и литературного языка. Бурное развитие и обогащение словарного состава украинского литературного языка, его семантической системы, совершенствование его стилистических норм — все это требовало создания лексикографического труда, в котором были бы отражены эти процессы. «Словник української мови» призван выполнить эту задачу. Выход в свет первого толкового словаря украинского языка явится большим событием не только в языкознании, но и в истории украинской культуры в целом.

«Словник української мови» — это фундаментальное издание, которое позволит углубить понимание украинского литературного языка нашего времени, представит в наиболее полном объеме его семантическую структуру, лексический запас, фразеологию, сведения по грамматике, стилистике. Выход в свет этого труда создаст надежную основу для изучения русско-украинских языковых связей и взаимовлияний, для постановки и исследования общеславянской проблематики. Хочется пожелать дружному коллективу украинских лексикографов во главе с акад. И. К. Белодедом успехов в их многотрудном и благородном деле — завершении издания большого толкового словаря современного украинского языка.

Ф. П. Сороколетов

В. И. Абаев. **Историко-этимологический словарь осетинского языка.** II: L—R, Л., 1973. 448 стр.

Недавний выход в свет второго тома историко-этимологического словаря осетинского языка В. И. Абаева, безусловно, является большим событием в нашей лингвистической научной жизни. Этот труд служит долгожданным продолжением не менее капитального тома I названного словаря (М.— Л., I: А — К', 1958, 655 стр.). Пятнадцатилетний промежуток времени между публикацией обоих томов был заполнен интенсивной работой автора над разнообразными проблемами и аспектами этимологических исследований. На первом месте назовем здесь европейские связи осетинского и его предшественников — аланского и скифосарматского языка [1]. Как и следовало ожидать, новый том названного словаря отразил итоги также этих разысканий автора (см. «Предисловие», стр. 4).

Более двадцати лет работы по подготовке осетинского историко-этимологического словаря следует оценивать не только как проявление устойчивого индивидуального интереса к этому предмету со стороны самого ученого, но и как довольно верное отображение той выдающейся роли, которую этот объект исследования играет в науке. Этнолингвистическая история осетин — сюжет, изобилующий яркими контрастами: маленький народ, населяющий две небольшие республики на Кавказе, и одновременно — продолжатель языка многочисленных скифских племен, занимавших некогда огромные пространства от Северного Причерноморья до глубин Азии, молодая письменность и древнейшая история, праязыковая древность, великолепно уживающаяся с контактными явлениями, усвоенными от аборигенных языков Кавказа,— все это и многое другое сообщает осетинскому языку и прежде всего осетинской этимологии как объекту исследования значительность и неповторимое своеобразие. Читателям «Вопросов языкознания» излишне внушать мысль, что именно в лице В. И. Абаева эта актуальная область сравнительно-исторического языкознания получила своего яркого и вдохновенного исследователя. Равномерно рецензировать новый труд В. И. Абаева — нелегкая и едва ли выполнимая задача, особенно для неиранист а. Ни этимолог-славист, ни германист, ни специалист по этимологии латинского языка (список этот можно было бы продолжить) не пройдут мимо рецензируемого словаря осетинского языка. Напротив, есть все основания для того, чтобы считать, что этот словарь, как и другие работы В. И. Абаева, вызывает острый интерес у самых различных специалистов, влияют на науку, входят в ее обиход, способствуют познанию новых фактов и открытию новых путей. Причина кроется в такой привлекательной черте Абаева-ученого, как необыкновенная широта исследовательского кругозора, перспективность исканий, умение работать «на стыке» проблем и дисциплин и — не в последнюю очередь — умение увлекательно и доступно излагать результаты своих исследований.

Содержание нижеследующих заметок рецензента ограничивается главным образом оценкой элементов славянской и русской этимологии в новом II томе словаря В. И. Абаева, хотя мы позволяем себе высказать отдельные замечания также по иранской и индоевропейской этимологии у В. И. Абаева. Как уже сказано, словарь по праву вызывает у нас острый интерес, т. е. желание спорить с автором по одним вопросам и одновременное признание его правоты по другим вопросам. Свои замечания того и другого рода мы располагаем поэтому в свободном порядке, ориентируясь для удобства на порядок изложения в словаре.

Для начала отметим хороший академический (издательский и полиграфический) уровень этой новой публикации, которая осуществлена в духе лучших традиций русской и советской науки. Для тех, кто из своего опыта знает, какое это сложное дело — набор и корректура книги по этимологии, понятны и простительны не столь уж многочисленные опечатки, правда, не во всех случаях учтенные в приложенном списке, например: *Werkzengen* (стр. 100), надо *Werkzeugen*; венг. *mű* (стр. 113), надо *mű*; *šemę* (стр. 138), надо *sěmę*; *Bárcsi* (стр. 352, дважды), надо *Bárczi*; литов. *grębiu*, *grębti* (стр. 408), надо *griebiu*, *griebti*.

Что касается лексики славянских и прежде всего восточнославянских языков, то она всегда занимала видное место в этимологических исследованиях автора. Достаточно вспомнить его открытие этимологии русск. диалектн. (новг.) *бáвись* «одногодок», эффектное и в плане лингвистической географии (путь через коми **davis*, с севернопермяцким переходом *v* < *l*, из осет. *dalis* «годовалый барашек» от иран. **dāriša-*), украсившее собой I том рецензируемого словаря (см. стр. 655). Таких находок и прозорливых комментариев, особенно по русским диалектным словам, там много. Внимание к этому неиранскому материалу характерно и для II тома словаря В. И. Абаева. В большинстве своем эти наблюдения и сравнения полезны, они касаются часто неясной лексики русского языка,

[1] См. прежде всего книгу: В. И. Абаев, Скифо-европейские изоглоссы. На стыке Востока и Запада, М., 1965.

прояснению которой автор так или иначе способствует, даже если мы не со всеми его сравнениями согласны. Так, русск. *мосбл* «(большая) кость» он сближает с осет. *mæsunʒæg* «кулак» (стр. 104), но русское слово объясняется как суффиксальное производное **mot-sl-* от основы глагола *мотать*, ср. диалектные варианты *мотолыга*, *моклышки*, *мостолыга*[2]. Как любопытное отметим сближение осет. *molun* «выигрывать; обыгрывать» с русск. *мылить* «обманывать, дурачить, морочить», чеш. *mýliti*, польск. *mylić* в близких значениях (стр. 129). Русск. *мурá* «крошево; крошеный хлеб в квасу» относится к осет. *mūr/moræ* «кроха, крошка, крупица» (стр. 132—133).

«Из кавказского идет, возможно, ст.-слав. *mostъ* первоначально „утрамбованная площадка, пол“»,— пишет автор в связи с осет. *mūs/mos* «площадка для молотьбы; ток», относя его к западнокавказским, ср. абаз. *mašw* «ток» (стр. 133). Возможно, это справедливо применительно к осетинскому, но гипотеза западнокавказского происхождения общеславянского слова *mostъ* не вызывает сочувствия. Не говоря о сомнительном результате всех имевших до сих пор место попыток выявить столь древние лексические общности славянских языков с Кавказом, из существующих противоречивых этимологий этого славянского слова все-таки наиболее вероятна (и проста) этимология Брюкнера из **mot-tos* от *метать*[3], ср. ясный след этого в древнерусском обороте *мостъ переметати* «разобрать, разломать мост»[4].

Далее В. И. Абаев указывает на параллелизм образований осет. *næwynon/(æ)næwinon* «ненавистный; кого не хочется видеть» и русск. *ненавидеть* (стр. 175). Несколько случайно выглядит его сближение приставочных сложений осет. *nymūʒyn/nimoʒun* «показывать на кого-либо; доносить; рекомендовать» (иранская праформа **ni-maiš-*) и русск. *намекать* (стр. 205). Русское слово трудно отрывать от *метить*, *на-метить*. Любопытна связь осет. *pys* «пустой; пустотелый; неплотный» со слав. *pustъ*, которую автор упоминает с сомнением (стр. 246). В первые предлагается сближение осет. *p'aræ*, *p'arwæ* «кожица; чешуя» (иран. **parwa-*) и слав. **pelva*, откуда русск. *полóва* «мякина», ст.-слав. *плѣвы* мн. и т. д. (правда, при этом В. И. Абаев не совсем точно называет церковнославянскую форму *плева* русской; сближение квалифицируется как древняя скифо-славянская изоглосса (стр. 249). Осет. *p'æpæz* «тесло (топорик с лезвием, перпендикулярным к топорищу)» относится «к несохранившемуся слав. **po-nožь* или **po-noza*; ср. *нож*, *за-нова* и многочисленные образования с приставкой *ро-*» (стр. 249), что в целом крайне сомнительно, как понимает и сам автор.

Довольно темное осетинское слово *p'æzzy/p'æzu* «ночной кошмар (мыслится как некое чудовище, которое, являясь к спящему, давит и душит его)» после крайне сомнительных финно-угорских сближений подвергается не менее сомнительному сравнению со словен. *pozòj*, серб.-хорв. *pozoj*, нижнелуж. *pózoj* «чудовище, змей, дракон» (стр. 250). Славянское слово имеет очень четкую структуру славянского префиксального сложения, осетинское продолжает оставаться темным, поэтому говорить здесь о скифо-славянской изоглоссе преждевременно; возможно, осетинское слово с его специфическим значением «ночной кошмар; то, что душит» явилось порождением совсем иных языковых отношений, ср., например, греч. πιέζω «жать, давить, теснить, угнетать, мучить»?

Небольшой алфавитный разряд слов на *p'* начальное (стр. 249—251: одиннадцать словарных статей) вообще, надо сказать, обращает на себя внимание рядом темных слов и соответственно — относительно большим количеством неудачных или проблематичных авторских этимологий. Кроме объективных затруднений в виде неясности структуры и происхождения слов, есть случаи, когда автор оперирует здесь не очень точными сравнениями и формами из славянских языков. Например, осет. *p'olci* «платье женское» в словаре объясняется «может быть, из праславянского **poltje* (русск. *платье*), производного с собирательным значением от **poltъ*, русск. *плат...*» (стр. 251). Но если бы *платье* и *плат* восходили к праслав. **polt-*, это были бы не русские, а церковнославянские формы. Два мнения тут едва ли возможны, и этот вопрос нельзя решать в духе перекрестных изоглосс. Для исконнорусских форм *плат*, *платок*, *платье* возможны только праславянские реконструкции **platъ*, **platьje* (приводимая В. И. Абаевым форма праслав. **poltje* неточна, так как из нее получилось бы русское окончание **-че*, а не *-тье*). Тем не менее родственное им русск. *полотно*, действительно, восходит к дометатезной форме праслав. **poltьno*, ср. болг. *платно*, но польск. *płótno*. Отношения родства русск. *плат*, *платье* и *полотно*, близость которых не вызывает никаких сомнений ни в формальном, ни в семантическом плане, смущают исследователей до самого последнего времени и требуют, по-видимому, очень четких оговорок при определе-

[2] О. Н. Трубачев. Работа над Этимологическим словарем славянских языков, ВЯ, 1967, 4, стр. 38.

[3] См.: М. Фасмер, Этимологический словарь русского языка, II, М., 1967, стр. 662 (там же прочая литература).

[4] И. И. Срезневский, Материалы для словаря древнерусского языка, II, М., 1958, стлб. 910.

нии соответствующих праязыковых состояний, а именно: праслав. *platъ мы должны трактовать как нулевую огласовку корня при полной огласовке суффиксальной части *pl-a-t-* и, наоборот, праслав. *poltьno — как полную огласовку того же корня при нулевой огласовке того же суффикса *pol-t-*. Роль элемента *-a-* аналогична тому, что мы наблюдаем в праславянских именных вариантах *kòrkъ/*korakъ, ср. польск. *krok* «шаг», русск. *о-корок* при сербохорв. *кöрāк* «шаг».

Неясны мотивы допускаемой автором связи осет. *qæstæ* «живот, брюхо» с цслав. *гащи*, русск. *гачи* «штаны» (в словаре: ст.-слав. *gašta*, русск. *гача*, стр. 299). Ведь автор тут же признает возможность объяснения *-tæ* как позднего, осетинского наращения, значит, в этимологизируемом осетинском названии живота выделяется основа *qæs-*. Крайне недостаточно и семантических связей между значениями «ноги/штаны» и «живот». Слав. *gatji мн., конечно, скорее всего восходит к и.-е. *g^{u}ā- «идти, ходить». Русск. диалектн. *гилка* «ветка», приводимое вслед за Далем, есть не что иное, как укр. *гілка* (у Даля: юж.!) и потому продолжает праслав. *golъka, а такие русские слова, как *гиля* «лапта» и *гиля* «долговязый», восходят к праслав. *gyl-, связанному чередованием с *гулять*. Ясно, что ни одно из этих славянских слов не претендует на родство с осет. *qīl/ǧelæ* «жердь, шест; дубина», курд. *gil*, *gili* «ветка; стебель», как думает автор (стр. 304). Осет. *qilon* «ребенок» сближается в словаре с русск. диалектн. *килун* «молодой кабан» (там же), но это оказывается случайным созвучием, если обратить внимание на внутреннюю форму славянского слова: *kyl-unъ*, собственно «клыкастый», у кого отросли клыки» [5]. Сравнение осет. *qwælæg* «тухлый» с русск. диалектн. *кулага* «пареное тесто» (стр. 320) маловероятно ввиду явно местного и сравнительно позднего характера последнего слова. Неточна реконструкция *gur-lo для др.-русск. *гърло* (стр. 330), можно говорить либо о праслав. *gъr-dlo, либо о дослав. *gŭr-tl-, ср. литов. *gurklỹs* «зоб». От слав. *žuriti* получено именное производное *žurьba*, а не *žurba* (так на стр. 333).

Интересно отметить вслед за автором родство осет. *raǧæn* «вешалка» (первоначально — из рогов!) и слав. *rogъ* (стр. 345), тем более что до сих пор круг близких родственных связей славянского названия рога ограничивают обычно балтийскими языками (литов. *rãgas* «рог» и др.). Осет. *rajyn*, *rad/irajun*, *irad* «радоваться; быть довольным; кипеть» В. И. Абаев пытается сблизить со скиф. *rāda* < *rāta- (стр. 348), но, как правильно заметил в свое время Фасмер, «эти слова трудно отрывать от форм, приводимых на *радéть*, *ради*» [6]. Осет. ^{æ}*ræf* «стропило; рейка» В. И. Абаев связывает за пределами иранских языков только с германскими словами: нем. диалектн. *rafe* «стропило», др.-сев. *râf*, *rǣfr* «навес», швед. *raft* «стропило, рейка» (стр. 364). Однако при этом нельзя упускать из виду, по-видимому, соответствие праслав. *stropъ <*sropъ < и.-е. *k̂rāpo-, куда относятся ст.-слав. *стропъ* στέγη (Супр.), русск. диалект. *строп* «крыша, чердак, потолок», а с германской стороны также формы со следами *h-* начального — др.-исл. *hróf* «крыша, сарай», англосакс. *hróf*, англ. *roof*. На стр. 397 (в связи с осет. *ræxys/ræxis* «цепь») фигурирует очень живучая в литературе этимология русск. -цслав. *ретязь* «цепь», чеш. *řetěz* из германского, ср. др.-исл. *rekendi* «цепь». Эта этимология, однако, не может объяснить таких славянских форм, как польск. *wrzeciądz* «цепь» и др.-русск. *веретага*, которое, видимо, надо читать как *веретѧга или *веретꙗга и толковать как «цепь», ср. единственную цитату на это слово у Срезневского [7]: «Учинены се(д)мь вервій то(н)ци и крѣп҆цѣ с хитрыми недоумѣнными железными веретаги. Оп. Флор. XV в.». Вполне правдоподобно и просто это слово этимологизируется на славянской почве как *vert-ęzь: *vьrtěti, русск. *вертеть*.

Слависта должна заинтересовать словарная статья, посвященная осет. ^{æ}*rǧiw/ærǧew* «хрящ» < ир. *grīvā- < и.-е. *g^{u}rīu̯ā-, ср. перс. *girē* «шея», пехл. *grēv* «затылок», а также перс. *garīva* «холм», авест. *grīvā* «горный перевал», др.-инд. *grīvā-* «затылок», русск. *гри́ва* (стр. 409). Ввиду четкости в иранском значении «горный перевал; гора» В. И. Абаев указывает на этимологическую связь с авест. *gairi-*, др.-инд. *giri-*, слав. *gora* «гора», однако при этом он одновременно подвергает сомнению связь с и.-е. *g^{u}er- «глотать», что кажется излишним, поскольку перечисленные выше примеры позволяют взглянуть на семемы «гора» и особенно — «горный перевал» как на дочерние по отношению к «шея» (ср. аналогично франц. *col* «горлышко, воротник», а также «горный перевал, ущелье»). Помимо того, делается понятной огласовка др.-инд. *giri-*, литов. *girià* «лес» (первоначально «горный лес»), наряду со слав. *gora*, литов. *nu-garà* «спина», буквально «(часть на-

[5] О. Н. Трубачев. Происхождение названий домашних животных в славянских языках, М., 1960 стр. 67.

[6] М. Фасмер, Этимологический словарь русского языка, III, М., 1971, стр. 429.

[7] И. И. Срезневский. Материалы... I, стлб. 244.

чиная) от шеи» как присущая глагольной основе и.-е. *g^{u}er-: *g^{u}r-: *g^{u}or-. Семантическая реконструкция слав. *gora как «горный перевал» и еще раньше — «шея; горло» была бы во всяком случае достойной внимания исследователей.

В двух, по крайней мере, статьях автор говорит о развитии осетинским любопытных фонетических «славизмов»: таковы осет. *rixī/rexæ* «ус, борода» вместо ожидаемого **reš-* (ср. 416), и статья об осет. *rūs/ros* «щека», где речь идет о дигорском *i-rux* «лицо», вместо **ruš-* (стр. 432); в обоих случаях В. И. Абаев видит аналогию далеко зашедшей в известных условиях славянской фонетической эволюции $s > š > x$.

Читатель найдет здесь немало интересного также в области индоевропейской этимологии. В частности, и в этом томе автор уделяет внимание сепаратным лексическим связям латинского и осетинского. Прежде результатом таких поисков явились осетинские (скифско-сарматские) соответствия латинским словам *Vulcanus*, *mustela*; во II томе рецензируемого словаря вскрывается близкая связь между осет. *rīvad/revæd* «свободный; порожний, лишенный чего-либо» (иран. **fraivata-*) и лат. *prīvātus*, ст.-лат. *preiuat-* от *prīvāre* «лишать, освобождать» (стр. 412—413).

Собственно иранской этимологии принадлежит в настоящем словаре ее законное место. Замечаниями по поводу некоторых иранских этимологий осетинских слов во II томе «Историко-этимологического словаря осетинского языка» В. И. Абаева мы хотели бы закончить рецензию. Осет. *ræwæd/rod* «теленок; телок; телка» реконструируется как иран. **fravata-*, ср. авест. *fravaitī-* «телка», которое далее получает у автора интерпретацию как сочетание преверба *fra-* с формой от глагола «идти» (стр. 390). Однако для того чтобы стать уверенно в один ряд с таким действительно старым индоарийским названием, как осет. *wæss* «теленок» (др.-инд. *vatsá-* то же), куда его и помещает автор (там же), осет. *ræwæd* должно полнее отражать своей этимологией основную меру возраста домашних животных, т. е. понятие «год». Думается поэтому, что упомянутая выше иранская праформа данного осетинского названия теленка должна продолжать и.-е. **pro-ǵet-* «прошлый год», ср. родственные наречия времени греч. πέρυτι, πέρυσι «в прошлом году» (**per-ut-i*), др.-инд. *parut-*. Обозначение теленка как годовалого, прошлогоднего имеет ряд примеров в индоевропейской лексике, причем видную роль играет как раз и.-е. **ǵet-* «год». Помимо вышеназванных др.-инд. *vatsá-*, осет. *wæss*, производными от этого индоевропейского термина времени оказываются греч. ἔταλον, ἔτελον (начало слова: Fετ-), лат. *vitulus* и слав. *telę* < **vet-el-*, как проницательно установил В. Махек [8].

Наше внимание привлекло лексическое гнездо, которое представляется возможным интерпретировать иначе, чем в словаре В. И. Абаева. Это прежде всего осетинские слова ^{æ}*rdū* и ^{æ}*rdyn*. Осет. ^{æ}*rdū/ærdo* «волос; волосинка; шерстинка» возводится в словаре к иран. **drau-* вместе с ормури *drī*, памирскими *cīw*, *cu*, ягнобским *diraw*, *daraw*, согдийским **žawi*, сакским *dro-*, *drau-* «волос», хотари *dro* «волос», кафирским *drō* «женский локон». Выделяя именно последнее значение «женский локон», автор делает его ответственным за этимологию, которую он видит в родственной связи с др.-инд. *drav-*, и.-е. **dreu̯-* «бежать, течь», «что могло относиться не только к реке..., но образно и к ниспадающим волнами женским локонам» (стр. 401). Мысль, о том что эта красивая метафора лежит в основе данного названия волоса, вызывает сомнение. Большинство данных за то, что перед нами не поэтическое обозначение, а технический термин («волосинка; шерстинка»). Принимая во внимание естественную связь значений «волосинка; былинка; стебель; ветка; лес» (ср. русск. *вóлоть* «нить, волокно; былинка; колос», литов. *váltis* «колос овса, метелка», др.-ирл. *folt* «волос», греч. λάσιος «заросший волосами или шерстью» — **vl̥tios*), нем. *Wald* «лес», мы вправе предположить, что иран. **drau-*, исходное для осет. ^{æ}*rdū* «волос» и родственных, обозначало первоначально «дерево; лес». Косвенным указанием на такую древнюю семантику в осетинском слове может служить венг. *erdő*, др.-венг. *erdeu* «лес», которое мы склонны объяснять как заимствование из др.-осет. (алан.) **ærdau* «лес» [9]. Наличие десятков лексических заимствований древнеосетинского происхождения в венгерском, в том числе — среди основной лексики, обозначающей явления природы,— факт, известный языковедам.

Что касается осет. ^{æ}*rdyn/ærdunæ*, *ænduræ* «лук (оружие); arcus» [10], то оно возводится в словаре к иран. **druna-* сюда же перс. *durūna* «дуга; радуга, лук»,

---

[8] См. еще: V. Machek, Etymologický slovník jazyka českého a slovenského, Praha, 1957, стр. 524.

[9] Прочие этимологии венгерского слова см.: «A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára», I, Budapest, 1967, стр. 782.

[10] К сожалению, В. И. Абаев не использовал этимологии, согласно которой в русск. *радуга* отражено др.-осет. **ardunga-* < иран. **drunaka-*, см.: О. Семеренъи, Славянская этимология на индоевропейском фоне, ВЯ, 1967, 4, стр. 23.

пехл. *drōn* «лук», белудж. *drīn* «радуга», памир. *drūn*, «лук», сакск. *durna*, ср., далее, др.-инд. *druṇa-* «лук». Этимологически эти названия возводятся к *dru-* «дерево» (стр. 404), т. е. «лук» первоначально значило попросту «деревянный», с чем нельзя не согласиться. Между прочим, следует указать на такую слабо представленную в словарях, но вместе с тем достаточно распространенную форму, как русское просторечное *дрын* «дубинка, палка», которое может через праслав.* *drynъ* восходить к праформе **drūno-*, практически тождественной иран. **druna-*, откуда получено и осет. *ærdyn/ærdunæ* «лук». У осетинских слов *ærdyn* «лук» и *ærdū* «волос» (см. выше) общий не только тип метатезы *dr* > *rd*, чем ограничивает их сходство В. И. Абаев, но и этимологическая основа, а именно **dru-* «дерево, деревья, лес». Лексическое гнездо иран. **dru-/*drau-/*druna-* «дерево, деревянный» и т. д. явно подверглось разрушению в осетинском языке, поэтому историки языка и этимологи заинтересованы в наиболее полном выявлении этимологических следов этой индоевропейской основы, которые, возможно, не ограничиваются вышеназванными. Так, например, может быть, сюда же надо отнести осет. *ærdūz/ærdozæ* «поляна», а реконструируемой для него фонетической праформе **drauša-* целесообразнее приписать этимологическое значение «лесной, лесная», сюда же авестийское название горы *Draošišvant-*, в таком случае — «обильная лесом» (тесная спайка семантики «гора» и «лес» известна по многим примерам), а не «обильная полянами», как полагает В. И. Абаев, который связывает *ærdūz* «поляна» с *ærdūzyn/ærdozun* «холостить; кастрировать», т. е. «поляна» — «выхолощенный» участок леса (стр. 402). Иначе говоря, связь осет. *ærdū* и *ærdūz* так же, как и их иранских праформ **drau-* и **drau-ša-*, довольно вероятна фонетически и словообразовательно на всех хронологических уровнях. Правда, тогда оказывается изолированным осетинский глагол *ærdūzyn/ /ærdozun* «холостить» (см. выше), который в словаре объясняется из иран. **drauš-* < < и.-е. **dhreus-* «разбивать; раздроблять; увечить» (стр. 403), но кастрация и увечье — это не совсем одно и то же. Этнография свидетельствует, что древнейшим способом холощения животных было бескровное механическое повреждение семенников, в частности зажиманием, ущемлением [11]. Кроме перевязывания, для этого использовались деревянные зажимы, расщепленные планки, примитивные клещи. Об этом же говорит терминология кастрирования, например, чеш. *vykleštit* «кастрировать (с помощью деревянных клещей-зажимов!)»[12], слав. **skopiti* «скопить, кастрировать» < **skepo-* «дощечка (расщепленная), щепка» [13]. Если верны эти аналогические доводы, осет. *æ rdūzyn* (иран. **drauš-*) получило бы этимологическое осмысление как глагол, означавший «орудовать чем-то деревянным», поскольку уже обсуждавшееся **drauša-* могло значить «древесный, деревянный».

Ясно, однако, что при этом мы уже вступаем в область гипотез, т. е. в большей степени задаем вопросы, нежели получаем ответы. Этого, впрочем, и следовало ожидать. Новый том «Историко-этимологического словаря осетинского языка» В. И. Абаева дает богатую пищу для раздумий над проблемами истории слов и понятий, тем самым ощутимо продвигая дальше наши знания.

О. Н. Трубачев

---

[11] K. Moszyński, Kultura ludowa Słowian. Część I. Kultura materialna, Kraków, 1929, стр. 113.

[12] V. Machek, указ. соч., стр. 204.

[13] Там же, стр. 447.

S. Kakuk. **Recherches sur l'histoire de la langue osmanlie des XVIe et XVIIe siècles. Les éléments osmanlis de la langue hongroise.** — Budapest, Akadémiai kiadó, 1973. 660 стр. («Bibliotheca Orientalis Hungarica», XIX)

Рецензируемая книга «Разыскания по истории османского языка XVI и XVII вв. Османские элементы венгерского языка», написанная прекрасным французским языком, является плодом многолетнего труда известного венгерского тюрколога С.(Ж.) Какук, ученицы патриарха современной тюркологии в Венгрии акад. Ю. Немета.

Одним из традиционных направлений венгерской тюркологии является изучение и издание памятников турецкого

языка, связанных с историей Венгрии, венгров и венгерского языка [1]. Ж. Какук в своих обстоятельных исследованиях продолжает и развивает это патриотическое направление венгерской тюркологии.

Начиная с И. Куноша, венгерские тюркологи, понимая важность изучения османизмов в венгерском языке, опубликовали целый ряд исследований на эту тему, но ни в одном из них, как подчеркивает автор рецензируемой книги, этот сюжет не является самодовлеющим и не рассматривается со всех возможных точек зрения. Единственным трудом, анализирующим большое число слов османского происхождения, является исследование И. Книежа о славянских заимствованиях в венгерском языке [2]. Этот труд содержит, однако, только слова, вошедшие в венгерский язык через посредство южных славянских языков (стр. 5).

Ж. Какук, под благотворным влиянием своего учителя Ю. Немета, принялась в 1951 г. за изучение османизмов в венгерском языке. В целях создания необходимого надежного основания для этой работы, она стала заниматься изучением истории и диалектологии турецкого языка; в процессе этой подготовительной работы стало ясно, что изучение османизмов в венгерском может представлять интерес не только для венгерского языкознания, но в равной мере и для османистики; в силу сказанного возникла необходимость обратиться к транскрипционным памятникам турецкого языка XVI—XVII вв. (стр. 6).

Книга Ж. Какук состоит из «Предисловия» (стр. 5—6), «Введения» (стр. 7—15) и двух частей. Ч. 1 «Османские элементы венгерского языка» (стр. 17—434) открывается таблицами турецких гласных и согласных и их соответствий в венгерском, сербскохорватском, македонском, болгарском, албанском, румынском, новогреческом языках (стр. 19—21); затем следует лексикон турецких слов, в разное время заимствованных и усвоенных венгерским языком (стр. 22—434).

Лексикон, содержащий около 1300 турецких, а также арабских и персидских слов, проникших в венгерский язык через турецкий, разработан весьма тщательно с соблюдением строгих правил этимологических исследований, с обязательной справкой по соответствующим словарям и установлением исходного значения и «национальной» принадлежности каждого слова.

По наблюдениям автора исследования, турецкие заимствования венгерского словаря образуют три слоя: 1) заимствования из тюркских языков чувашского типа (булгарский или хазарский), которые проникли в венгерский язык в VII—IX вв., т. е. еще до завоевания венграми территории их нынешнего обитания; 2) заимствования, привнесенные в венгерский язык утвердившимися в стране в XI—XIII вв. печенегами и куманами-половцами, говорившими на языках кыпчакского типа; 3) заимствования из языка турок-османов, говоривших на языке огузского типа, оккупировавших в XVI—XVII вв. центральную часть Венгрии и подчинивших себе восточную часть страны и Трансильванию (стр. 5).

Ч. 2 книги посвящена сравнительно-историческому исследованию османизмов в венгерском языке в фонетическом, морфологическом и лексикологическом аспектах (стр. 435—546). Книгу заключают перечень «Сокращений» (стр. 547—566) и «Индекс» (стр. 567—656) имен нарицательных, собственных, а также топонимических названий османского, арабского, персидского, венгерского, сербскохорватского, болгарского, македонского, албанского, румынского, древнегреческого, новогреческого, итальянского, латинского, немецкого, русского происхождения, упомянутых в первых двух частях книги.

Во «Введении» подчеркивается большое значение турецких транскрипционных текстов для изучения истории фонетического и морфологического строя османского языка (стр. 7). Здесь же отмечается, что применявшиеся системы транскрипций весьма различны и число их определяется числом транскрипционных памятников; использование латинской азбуки для целей транскрибирования турецких текстов в традициях итальянской, немецкой, венгерской, польской практики столь различны, что представляют немалые трудности для исследователя. Характерной чертой транскрипционных текстов является то, что составителями транскрипционных текстов были иностранцы, для которых турецкий не был родным языком. Это обстоятельство имело свои положительные и отрицательные стороны. Положительное состояло в том, что лица, записывавшие эти тексты, не находились под привычным для турок воздействием условностей араб-

[1] См., например: J. N é m e t h, Die türkischen Texte des Valentin Balassa, «Acta Orient. Hung.», II, 1, 1953; е г о ж е, Die türkische Sprache in Ungarn im siebzehnten Jahrhundert, Budapest, 1970; S. K a k u k, Les manuscripts inédits de Kossuth sur la langue turque, «Acta Orient. Hung.», XII, 2, 1969; G. H a z a i, Das Osmanisch-Türkische im XVIII. Jahrhundert. Untersuchungen an den Transkriptionstexten von Jakob Nagy de Harsány, Budapest, 1973; Ж. К а к у к, Тюркологические исследования в Венгрии, «Советская тюркология», 1974, 1.

[2] I. K n i e z s a, A magyar nyelv szláv jövevényszavai, Budapest, 1956.

ского письма в применении к турецкому языку. Отрицательное обусловливалось несовершенным знанием турецкого языка записывавшими тексты, чем усиливалась опасность искажений и ошибок при записях. В процессе ассимиляции новых лексических элементов звуки, отсутствующие в фонетическом строе заимствующего языка, трансформируются по его фонетической модели (стр. 8—9).

Рецензируемая книга, по словам автора, «ставит своей основной целью изучение османских элементов венгерского языка; задача состоит в том, чтобы восстановить фонетический облик турецкого слова, услышанного и зарегистрированного венгром в той или иной форме в XVI—XVII вв. Такой подход оправдывает наш метод,— продолжает Ж. Какук,— который состоит в том, чтобы изучать лингвистические факты, не отделяя заимствованные слова от тех слов, которые уже не существуют или обнаруживаются в венгерском языке в единичном использовании, не отделяя имена нарицательные от имен собственных, не отделяя слова, отражающие вмешательство южнославянских языков, от таковых же, появившихся в результате прямого заимствования в венгерский язык... Слова в лексиконе расположены в соответствии с турецкими словами-основами; вариант, указанный как слово-основа, совпадает в большинстве случаев с современной формой общенародного или литературного турецкого языка. Если слово уже не существует в турецком языке, мы выбирали вариант, который в старом языке казался наиболее употребительным.

Сложные и производные слова представлены отдельными словарными статьями. Отсылки даются на элементы общего происхождения... Равным образом отсылки делаются к словам, в которых только вторая часть композита предполагается им родственной.

Среди слов-основ имеются слова, снабженные звездочкой. Эти слова, как правило, сложные; они должны были бы существовать, судя по данным венгерского, или других языков, но они не фигурируют в тех турецких источниках, которые использованы в данной работе.

В лексикон введено несколько слов, принадлежность которых к изучаемому материалу является сомнительной. Подобные примеры представлены двумя типами: в первом случае невозможно определить, попало ли это слово в венгерский язык прямо из османско-турецкого языка, или оно было заимствовано раньше (до завоевания венграми нынешней территории, или оно представляет собою печенежско-куманское заимствование); во втором случае, более распространенном, имеются в виду слова греческого или итальянского корня, усвоенные балканскими языками и через их посредство или непосредственно из греческого или итальянского языков и проникшие в венгерский язык без помощи турецкого языка» (стр. 8—9).

Каждая словарная статья состоит из трех разделов: 1) турецкое слово, заимствованное венгерским языком (в венгерской графике); 2) то же слово в графике балканских языков и со значениями, им присущими; 3) то же слово в современной турецкой графике, его значение и этимология. Османизмы венгерского языка извлечены из источников, датированных XVI—XVII вв. Эпоха турецкого господства в Венгрии началась со времени завоевания Буды (позднее: Будапешт) в 1541 г. и продолжалась до 1686 г.; в действительности же турецко-венгерские взаимосвязи установились несколько раньше.

Использовались преимущественно печатные источники на венгерском языке. Единственным исключением является труд А. Бартала (Antala Bartal), озаглавленный «Glossarium mediae et infimae latinitatis Regni Hungariae» (Budapest, 1901); он составлен на основании латинских манускриптов, обнаруженных в Венгрии. Значительную часть материала составляют исторические труды: государственные документы, парламентские протоколы, донесения послов указанной выше эпохи. Путевые заметки, донесения послов и представителей Отоманской Порты являются чрезвычайно важным материалом, как и письма некоторых пашей Буды, выполненные венгерскими писцами. Публикации архивных документов, поступивших с оккупированной в свое время турками территории, также дают обильный материал, равно как и фамильные архивы, особенно тех семей, которые находились в политических, военных и других отношениях с турками. Автор широко использовала также и литературные источники: многочисленные сочинения в прозе и еще больше в стихах, накопившиеся в течение полутора веков турецкой оккупации (стр. 10—11).

Особое внимание Ж. Какук уделила турецким транскрипционным памятникам, а также словарям, в которых отмечается «национальная» принадлежность слова; учитывались также многочисленные словарные заимствования, существующие в турецких диалектах Балкан.

Вторая часть рецензируемой книги посвящена сравнительно-историческому исследованию фонетики, грамматики и лексики фактического материала, содержащегося в его первой части. Изучение заимствований с точки зрения языка — источника заимствований — метод, достаточно хорошо известный в языкознании; до последнего времени, справедливо замечает Ж. Какук, эта возможность мало использовалась в области изучения османского языка (стр. 14).

Словарь османизмов венгерского языка разработан превосходно — он будет служить эталоном для подобного рода исследований и явится очень полезным справочным пособием для этимологических разысканий. Каждая словарная статья, технически безукоризненно построенная и набранная, представляет собой законченное монографическое описание истории слова — его фонетического облика, развития семантики османизма в его использовании в венгерском и балканских языках, выявления этимологического состава и «национальной» принадлежности слова, сопровождающихся точным описанием исторических реалий.

Этимологический состав отдельных слов, предложенный в исследовании Ж. Какук, может быть уточнен.

bayrak «drapeau» (стр. 61) — по мнению автора, слово персидского происхождения со ссылкой: «mais cf. Doerfer [Türkische und mongolische Elementen im Neupersischen, Wiesbaden, 1965], II, стр. 385». Г. Дёрфер высказался в пользу древнетюркского происхождения этого слова; подробнее о тюркской этимологии этого слова можно почерпнуть сведения из статьи М. Кёпрюлю (см.: Doerfer, II, 386), по мнению которого *bayrak* < *bad-ïr-ak*, *bad-* «погружать; вонзить; втыкать»; ср.: *sancak* «знамя» < *sanc-* «вонзать».

«*değenek* „bâton court et mince“ — Dérivation obscure ou mot d'origine grecque» (стр. 120). Однако можно предложить объяснение происхождения этого слова, основываясь на фактах турецкого языка: *değenek* > *değnek* < **degin-* (страдательно-возвратная форма от *değ-* «касаться; достигать») или *dayan-* «опираться» + *-k* — аффикс отглагольных имен существительных, обозначающих орудие действия; ср.: *dayak* ~ *tayak* «палка; опора»; *daya-* «подпирать»; *dayan-* «опираться».

«*İstanbul* — Nom de lieu d'origine grecque; cf.: eis tin polin» (стр. 200). Традиционное объяснение названия бывшей столицы Турции представляется неубедительным. Более вероятное предположение: *İstanbul* < араб. *Konstanbol* (< греч. *Konstantinopol*) с утратой начального слога *kon-* и возникновением протезы *i*, устраняющей двусогласное начало слова **stanbol* > *istanbol* > *istanbul*; ср. франц. *station* > тур. *istasyon*.

«*kara* — surnom < „noir“» (стр. 218). Маловероятно, чтобы имя собственное (например, *Kara han* — основатель династии караханидов) имело значение «черный»; во всяком случае, следовало бы указать и другие значения *kara*, более подходящие для мужского имени собственного; *kara* в ряде широко известных сочетаний имеет значение «большой; крупный»: кирг., уйг., каракалп., ногайск. и др. *kara mal* «крупный рогатый скот»; турецк. *kara ev* = *büyük çadır*[3]; татар., башк., уйг. *kara orman* «дремучий лес»; общетюрк. *kara kuş* «орел, беркут» (< «большая птица») [4]. То же следует сказать и о слове «*karaja* — nom de personne < „noirâtre“» (стр. 219).

«*Korkut* — nom de person < „terrible“» (стр. 246). Наиболее вероятной среди ряда существующих этимологий этого имени следует признать следующую: *korkut* «увещеватель; проповедник; наставник» [5].

«*lakïrdï* „parole“; „discoure; parole vaine“» (стр. 261). Убедительную этимологию этого слова предложил Н. К. Дмитриев [6].

«*oda* „compagnie de janissaire“» (стр. 306); происходит из согд. *ōtāk* «страна» (ср.: *jurt* «страна»; «юрта; дом»); оно известно в тюркских, монгольских, тунгусских языках [7].

«*öküz* — surnom; *öküz* „boeuf“, „taureau“» (стр. 315); *öküz* < кучанск. *okso* [8].

«*pastïrma* „viand pressée et séchée“. Derivé du verbe *basdïr-* „faire presser“» (стр. 319—320). Есть более вероятное предположение о происхождении этого слова, возводящее его к греческому языку [9].

«*paša* „pacha“; *baša* „bacha des janissaire“... Mot d'origine discutée» (стр. 320—321). Автор отдает предпочтение предположению, возводящему слова *paša* к персидскому *padišah*. Следует различать *paša* и *baša*, второе из них, по всей вероятности, произошло в результате сложения

---

[3] «Tarama sözlüğü», IV, Ankara, 1969, стр. 2259.

[4] См. еще: O. Pritsak, *Qara*. Studie zur türkischen Rechtssymbolik, сб. «Z. V. Togan'a armağan», İstanbul, 1955.

[5] См.: «Книга моего деда Коркута. Огузский героический эпос». Перевод акад. В. В. Бартольда. Издание подготовили В. М. Жирмунский, А. Н. Кононов, М.— Л., 1962, стр. 164; см. также: L. Bazin, Le nom propre d'homme «Qorqut». Discussion étymologique, UAJb, 36, 3—4, 1964.

[6] Н. К. Дмитриев, Строй тюркских языков, М., 1962, стр. 55—58.

[7] См.: Б. Я. Владимирцов, Общественный строй монголов, Л., 1934, стр. 133; ср.: G. Clauson, An etymological dictionary of pre-thirteenth-century Turkish, Oxford, 1972, стр. 46; G. Doerfer, указ. соч., II, стр. 66—69.

[8] См.: G. Clauson, The Turkish elements in 14-th century Mongolian, «Central Asian journal», V, 4, 1960, стр. 307, 310; D. Sinor, Some Altaic names for bovines, «Acta Orient. Hung.», XV, 1—3, 1962, стр. 315—324.

[9] См.: М. Фасмер, Османские этимологии, «Живая старина», II—III, СПб., 1909, стр. 92.

baš+aǧa — высший чин в янычарском табеле о рангах [10].

Исследование фонетического строя османских заимствований в венгерском языке (стр. 437—506) начинается с описания турецких гласных и согласных и их преобразований в процессе заимствования. Для того чтобы преодолеть трудности при определении качества и характера фонем османского языка XVI—XVII вв. по транскрипционным текстам, записанным латинской азбукой преимущественно в применении к практике венгерского языка, необходимы специальные знания, отменное трудолюбие и многолетний опыт. Ж. Какук, обладая всеми этими достоинствами, представила точное описание османской фонетики в связи с адаптацией османских заимствований венгерским и балканскими языками. Особое внимание она уделила усвоению и передаче на письме тех османских звуков, которые отсутствуют в ряде языков, воспринявших эти заимствования и, естественно, не имевших специальных литер для передачи таких звуков.

В разделе «Морфология» (стр. 507—515) кратко рассматриваются склонение, образование формы множественного числа, спряжение некоторых глагольных форм, словообразование имен и глаголов, сложные слова.

В разделе «Лексика» (стр. 516—546) анализируются усвоенные венгерским языком имена нарицательные и собственные (антропонимы и топонимы) турецкого, персидского, арабо-персидского, арабского, греческого, итальянского, славянского происхождения. Раздел завершается анализом различных слоев османско-турецких элементов венгерского языка в плане установления языков и диалектов — источников заимствований (стр. 527—546).

Книга Ж. Какук, опирающаяся на тщательно продуманную методику, основывающаяся на большом фактическом материале, который анализируется на фоне аналогичных данных ряда балканских языков, является образцовым исследованием в трудной области сравнительно-исторического изучения заимствованной лексики в словарном составе неродственных языков.

А. Н. Кононов

[10] См.: G. Doerfer, указ. соч., II, стр. 423. Ср. также: И. Блашкович, Тюркологические исследования в Чехословакии, ВЯ, 1975, 1, стр. 124.

«Хрестоматия по истории русского языкознания»,
сост. Ф. М. Березин, под ред. чл.-корр. АН СССР
Ф. П. Филина. — М., изд-во «Высшая школа», 1973, 503 стр.

Для развития любой науки важны исследования, в которых раскрывались бы причины и условия ее зарождения, была бы показана борьба и преемственность взглядов и точек зрения на различных этапах ее истории, смена концепций и гипотез, обогащение и совершенствование методики исследования, обобщался бы опыт лучших ее представителей, характеризовалось современное состояние науки и указывалось на нерешенные еще задачи. Не составляет в этом отношении исключения и языкознание. Создание исследований, призванных осветить с марксистско-ленинских методологических позиций историю отечественного языкознания, является одной из актуальных задач советских языковедов.

В советское время проблемы истории отечественного языкознания привлекали внимание ряда ученых. Разделы по истории русского языкознания, хотя по необходимости и краткие, имеются в немногочисленных пока монографиях и учебных пособиях, содержащих исследования или обзоры развития лингвистической мысли в различных странах [1]. В этой области трудились Л. В. Щерба, Л. А. Булаховский, В. В. Виноградов, Н. С. Поспелов, П. С. Кузнецов, С. Б. Бернштейн, Л. Р. Зиндер, М. И. Матусевич, Н. С. Чемоданов и другие крупные ученые [2].

[1] См., например: Р. О. Шор, Краткий очерк истории лингвистических учений с эпохи Возрождения до конца XIX века, в кн.: В. Томсен, История языкознания до конца XIX в., М., 1938; Я. В. Лоя, История лингвистических учений. Материалы к курсу лекций, М., 1968; М. В. Черепанов, Общее языкознание, Саратов, 1969; В. А. Звегинцев, История языкознания XIX и XX веков в очерках и извлечениях, М., ч. I—1964, ч. II —1965; Н. А. Кондрашов, Общее языкознание (Курс лекций), ч. 1 — История языкознания, М., 1972.

[2] См., например: Л. В. Щерба, И. А. Бодуэн де Куртенэ и его значение в науке о языке, в кн.: Л. В. Щерба, Избр. работы по русскому языку, М.,

В последнее время опубликованы статьи и брошюры Ф. П. Филина, Э. И. Коротаевой, А. А. Леонтьева, М. В. Черепанова, В. И. Кодухова, В. В. Колесова и ряда других исследователей [3]. Создано несколько специальных монографий, сборников и хрестоматий [4].

Рецензируемая книга наиболее полно освещает историю языкознания в России и по охвату материала, и по разнообразию проблематики. В ней история русского и общего языкознания представлена в значительно более широких, чем это было сделано в предшествующих работах, хронологических рамках: обзор русской лингвистической мысли начинается с эпохи Киевской Руси и доводится до двадцатых годов XX в.

Книга задумана как учебное пособие для студентов филологических вузов и университетов. Хрестоматийная часть ее представляет собой публикацию фрагментов из лингвистических трудов русских языковедов. С целью более полного и верного ознакомления с концепциями ученых в хрестоматии приводятся не выборочные цитаты, а, как правило, более или менее самостоятельные по своему значению и содержанию извлечения из книг или статей. Книга содержит также развернутые очерки, в которых приводятся краткие биографические данные, даются обстоятельные характеристики и критический разбор взглядов тех языковедов, отрывки из трудов которых представлены в хрестоматии.

Автор очерков и составитель хрестоматии Ф. М. Березин следующим образом формулирует задачи, к выполнению которых он стремился, готовя свою книгу: «1) ознакомить читателя с постановкой и решением наиболее важных общелингвистических и сравнительно-исторических проблем в русском языкознании; 2) показать сходство и различие в решении языковедческой проблематики; 3) изложить взгляды представителей различных направлений и лингвистических школ» (стр. 3).

Несомненным достоинством книги Ф. М. Березина является то, что в ней представлены извлечения из тех работ русских языковедов, которые у нас не переиздавались и в настоящее время малодоступны и малоизвестны читателям. Так, например, впервые после Октябрьской революции опубликованы отрывки из книги К. П. Зеленецкого «Система и содержание философского языкоучения с приложением к языку русскому» (Одесса, 1841). Ни в одной из предшествующих работ по истории русского языкознания не упоминались лекции А. А. Потебни «Основы поэтики» и «Психология поэтического и прозаического мышления», впервые опубликованные в Харькове в 1910 г. Наряду с фрагментами из трудов известных исследователей автор включил в хрестоматию ряд интересных отрывков из работ полузабытых русских лингвистов, таких, как И. С. Рижский («Введение в круг словесности», 1806), И. Орнатовский («Новейшее начертание правил российской грамматики, на началах всеобщей основанных», 1810), И. Ф. Тимковский («Опытный способ к философическому познанию российского языка», 1811), Л. Г. Якоб («Начертание всеобщей грамматики для гимназий Российской империи», 1812) и др. Деятельность наиболее крупных представителей русской науки, основателей лингвистических школ и направлений описываются, таким образом, не изолированно, а наряду с характеристикой научных трудов других лингвистов, их современников. Тем самым более точно восстанавливается объективная картина отечественного языкознания и научная атмосфера XVIII—XIX вв., более четко определяется место каждого из этих ученых в истории науки.

1957; Л. А. Булаховский, Александр Афанасьевич Потебня, Киев, 1952; В. В. Виноградов, Русская наука о русском литературном языке, «Уч. зап. [МГУ]», т. 3, кн. 1, вып. 106, 1946; его же, Из истории изучения русского синтаксиса, М., 1958; Н. С. Поспелов, Учение о частях речи в русской грамматической традиции, М., 1954; С. Б. Бернштейн, Борис Михайлович Ляпунов, ВЯ, 1958, 2; Л. Р. Зиндер, М. И. Матусевич, К истории учения о фонетике, ИАН ОЛЯ, 1953, 1; Н. С. Чемоданов, Сравнительное языкознание в России, М., 1956.

[3] См., например: Ф. П. Филин, Проблемы славянского этногенеза в трудах А. А. Шахматова, ИАН ОЛЯ, 1964, 3; Э. И. Коротаева, Университетская и школьная деятельность А. А. Шахматова, РЯШ, 1964, 3; А. А. Леонтьев, Бодуэн де Куртенэ и французская лингвистика, ИАН ОЛЯ, 1966, 4; М. В. Черепанов, Отражение принципов Казанской лингвистической школы в исследованиях Н. В. Крушевского, Саратов, 1969; В. И. Кодухов, Казанская лингвистическая школа, «Уч. зап. Казанск. пед. ин-та», 90 — Вопросы теории и методики изучения русского языка, 1971.

[4] См., например: «И. А. Бодуэн де Куртенэ (1845—1929)», М., 1960; В. В. Щеулин, В. И. Медведева, Хрестоматия по истории грамматических учений в России, М., 1965; Ф. М. Березин, Очерки по истории языкознания в России (конец XIX — начало XX в.), М., 1968; «Русское языкознание в Петербургском — Ленинградском университете», под ред. проф. Н. А. Мещерского, Л., 1971; В. В. Щеулин, Хрестоматия по истории грамматических учений в Советском Союзе, Ростов-на-Дону, 1972.

Материал в книге располагается в хронологической последовательности. Он сгруппирован по четырем разделам, причем Ф. М. Березин в кратком предисловии «От составителя» (стр. 3—4) специально оговаривает, что предлагаемая им периодизация условна и используется лишь для того, чтобы «расчленить непрерывный исторический процесс на определенные ступени по общности тематики, внести в исторический ход развития языкознания определенную стройность» (стр. 4).

Первый раздел книги («Начальный период русского языкознания», стр. 5—53) автор ограничивает серединой XVIII в.— двадцатыми годами XIX в. Хрестоматийная часть открывается фрагментами из «Российской грамматики» М. В. Ломоносова (1755) и завершается извлечениями из грамматики Л. Г. Якоба (1812). Кроме того, представлены тексты из работ И. С. Рижского, И. Орнатовского, И. Ф. Тимковского. В этот же раздел Ф. М. Березин вполне оправданно включает отрывок из трактата А. Н. Радищева «О человеке, о его смертности и бессмертии», в котором излагаются взгляды мыслителя-философа на проблему взаимоотношения языка и мышления.

Хронологические рамки очерка, предваряющего этот раздел, являются более широкими. Историю русского языкознания автор начинает с краткого изложения первых сведений о русской грамматической науке, относящихся к X—XI вв., с рассказа о появлении грамматик Иоанна Дамаскина, Лаврентия Зизания, Мелетия Смотрицкого и др., возникших на основе греко-римской традиции и подготовивших почву для последующей деятельности русских языковедов. Затем в очерках обстоятельно характеризуются лингвистические труды М. В. Ломоносова и других ученых. Автор справедливо отмечает преемственность материалистических воззрений М. В. Ломоносова и А. Н. Радищева в решении вопроса о природе языка и мышления. Несмотря на то, что эти воззрения ввиду их малой известности в то время и в силу исторических условий не были развиты в трудах языковедов, следовавших непосредственно за М. В. Ломоносовым и А. Н. Радищевым, они оказали большое влияние на развитие отечественной науки о языке. «Начиная с ломоносовского периода,— подчеркивает Ф. М. Березин,— характерной особенностью русского языкознания в освещении общеязыковедческой проблематики была ее философская направленность, идея материального единства мира, заключающая в себе мысль о том, что все явления мира, в том числе и язык, могут быть рассмотрены как различные формы материи. Ломоносовский призыв употреблять при изучении явлений языка „общефилософское понятие о человеческом слове" в той или иной мере дает себя знать почти у каждого языковеда» (стр. 477).

Констатируя широкое распространение в России в начале XIX в. идей всеобщей грамматики, автор очерка показывает, что несмотря на увлечение этими идеями некоторые ученые в своих общетеоретических рассуждениях высказывали положения, которые позднее получили дальнейшую разработку в трудах последующих поколений русских языковедов: И. С. Рижский стремился выяснить специфические особенности языка, отражающие своеобразие говорящего на нем народа; И. Орнатовского интересовали проблемы, связанные с определением круга родственных языков; И. Ф. Тимковский впервые в русском языкознании говорил о тесной связи истории языка и истории народа, дал детальную периодизацию «славяно-российской словесности» и развития языка; Л. Г. Якоб выступил с оригинальной знаковой концепцией языка и т. п.

Второй раздел («Проблематика русского языкознания в 20—50-е годы XIX в.», стр. 54—96) включает в хрестоматийной части отрывки из трудов А. Х. Востокова, Н. И. Греча, В. Г. Белинского, Г. П. Павского, К. П. Зеленецкого, И. И. Давыдова. В прилагаемом к этому разделу очерке Ф. М. Березин выделяет в русском языкознании 20—50-х годов XIX в. два направления — логическое и сравнительно-историческое.

Первое из них — логическое — продолжило традиции всеобщей грамматики. Сторонником общей теории грамматики, таких грамматических правил, которые можно бы было приложить к любому языку, был Н. И. Греч. Говоря об этом, автор очерка отмечает, что широко распространенное мнение, будто бы Н. И. Греч во всех случаях стремился подогнать грамматические особенности русского языка под схемы общих грамматик, является не совсем точным. В его работах начинает ощущаться критическое отношение к универсальной логической грамматике — он стремился учитывать и «собственные свойства каждого языка», которые соответствуют степени образованности общества. Фактический материал грамматики Н. И. Греча отражал нормы русского языка, правда, языка книжного. Менее критически относился к идеям универсальной грамматики И. И. Давыдов. Его книга «Опыт общесравнительной грамматики русского языка» (1852), в основу которой были положены идеи немецкого языковеда К. Беккера, характеризуется автором очерка как явный анахронизм. Влияние логического направления сказалось и на работах В. Г. Белинского, однако его филологические труды, ориентирующиеся на народный язык, занимают весьма заметное место в истории русского языкознания. Наиболее оригинальной и сильной стороной лингвистической концепции В. Г. Белинского было «привнесение материалистических начал в трактовку положений о связи языка и мышления»

(стр. 58). В связи с этим Ф. М. Березин особое внимание читателя обращает на высказывания В. Г. Белинского о том, что «человек стал говорить в то же самое время, как начал мыслить», «язык развивается и совершенствуется вместе с мыслью» и т. п.

Второе направление в русской лингвистике 20—50-х годов XIX в. было связано с деятельностью А. Х. Востокова и знаменовало возникновение в России сравнительно-исторического языкознания. Разработка сравнительно-исторической проблематики русскими учеными к тому времени уже имела определенную традицию. Изучением родственных отношений русского языка с другими языками занимались М. В. Ломоносов, И. Орнатовский, И. Ф. Тимковский и др. А. Х. Востоков доказал закономерности фонетических изменений в звуковом строе славянских языков и впервые заявил о возможности восстановления праславянского языка путем сравнения сохранившихся славянских диалектов. Его работы способствовали резкому подъему интереса к сравнительно-историческим исследованиям. В частности, попытка изучения русского языка в сравнении с другими индоевропейскими языками была предпринята в то время Г. П. Павским, творчество которого характеризуется в этом же очерке.

Третий раздел («Русское языкознание 50—70-х годов XIX в.», стр. 97—264) охватывает всего двадцать лет. Однако этот сравнительно короткий промежуток в истории русского языкознания отличается большим количеством крупных имен, богатством идей, постановкой крупных теоретических проблем. В обширном очерке Ф. М. Березин показывает, как в этот период в русском языкознании окончательно утверждаются и получают дальнейшее развитие принципы сравнительно-исторического метода. Внимание русских исследователей привлекают все аспекты языка (фонетика, морфология, синтаксис, семантика). Изучение ведется не только в плане сравнения русского языка с классическими индоевропейскими языками (латинский, санскрит, древнегреческий), но также и с языками иного морфологического строя. У большинства ученых отмечается стремление выяснить специфические свойства русского языка, исходя из качеств русской грамматической системы. Закладываются основы типологического изучения языка в области синтаксиса и семантики. В хрестоматийной части представлены отрывки из трудов Ф. И. Буслаева, И. И. Срезневского, А. А. Потебни, Ф. Е. Корша, В. И. Шерцля и других языковедов. На примере работ К. С. Аксакова и Н. П. Некрасова показано, как усилившийся интерес к строю живого языка способствовал освобождению науки от влияния схоластической всеобщей грамматики. В этом же разделе дана обстоятельная характеристика лингвистических взглядов Н. Г. Чернышевского, выступавшего с материалистическим объяснением вопроса о соотношении языка и мышления и ряда других проблем языкознания.

Четвертый раздел книги назван «Основные направления русского языкознания конца XIX — начала XX в.» (стр. 265—475). Хрестоматийная часть содержит отрывки из трудов Ф. Ф. Фортунатова, И. А. Бодуэна де Куртенэ и их учеников, традиционно объединяемых в истории языкознания под названиями Московская и Казанская лингвистические школы. В очерке Ф. М. Березин подчеркивает независимость и самостоятельность русской науки. Он критикует широко распространенное мнение о том, что некоторые видные русские ученые полностью разделяли положения младограмматиков. В связи с этим Ф. М. Березин указывает, например, что совершенно не младограмматическое понимание языка отразилось в учении Ф. Ф. Фортунатова о функциональности формо- и словообразовательных категорий (стр. 272). Историческую акцентологию Ф. Ф. Фортунатов разрабатывал, основываясь не на исследовании каждого отдельного звука вне связи с общей фонетической системой, как это было характерно для младограмматиков, а на установлении внутренней взаимозависимости между сонантами и интонацией (стр. 274). А. А. Шахматов стремился представить фонетическую систему общерусского праязыка не как абстрактную совокупность определенных звуковых черт, а как такую систему, которая характеризовалась разнообразием своих различительных возможностей и внутренними закономерностями (стр. 276). Ф. Ф. Фортунатов, а вслед за ним А. А. Шахматов и другие пришли к выводу о том, что язык — это явление социальное, в то время как младограмматики считали, что язык народа есть фикция и реальное бытие имеет только язык отдельного индивидуума (стр. 276).

А. А. Шахматова не удовлетворило распространенное среди младограмматиков учение о психологическом подлежащем и сказуемом, и он создал оригинальное учение о «психологической коммуникации» (стр. 277). При анализе языковых явлений И. А. Бодуэном де Куртенэ на первый план выступает не психологический социологизм, а социальная, коллективная психология, «коллективная индивидуальность», в отличие от индивидуального психологизма представителей младограмматического направления (стр. 284). Эти и подобные факты, приведенные в очерке, дают основание Ф. М. Березину утверждать, что Ф. Ф. Фортунатов, А. А. Шахматов, И. А. Бодуэн де Куртенэ, Н. В. Крушевский и другие русские ученые в своих общелингвистических взглядах имели ма-

ло общего с теоретическими положениями младограмматизма и, говоря словами Л. В. Щербы, «тяготились концепцией младограмматиков и стремились сбросить с себя ярмо Г. Пауля». Русские ученые сами в «своих трудах ставили и решали такие вопросы науки о языке, которые оказали весьма существенное влияние на весь последующий ход развития русского, европейского и мирового языкознания» (стр. 267). Достаточно указать хотя бы на то, что многие идеи Ф. Ф. Фортунатова еще при его жизни были приняты русскими и зарубежными учеными, идеи А. А. Шахматова лежат в основе многих современных трудов по синтаксису (особенно по синтаксису славянских языков), наука до сих пор пользуется открытиями Н. В. Крушевского (см., например, правило Крушевского — Куриловича), вся практика современной науки о фонеме является разработкой, уточнением и конкретизацией идей И. А. Бодуэна де Куртенэ и Л. В. Щербы.

Книга завершается «Заключением» (стр. 476—500), где еще раз подчеркивается историческая преемственность лингвистических учений. Ф. М. Березин убедительно аргументирует вывод о том, что деятельность русских языковедов в XIX — начале XX в. следует рассматривать как качественно новый этап в развитии науки о языке, оказавший влияние на формирование ряда направлений современного языкознания.

Издание рецензируемой книги — значительное событие в лингвистической жизни нашей страны. Обильно насыщенная хрестоматийным материалом, эта книга одновременно представляет собой серьезный историографический труд — все персоналии, сгруппированные в четыре больших очерка, являются миниатюрными оригинальными исследованиями, в которых достаточно полно и на большом фактическом материале дается интерпретация взглядов отдельных лингвистов, раскрывается взаимосвязь их научных и философских воззрений.

Положительно оценивая книгу в целом, нам хотелось бы обратить внимание на некоторые недостатки, устранение которых (особенно при подготовке книги к переизданию) способствовало бы ее улучшению. Автору очерка следовало бы более осторожно или во всяком случае с соответствующими оговорками использовать современные лингвистические термины (например, термины «язык» и «речь», «знаковость» и «системность» языка, «разговорная речь»), говоря о трудах языковедов XVII—XIX вв. Иногда употребление современных терминов в этой историографической работе приводит к невольной модернизации взглядов ученых, хотя очевидно, что в ряде случаев за этими терминами у лингвистов прошлого скрывалась совершенно не та проблематика, которая вкладывается в них нынешними теориями. Это может вызвать у читателя неправомерные аналогии с творчеством современных ученых.

Было бы целесообразно расширить представление о концепции А. А. Потебни, включив в книгу лингвофилософские высказывания ученого, содержащиеся в его «Лекциях по теории словесности» и «Записках по теории словесности», тем более, что эти книги сейчас являются библиографической редкостью. Извлечения из работ таких авторов, как М. А. Тулов, Н. П. Некрасов, можно бы дать более кратко (особенно на стр. 185, 198). Следовало бы указать, что И. И. Срезневский не только был командирован в Берлин для изучения санскрита, но и совершил путешествие в Чехию, Моравию, Словению, Хорватию, Сербию, Словакию и другие славянские земли с целью изучения славянских языков и подготовки к профессорской деятельности. Идентичная информация о Н. Г. Чернышевском содержится на стр. 104 и 114, о Ф. Ф. Фортунатове — на стр. 267 и 268. Примечание о работе Н. И. Греча со стр. 70 необходимо перенести на стр. 69, а примечание о работе В. Г. Белинского — со стр. 75 на стр. 74. На стр. 98 имеется опечатка в написании фамилии В. И. Шерцля (напечатано — В. И. Щерцля). Издание, предпринятое И. В. Ягичем, названо «Энциклопедией славянского языкознания», а не «филологии» (стр. 114).

Говоря о влиянии трудов русских ученых на развитие лингвистической мысли за рубежом, можно было бы привести больше конкретных примеров. Известно, например, что распространенное в конце XVIII — начале XIX в. среди сербских ученых мнение о возможном сосуществовании различных языков и стилей в зависимости от жанров произведений и социальной принадлежности этих произведений являлось своеобразным преломлением на сербской почве теории трех стилей М. В. Ломоносова [5]. Читателю интересно было бы узнать, что среди известных зарубежных языковедов были ученики не только у Ф. Ф. Фортунатова, но и у А. А. Шахматова (А. И. Белич, Р. Нахтигал, С. Ившич и др.), у А. И. Бодуэна де Куртенэ (К. Нич, Г. Улашин, Я. Розвадовский и др.) и других русских ученых.

Учебное пособие, конечно, только бы выиграло, если бы каждый очерк завершался списком литературы, рекомендуемой для прочтения, и если бы в конце книги был именной указатель.

В заключение следует отметить хорошее полиграфическое оформление книги.

П. А. Дмитриев

[5] См. об этом: Н. И. Толстой, Архаизам и новаторство у језичкој реформи Вука Караџића, «Анали филолошког факултета [Београдског универзитета]», V, 1965, стр. 228.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 1 1975

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

ХРОНИКАЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ

25 апреля 1974 г. в Москве состоялось совместное заседание Ученых советов Института языкознания АН СССР и Института русского языка АН СССР, посвященное 250-летию Академии наук СССР.

В своем вступительном слове директор Института языкознания АН СССР В. Н. Ярцева подчеркнула, что Центральный Комитет КПСС постановил отметить 250-летний юбилей Академии наук СССР как смотр достижений советской науки, внесшей большой вклад в дело построения социализма в СССР, в развитие образования и культуры. В юбилейные дни наше внимание в какой-то мере обращено к прошлому, и неслучайно ряд докладов носит итоговый, историографический характер. Преемственность в развитии любой науки всегда имела большое значение. Определяющее влияние на развитие языкознания в СССР оказало осуществление ленинской национальной политики, поставившее перед языковедами принципиально новые теоретичесие и практические задачи.

В докладе Э. А. Макаева и Н. З. Гаджиевой (Москва) «Сравнительное языкознание в истории Академии наук» было показано развитие русской компаративистики начиная с XVIII в. Корни сравнительно-исторического языкознания в России связаны с именем гениального русского ученого академика М. В. Ломоносова, давшего блестящие образцы научного творчества и сделавшего замечательные открытия, на много лет опередившие западную науку [1].

Ф. П. Сороколетов (Ленинград) в докладе «Русская лексикография в Академии наук» осветил основные этапы развития русской академической лексикографии. В конце XVII — начале XVIII в. в России уже существовала вполне сложившаяся лексикографическая традиция. Перед лексикографами стояла задача — выявить и соотнести активный и пассивный фонд литературного языка [2].

Н. Ю. Шведова (Москва) посвятила свой доклад «Русская научная описательная грамматика в русской Академии наук» рассмотрению наиболее характерных черт русской грамматической науки [3].

Доклад А. А. Реформатского и А. В. Суперанской (Москва) был посвящен теме «Разработка проблем прикладной лингвистики в Академии наук». Докладчики отметили, что словари и грамматики, составлявшиеся Российской академией в XVIII в. (С. Г. Гмелин, И. И. Лепехин, И. А. Гюльденштедт, П. С. Паллас, В. Е. Адодуров, В. К. Тредиаковский, М. В. Ломоносов и др.), явились своеобразной стартовой площадкой в развитии не только теоретической, но и практической лингвистики (разработка грамматической терминологии, орфографии, просодии, правил стихосложения). Несмотря на то, что орфографические разделы включались, как правило, во все грамматики, в XIX в. было много частных орфографий. Вопросами общего урегулирования русского правописания занимались многие ученые и работники просвещения. По поручению Академии наук акад. Я. К. Грот опубликовал в 1885 г. свое знаменитое «Русское правописание», которое выдержало 19 изданий и служило каноном орфографии для школы (но не для печати). В дальнейшем при Академии наук была организована специальная комиссия по орфографии во главе с акад. Ф. Ф. Фортунатовым. В 1912 г. были опубликованы «Постановления орфографической подкомиссии» Академии. В их основу легли фономорфологические принципы, поддержанные академиками Фортунатовым и Шахматовым. На этих «Постановлениях» базировалась и «реформа орфографии 1917—1918 гг.», которая решила общие вопросы правописания, однако не коснулась многих частностей. В разработке норм русского правописания и в орфографических дискуссиях в разное время принимали участие видные представители отечественной филологической науки и просвещения (Ф. Ф. Фортунатов, А. А. Шахматов, Ф. Е. Корш, А. И. Соболевский,

[1] Доклад опубликован в ВЯ, 1974, 5.

[2] Доклад опубликован в ВЯ, 1974, 6.

[3] Доклад опубликован в ВЯ, 1974, 6.

И. А. Бодуэн де Куртенэ, Д. Н. Ушаков, А. М. Пешковский, С. П. Обнорский, Л. В. Щерба, В. В. Виноградов и мн. др.). Заключительная часть доклада была посвящена общей характеристике работ советских языковедов в области различных прикладных проблем, в том числе и новых, возникших в связи с развитием научно-технического прогресса в середине XX в. (автоматический перевод, статистика речи и т. п.).

В. А. Ефимов, А. С. Белоусова (Москва)

*

С 25 по 27 марта 1974 г. в Москве проходила VI Научная сессия по вопросам германского языкознания, организованная сектором германских языков Института языкознания АН СССР. В ее работе приняли участие представители научных учреждений и вузов Москвы, Ленинграда, Киева, Минска, Риги, Владивостока, Воронежа, Горького и других городов страны, а также ученых из ГДР, ЧССР, Финляндии.

На сессии были рассмотрены как общие проблемы типологии германских литературных языков (установление факторов, определяющих тип литературного языка; типология литературных языков в зависимости от объема и характера их социальных функций; соотношение традиций и инноваций в древних и современных германских языках с типологической точки зрения и т. п.), так и частные вопросы структурной типологии данных языков.

Выделению и характеристике типологических критериев германских литературных языков было посвящено несколько докладов. М. М. Гухман (Москва) в своем докладе «К типологии германских литературных языков донационального периода», говоря о качественном своеобразии обработанных форм германских языков донациональной поры, выдвинула ряд факторов, определяющих их типологическую специфику. К ним относятся: степень обособленности данных языков от разных видов обиходно-разговорной речи; уровень их территориальной и функционально-стилистической дифференциации; совокупность тех приемов, которые дают основание выделять литературный язык как особую функциональную единицу в системе форм существования языка.

В. Н. Ярцева (Москва) в докладе «Роль традиций и инноваций в типологической характеристике английского литературного языка» показала, что в качестве типологического критерия могут служить и различия в характере использования генетически разновременных элементов языка. Типологические различия такого рода выявляются не только для разных периодов английского языка и не только на разных уровнях языковой структуры; прослеживается связь этих различий и с функционально-стилистической стратификацией языка. Так, например, в области лексики закрепленность многих исконно германских лексем в древний период за определенными литературными жанрами приводила к стилистической окрашенности этих лексем, что впоследствии могло служить одной из причин их исчезновения из языка. В области морфологии на смену свободному чередованию исторических и аналогических форм, которое наблюдалось в среднеанглийском, в период стабилизации норм приходит отбор и закрепление одной из чередующихся форм, сопровождающееся исчезновением другой формы или ее оттеснением в сферу нелитературной речи.

В докладе «О функциональном аспекте типологического изучения германских литературных языков» Н. Н. Семенюк (Москва) остановилась на некоторых типологических признаках западногерманских литературных языков, обусловленных их общей функциональной направленностью, показав, в частности, что для разных западногерманских языков положение отдельных видов письменности в рамках литературного языка и их роль в процессе формирования литературных норм были разными.

Целью доклада О. А. Смирницкой (Москва) и М. И. Стеблин-Каменского (Ленинград) «Типология современных литературных скандинавских языков» было установление причинных зависимостей между типологическими характеристиками данных языков и такими экстралингвистическими факторами, как наличие/отсутствие политически независимого государства в эпоху формирования нации, степень территориальной языковой раздробленности, наличие/отсутствие письменной традиции в эпоху становления литературного языка. Проведенная типологическая классификация показала, что именно благодаря воздействию экстралингвистических факторов скандинавские языки, отличавшиеся значительной строевой близостью, могли давать контрастирующие типы в рамках этой классификации.

И. Р. Гальперин (Москва) в докладе «Некоторые типологические особенности литературного английского языка XVI века» дал детальную характеристику различных типов литературных английских текстов XVI в. и связал определенные их функционально-стилистические черты с тем влиянием, которое оказывали на использование языковых средств в этот период художественно-эстетические принципы эпохи Возрождения.

В некоторых докладах основанием для типологического сопоставления языков послужили внутриязыковые критерии.

В докладе Г. С. Щ у р а (Москва) «О типологии некоторых форм перфекта в германских языках», где в качестве типологического критерия выступает опущение вспомогательного глагола в перфекте, дан анализ причин указанного явления в отдельных германских языках и диалектах.

В докладе В. Д. А р а к и н а (Москва) «Типология объектных словосочетаний в скандинавских языках» членение скандинавских языков на две подгруппы проведено в соответствии с представленными в них типами объектных словосочетаний, причем типология данных словосочетаний была определена предварительно на основе ряда структурных признаков. Т. С. Г л у ш а к (Минск) в докладе «Взаимосвязь эволюционных сдвигов в структуре предложения и именных словосочетаний», обобщившем результаты конкретных исследований ряда авторов, обратила внимание на то, что наблюдаемый в английском и немецком языках процесс сокращения длины предложения, за которым стоят существенные структурно-качественные преобразования, согласуется в этих языках с четко выраженной тенденцией к номинализации.

На сессии были подняты также вопросы нормы и языкового варьирования, имеющие самое непосредственное отношение к функциональной типологии литературных языков.

Сопоставление двух древнейших германских языков в плане выявления их типологического своеобразия позволило Э. А. М а к а е в у (Москва) в докладе «Рунический и готский» поставить вопрос о типологии литературной нормы древних германских языков. Несмотря на то, что и язык древнейших рунических надписей, и готский язык отличались унифицированным характером, они противостоят друг другу с точки зрения образования литературной нормы. Данная типологическая оппозиция обусловлена значительными функциональными различиями между рассматриваемыми языками: если руническая надписи носили узкофункциональный, кастовый характер, то язык готской библии обладал несомненными признаками наддиалектной нормы, причем не исключено, что его унифицированность объясняется влиянием готского койне. В. П. Б е р к о в (Ленинград) в докладе «Норвежский литературный язык (букмол) и его варианты» говорил о специфической языковой ситуации в современной Норвегии, которая характеризуется существованием двух официально признанных норм литературного языка: букмола — продукта развития датского языка на норвежской почве и лансмола, искусственно созданной нормы, в основу которой положены черты различных норвежских говоров. Предпринятые нормализаторами попытки «норвегизации» букмола привели к тому, что он в свою очередь существует в нескольких нормативных вариантах. В докладе «Лексикографическая практика как отражение соотношения гомогенности и вариативности лексики литературного языка» С. С. Л и н с к и й (Днепропетровск) сосредоточил свое внимание на эволюции понятия «вариативность» в лексикографии, показав, в частности, что функциональная вариативность могла оцениваться носителями языка как социальная.

Особую группу составили доклады, посвященные типологическому анализу соотношения генетически разнородных явлений в древних и современных германских языках. В докладе С. А. М и р о н о в а (Москва) «Соотношение традиций и инноваций в литературных языках африкаанс и нидерландском» было показано, что африкаанс, сложившийся на смешанной нидерландской диалектной основе и развивавшийся в сложных условиях изоляции от первоначальной территориальной базы, в непосредственном контакте с другими европейскими и местными африканскими языками, обнаруживает на разных уровнях своей структуры ряд типологических особенностей, отличающих его от нидерландского языка. Больше всего инноваций отмечено в морфологической системе, тогда как на фонологическом, словообразовательном и лексическом уровнях африкаанс устойчиво сохранил исконную нидерландскую специфику.

А. Л. З е л е н е ц к и й (Калуга) в своем докладе «К вопросу об архаичности системы сильного глагола в западногерманских литературных языках» выделил три признака, относительно которых описывались системы сильного глагола немецкого, нидерландского и английского языков: степень функциональной необходимости аблаута, степень редуцированности парадигматического ряда основных форм и степень единства его моделирования. Благодаря применению особой формализованной процедуры было установлено, что наибольшая степень проведения инноваций характеризует английскую систему сильного глагола, несколько меньшая — нидерландскую и минимальная — немецкую. М. В. Р а е в с к и й (Тула) в докладе «Реверсивная глагольная лексика в современных германских языках», определив процессы глагольной редериваций как явную инновацию в глагольном словопроизводстве, дал детальное описание структурных типов реверсивных глаголов и остановился на типологических различиях между отдельными германскими литературными языками в плане распределения и функционирования этих структурных типов.

В докладе Л. Л. И о ф и к и А. Г. Г у р о ч к и н о й (Ленинград) «О полипредикативных структурах в древнегерманских языках и их дальнейшем развитии (на материале древнеанглийского и древневерхненемецкого языков)» было показа-

но, что основные реляционные модели полипредикативных предложений, являющиеся общими для английского и немецкого языков, начиная с раннего этапа их существования, не подверглись в ходе исторического развития существенным качественным изменениям, и инновации обнаруживаются лишь в оформлении средств выражения подчинительных связей.

С докладами, связанными с типологической проблематикой, выступили также иностранные ученые, принимавшие активное участие в работе сессии. И. Шильд (Берлин) в докладе «К соотношению стабильности и вариативности в развитии немецкого литературного языка» показал, что в специфически немецких условиях единая языковая форма складывается в процессе выравнивания территориальных вариантов литературного языка. В докладе Г. Шпитцбардта (Иена) «К вопросу о системной типологии сравнительной степени в немецком и английском языках» был дан историко-типологический обзор структурных и функциональных особенностей конструкций сравнительной степени в указанных языках.

Доклад В. Флейшера (Лейпциг) «К типологии функциональной дифференциации в словообразовании современного немецкого языка» был посвящен детальному анализу словообразовательных моделей определенного типа и их функциональному распределению по различным сферам использования современного немецкого языка. Р. Лёч (Берлин) в докладе «Негерманские элементы в грамматическом строе германских языков» дал характеристику тех типов грамматической интерференции в системе словоизменения языка идиш, которые сложились в нем под воздействием славянских языков и иврита. Э. Скала (Прага) в докладе «К контрастивному изучению структуры слова в немецком и чешском языках» изложил результаты проведенного им количественного анализа различий в структуре слова в данных языках.

Директор Центрального института языкознания АН ГДР Г. Фойдель, говоря о большом значении работ советских германистов для развития германистики в ГДР, указал на особую актуальность в этом плане проблематики данной сессии, поскольку лингвисты ГДР в настоящее время активно разрабатывают вопросы, связанные со становлением и функционированием немецкого национального языка. В частности, проблематика сессии важна в плане изучения различий в языковой ситуации в ГДР и ФРГ. Отвергая крайнее мнение, согласно которому в этих государствах сложились два разных языка, следует признать, что между ними имеются значительные функциональные различия. В заключение Г. Фойдель подчеркнул, что в плане разработки как проблем социальной лингвистики, так и общелингвистических проблем важное значение имеет многолетнее тесное сотрудничество между учеными Института языкознания АН СССР и Центрального института языкознания АН ГДР.

Подводя итоги работы сессии, М. М. Гухман отметила, что вопросы типологии литературных языков впервые стали предметом широкой дискуссии на германском материале. Состоявшийся обмен мнениями показал, что по-прежнему актуальной остается проблема типологических критериев литературных языков, предполагающая не только выявление всех возможных критериев такого рода, но и определение характера их соподчиненности, а также их связей с собственно языковыми явлениями. Поскольку тип литературного языка определяется преимущественно социально-функциональными факторами, отмечалось то большое значение, которое приобретают при изучении обсуждаемых вопросов факты внешней истории языка, в частности, анализ языковой ситуации, существовавшей в ту или иную историческую эпоху. Широкие возможности открываются для разработки вопросов нормы и языкового варьирования в плане функциональной типологии языков. Во многих выступлениях подчеркивалась также настоятельная необходимость углубленного изучения специфики социально-функциональной дифференциации литературных германских языков на разных этапах их развития.

Закрывая сессию, В. Н. Ярцева заметила, что при определении тематики научных сессий по вопросам германского языкознания, их организаторы старались поддержать традиции отечественной германистики, которую всегда отличало стремление решать на конкретном языковом материале актуальные общетеоретические проблемы. В. Н. Ярцева констатировала плодотворность работы сессии и высказала пожелание, чтобы ее итоги стимулировали соответствующие конкретные исследования в научных и педагогических учреждениях страны, что способствовало бы созданию широкой базы для дальнейших теоретических поисков в данной области науки о языке.

И. А. Сивова (Москва)

*

На той же сессии прибывший в Москву для участия в мероприятиях, связанных с проведением Дней финской науки и культуры в СССР, Н. Энквист (Турку, Финляндия) прочел доклад «Современные направления развития лингвистики».

Докладчик остановился прежде всего на современных направлениях изучения языка как структурализованной системы.

Возникновение порождающей трансформационной грамматики, связываемое обычно с появлением в 1957 г. книги Н. Хомского «Синтаксические структуры» доказывает, что все новое в области современной лингвистики не может остаться незамеченным, и независимо от того, принимать ли трансформационные принципы или нет, их все-таки нельзя игнорировать. Даже критика этих принципов дает некоторые дополнительные сведения о структуре и природе языка.

В течение ряда лет в конце 50 — начале 60-х годов исследователи сосредоточивали внимание на технических проблемах формализации, в частности на разработке системы правил и техники их записи, иногда настолько строгой, что она казалась многим замкнутой в себе схоластикой. Многие проблемы, выдвинутые трансформационными лингвистами, оказались интересными, например, характеристика фонологических единиц в свете дифференциальных признаков. Синтаксис стал твердым ядром грамматики и другие области грамматики рассматриваются в связи с синтаксисом. Это привело к пересмотру границ между синтаксисом и словарем, а это приносит пользу и грамматистам и лексикографам. Семантика, которая еще недавно была областью беспредметных размышлений и спекуляций, сейчас нашла свое законное место в лингвистических исследованиях.

Порождающая трансформационная лингвистика противопоставлена господствовавшим раньше направлениям механического бихевиористического структурализма. Порождающие модели оказались плодотворными не только при их удачном использовании. Как обычно бывает в науке, даже ошибки модели являются важными: они выдвигают новые проблемы и открывают новые пути.

Порождающая трансформационная лингвистика отнюдь не монолитное, унифицированное направление науки, как ее рассматривают некоторые противники трансформационного направления. Наоборот, за последнее время появилось много новых разнообразных отраслей порождающего направления не только в США, но и во многих других странах, в том числе в Советском Союзе.

Если считать, что порождающая грамматика должна исходить не из синтаксических символов, а из значений, возникает вопрос, как оперировать такими значениями и как их описывать.

Потребность в «глубинной» семантике привела лингвистов к более тесным контактам с представителями логики. Одна из самых актуальных проблем современной лингвистики — отношения между логикой и лингвистикой. Некоторые ученые уверены, что традиционные методы формальной логики могут развиваться и совершенствоваться таким образом, чтобы отражать все разнообразные свойства естественных языков, а не только категории искусственно ограниченных логических систем. Другие, менее оптимистично настроенные, полагают, что лингвистика нуждается в логике нового типа, чтобы можно было применить ее к изучению естественных языков, потому что естественные языки слишком сложны и для описания их во всей полноте нельзя пользоваться такой формальной системой, как логика.

Указанные направления в грамматике заставили лингвистов мыслить в терминах большей или меньшей эффективности модели, совершенно так же, как это делают физики. Но модели исходят из определенных посылок, сравнимых с аксиомами и постулатами. Разные исходные посылки могут привести к разным моделям. Это одна из причин, в силу которой лингвисты предлагают разные модели, отстаивая преимущества той или иной из них.

Некоторые лингвисты чрезмерно увлекаются абстрактным теоретизированием за счет лингвистической реальности, наблюдаемой на поверхности языка. Пока нельзя определить отношения между лингвистической теорией и процессами, которые можно наблюдать путем психологического и нейрофизиологического эксперимента. Равным образом ученые, занятые формулированием логических и порождающих правил, не всегда в состоянии рассмотреть большое количество текстов и изучить пути, по которым разные языки функционируют. Они тратят много времени на изобретение непонятных предложений, якобы определяющих точную границу между приемлемыми и неприемлемыми предложениями, вместо того, чтобы рассматривать общеупотребительные и частотные конструкции, действительно употребляемые в языке.

Лингвистам требуется теория для конструирования моделей языка таким же образом, как архитекторам требуются расчеты и проекты, а не только кирпич и известковый раствор. В некоторых отраслях лингвистики отражаются недостатки современного состояния теории. Примером этого является машинный перевод. Двадцать лет тому назад некоторые специалисты были весьма оптимистически настроены. Они утверждали, что в ближайшем будущем перевод будет осуществляться машинами. Сегодня мы знаем, что хотя некоторые переводы и могут быть произведены машинами, мы еще далеки от того времени, когда машины заменят переводчика-человека. Виновны в этом не столько инженеры и машины, сколько трудности, испытываемые лингвистами в формулировании правил, необходимых для адекватного перевода.

Многие представители практической лингвистики все больше и больше испытывают потребность в теории. В то же

время многие представители теоретической лингвистики убедились о том, что некоторые их абсолютные правила были слишком абсолютны для описания того, что действительно происходит в языке.

Если считать, что сущность языка заключается в том, что им пользуются люди в социальном общении, то мы должны заниматься не только составлением формальных исчислений и алгоритмов, но и проблемой языкового варьирования. Мы должны выйти из имманентной сферы в реальный мир и посмотреть, как люди употребляют язык в различных ситуациях. В этой области, которую можно считать второй по важности в изучении языка, в течение последних десяти — двадцати лет появилось много нового, в частности, изучение так называемой «грамматичности» (grammaticality), «допустимости» (acceptibility), «уместности» (tolerance) тех или иных конструкций.

Некоторые исследователи считают критерием правил свое собственное «языковое чутье». Некоторые лингвисты пытаются наметить границу между «допустимостью» и «недопустимостью», но зачастую они выбирают необычные, неупотребительные примеры, определение которых явно зависит от субъективных оценок.

Очень важны наблюдения в области таких отраслей коммуникации, как модернистская поэзия, где употребление исключительных, отклоняющихся от нормы языковых конструкций является основным средством передачи сообщения. У некоторых хороших поэтов такие атипичные конструкции могут оказаться существенным способом коммуникации и, тем самым, вполне допустимыми и уместными, хотя вне данного контекста они покажутся недопустимыми и неуместными и будут определены как неграмматичные с позиций любой грамматики данного языка.

Наиболее эффективным способом корректирования эзотерической теоретизации является изучение большого количества текстов, как устных, так и письменных. Во многих странах проанализировано и продолжает анализироваться большое количество текстов, часто с помощью электронно-вычислительных машин. Проведено много статистических исследований букв и фонем, частотностислов, а в какой-то мере и словосочетаний. Уже известно кое-что о предпочтении той или иной параллельной формы в разных языках. Однако о частотности синтаксических структур известно гораздо меньше, может быть потому, что область синтаксиса столь многообразна. Мы пока еще не имеем автоматизированных способов синтаксического анализа. Практически синтаксический анализ должен производиться «вручную», автоматизация может применяться только для целей классификации и перечисления. Но синтаксический анализ большого количества текстов требует большого труда. Если бы в нашем распоряжении был частотный синтаксис, включающий частотность важнейших синтаксических структур, подобно частотным словарям, представляющим частотность слов, он был бы весьма полезен для преподавания иностранных языков и в других целях, включая анализ и описание стилей.

Далее докладчик остановился на проблеме текста.

Лингвистика текста, т. е. грамматическое и лингвистическое изучение текстовых связей вне предложения и, особенно, тех способов, с помощью которых предложения сочетаются и образуют связный текст, проливают свет на особенности функционирования предложений и, тем самым, глубже вскрывают онтологические свойства этой синтаксической единицы.

Еще одна причина побуждает изучение лингвистики текста: как было установлено, предложения, составляющие текст, не могут быть полностью описаны в изоляции друг от друга. На форму и содержание данного предложения влияет его окружение в тексте, т. е. все то, что было до этого предложения и следует после него. Это, очевидно, доказано в процессе формализации синтаксиса. Если необходимо формализовать все, что определяет форму предложения, — а в порождающей грамматике дело обстоит именно так, — необходимо включать в формализацию и те признаки текстового окружения, которые влияют на форму этого предложения.

Некоторые существенные составные части лингвистики текста уже изучены в рамках грамматики предложений. Прономинализация, отсылки, субституция, эллипсис, согласовательные связи и некоторые другие явления функционируют в связях между предложениями, а не только внутри предложения. Кое-что известно о коммуникативной структуре простого и сложного предложения, в терминах темы и ремы, известно также, что часть функции порядка слов внутри предложения состоит в передаче информации не только этого предложения, но и, некоторым образом, всего текста.

Следует также упомянуть и другой подход — стремление к конструированию порождающих моделей для синтаксиса текста согласно принципам, представленным в порождающей грамматике предложения. Здесь задачей лингвиста является формулирование правил, порождающих тексты, а не только отдельные предложения. В какой степени возможны порождающие грамматики текста и какими они должны быть — таковы два основных вопроса при изучении лингвистики текста, которая представляет не только теоретический интерес, но имеет также практическое при-

менение. Под различными названиями — теория повествования, семиотика, структурная поэтика и пр.— ряд ученых стремится выявить, до какой степени явления литературной структуры могут подвергаться описанию и лингвистическому анализу. Пока мы ограничиваемся изучением грамматически определяемых структур, мы можем оперировать обычными методами лингвистического анализа и описания. Но некоторые ученые пошли дальше. По аналогии с грамматиками естественного языка они пытаются сконструировать грамматики, описывающие уже не предложения и связи между ними, а фабулы, сюжеты, создание характеров, сцен, манеру повествования и т. п. Такие попытки не новы, но среди некоторых ученых они снова приобрели актуальность.

Н. Энквист указал далее, что в последнее время уделяется большое внимание социальному аспекту языка. Социолингвистика является отраслью лингвистики, изучающей те варианты языка, которые находятся в определенном соотношении с социальными факторами, такими, как престиж, образовательный уровень, профессия, пол и т. п. Социолект — это социально детерминированный языковый вариант, «социальный диалект» языка. В течение нескольких прошедших десятилетий социолингвистика стала признанной дисциплиной как благодаря тем, кто изучал экзотические языки в интересах антропологии, так и благодаря тем, кто наблюдал вариабельность языков в индустриальной среде. В США много занимаются состоянием английского языка среди негров. Причина для изучения Pidgin English и языка креолов также частично социолингвистическая.

Специалисты, изучающие стиль языка, образуют третью группу среди тех, кто изучает язык в соотношении с контекстом и ситуацией. «Стиль» стал трудным термином, так как он может быть истолкован по-разному.

Сложные формы взаимодействия между историческими формами языка, диалектами, социолектами и стилями выдвигают много проблем перед лингвистом. Сейчас их строгое изучение только начинается.

Исторические изменения языка — варьирование языка во времени — наиболее тщательно изученный вид языкового варьирования. Историческая лингвистика и филология — лингвистическое описание, изучение и толкование старых текстов — деятельность, которая раньше была основным ядром лингвистики, по мнению многих лингвистов, стала теперь в какой-то мере «Золушкой» лингвистики. Многие филологи и историки языка продолжают, разумеется, работать над древними текстами, но в глазах новаторов такой интерес имеет скорее привкус терпимого традиционализма, чем волнующей новизны.

Было бы неправильно утверждать, что историческая лингвистика находилась только в сфере традиционализма и ничего более. В действительности предпринято много усилий рассмотреть историю языка в свете новых методов и новых теорий. Например, имеются попытки переписать историческую фонологию некоторых языков в терминах теории дифференциальных признаков и формул, известных из порождающей грамматики. Некоторые лингвисты старались распространить свои структурные и порождающие методы на изучение исторического синтаксиса. Социолингвисты и исследователи стилей тоже старались ввести заимствованные из диалектологии методы в исследование древних периодов различных языков.

История лингвистики — как коррелят истории языков — также является предметом интенсивного изучения. В области лингвистической историографии большинство работ располагается на шкале между двумя крайними подходами. Некоторые лингвисты писали о своих предшественниках, рассматривая их с чисто современной точки зрения. Они читают старые лингвистические труды, выбирая только то, что пригодно для их собственной позиции, и отбрасывая все остальное. Другие стараются тщательно реконструировать историческую интеллектуальную атмосферу и занимаются трудоемкой реконструкцией первоначальной основы.

Лингвистическая историография успешно развивается: библиография быстро растет, появляются новые журналы по истории лингвистики. Эта область важна потому, что с одной стороны, история лингвистических учений является частью интеллектуальной истории человека: то, что люди думали о языке, составляет важную часть того, что они думали о себе и обо всем мире, и, таким образом, само по себе составляет важный предмет изучения. С другой стороны, старые лингвистические исследования нередко содержат воззрения, уместные и применимые в современной лингвистике.

Докладчик подчеркнул, далее, что трудностью изучения языка с помощью различных технических средств является то, что собирание все большего и большего количества физиологических и акустических данных не помогает нам узнать больше о самом языке. Правильный путь состоит в первичном анализе системы и последующем наблюдении за ее проявлением в физиологических и акустических терминах скорее, чем в собирании большого количества физиологических и акустических данных в надежде, что они обнаружат сущность лингвистических систем. В действительности

акустический поток речи содержит большое количество признаков, не существенных для языка как такового; чтобы подобрать ключ к основам лингвистической значимости, надо научиться игнорировать те моменты, которые не имеют различительной силы среди лингвистически релевантных единиц.

Однако для изучения патологии речи, для преподавания иностранных языков, контрастивного анализа, техники связи и для других областей инструментальная фонетика может оказать большую помощь.

Лингвистическая теория стала более абстрактной, расхождение между чисто теоретической лингвистикой и многими практическими применениями лингвистики, например, преподаванием иностранных языков, стало более широким. Перекинуть мост через эту пропасть была призвана прикладная лингвистика — новая дисциплина, развивавшаяся в течение последних десятилетий. Трудно точно определить область прикладной лингвистики. Можно сказать, что она включает те разделы чистой лингвистики, равно как и разделы других научных дисциплин — психологии, методики, статистики и т. д.,— которые потенциально полезны для практических целей, например, для преподавания иностранных языков. Во многих странах сопоставительная лингвистика заняла видное место в области прикладной лингвистики. Под сопоставительной лингвистикой обычно понимается сравнение между двумя или больше языками, являющееся составной частью обучения. Анализ ошибок — систематическое изучение ошибок, которые люди делают при изучении иностранных языков — это один из методов, применяемых в сопоставительном анализе. В идеале, сопоставительные исследования должны предсказать, какие проблемы представляют наибольшие трудности для учеников и каким образом эти трудности легче преодолеть.

Современная лингвистика является динамичной дисциплиной. Современные лингвисты заинтересованы всеми видами коммуникации, включая естественные языки людей и модели мышления, образующие эти языки. Они изучают языки не только как имманентные системы, но и как часть биологического и социального характера человека, как средство взаимодействия между человеком и окружающей средой.

*

15 февраля 1974 г. в ЛО ИЯ АН СССР состоялись III чтения, посвященные памяти академика Виктора Максимовича Жирмунского.

Во вступительном слове чл.-корр. АН СССР В. Н. Ярцева (Москва) отметила многосторонность научной деятельности В. М. Жирмунского и его огромный вклад в развитие отечественной и мировой германистики.

В докладе «В. М. Жирмунский и сравнительно-историческое индоевропейское языкознание» И. А. Перельмутер (Ленинград) уделил большое внимание раскрытию своеобразия ученого как компаративиста и описанию наиболее близких ему исследовательских приемов. Была показана соотносительность работ В. М. Жирмунского в области сравнительно-исторического языкознания и его трудов в других отраслях лингвистической науки, в первую очередь в области диалектологии. В связи с работами В. М. Жирмунского о индоевропейских прилагательных докладчик предложил новую концепцию, объясняющую некоторые аномальные явления в системе прилагательных древнегреческого языка.

А. В. Бондарко (Ленинград) в докладе «Категориальные и некатегориальные значения в грамматике» подчеркнул, что категориальными в грамматике являются инвариантные значения, которые присущи грамматическим классам и единицам и которые лежат в основе оппозиций грамматических классов и единиц в замкнутых системах. Имеются в виду значения, присущие классам слов (частям речи), классам форм (членам морфологических категорий и парадигм), классам конструкций (членам синтаксических категорий и парадигм). Основной признак категориальных значений — их обязательность. В свойстве обязательности выделяются два аспекта: 1) системно-языковой (облигаторность выражения данного значения по отношению к определенным грамматическим классам и к множествам лексических единиц, охватываемых этими классами) и 2) речевой (существующая для говорящего обязательность выбора одного из противопоставленных друг другу категориальных значений). Понятие категориального значения в грамматике перекрещивается с понятием общего значения, но не совпадает с ним. Общие значения — лишь одна из форм существования категориальных значений. Некатегориальные значения необязательны. В докладе рассматривались основные типы выражения некатегориальных значений, в частности, «несобственные» функции морфологических категорий, лексические средства на службе грамматики, различные комбинированные способы выражения значений.

В докладе «О методах и задачах этимологического исследования аффиксальных морфем в тюркских языках» А. М. Щербак остановился на проблеме соотношения в тюркских языках

аффиксальных морфем с самостоятельными словами. Подчеркнув правильность высказанной В. В. Радловым мысли о развитии «формальной материи» (Formstoff) агглютинативных языков из «содержательной» (Inhaltsstoff), докладчик подчеркнул, что процесс лексической десемантизации слова при превращении его в морфологический элемент и развитие самого морфологического элемента связаны со значительной деформацией выразительной стороны, делающей почти невозможным установление ее первоначального облика. Из цепи формальных преобразований, как правило, не носящих характера закономерных и последовательных фонетических изменений, выпадают целые звенья, о существовании которых можно лишь догадываться. Фронтальные этимологические разыскания в области морфологии малоэффективны из-за того, что достоверность морфологических этимологий обычно недоказуема. Вместе с тем, учитывая, что морфологические элементы находятся на разных уровнях формального преобразования и что в диалектах и родственных языках сохраняются промежуточные формы, не исключается перспектива достижения положительных результатов в отдельных конкретных случаях. В определении задач этимологического исследования аффиксов докладчик разделяет точку зрения тех языковедов, которые считают, что такого рода исследование не является самоцелью и что оно оправдано лишь в рамках сравнительно-исторического изучения родственных языков.

В докладе «Проблемы историко-типологического изучения фольклора» Б. Н. Путилов (Ленинград) напомнил о том, что с именем В. М. Жирмунского современная фольклористика связывает научное самоопределение историко-типологической теории, обоснование идей и принципов ее метода. Проведенные за последние 10—15 лет исследования показали, что историко-типологическая общность как определенная закономерность обнаруживает себя в самых различных жанрах классического и современного фольклора и на самых разных уровнях фольклорного творчества.

Доклад К. В. Чистова (Ленинград) «Различие эстетической и неэстетической информации как фольклористическая проблема» ознакомил присутствующих с современным состоянием теоретической разработки этого вопроса, который рассматривался В. М. Жирмунским в его ранних работах (20-х гг.), посвященных проблемам так называемой «формальной поэтики». По мнению докладчика, сложность проблемы заключается в том, что речевая деятельность фольклорного типа не однородна в эстетическом отношении. Жанры с доминирующей эстетической функцией соседствуют и контактируют с жанрами для которых эстетическая функция является производной от функции практической (бытовой, обрядовой, информационной и т. д.).

Теоретические и конкретно-практические проблемы поэтики, интересовавшие молодого преподавателя Петроградского университета Жирмунского, и научный вклад акад. В. М. Жирмунского в разработку этих вопросов определили тематику докладов Вяч. Вс. Иванова и И. М. Дьяконова.

Вяч. Вс. Иванов (Москва) в докладе «Проблемы реконструкции общеиндоевропейского стиха» осветил вопрос о данных, подтверждающих гипотезу Ф. де Соссюра об анаграмматическом (или «анафоническом») принципе организации поэтических текстов на древних индоевропейских языках. В пользу этой гипотезы приводились доводы, основанные на результатах анализа фрагментов текстов на общеиндоевропейском языке. Намеченные в классической филологии более века назад характерные черты греческого «прастиха», отраженного в позднейшем пароимическом стихе, обнаруживают общие черты с такими индийскими метрами, как гаятри. Выводы о вторичном характере гекзаметра на греческой почве подтверждаются исследованием микенских греческих текстов. Благодаря вовлечению в круг рассмотрения целого ряда традиций, для которых наиболее архаические формы стиха представлены семисложником, чередующимся с восьмисложником (сатурнов стих и близкие к нему формы древнейшего римского стиха, древнеирландский стих, авестийский стих, ранние хеттские, гимны), подтверждается древность соответствующих ведийских, греческих и славянских (а также и балтийских) метров; более сложные метры (10- и 12-сложные) монтировались из более кратких. Особое внимание было обращено в докладе на позднейшую интерференцию родственных систем (например, в истории римского стиха) и на тенденции длительной эволюции, прослеживаемой, в частности, на протяжении тысячелетия от древнехеттских текстов до индийских.

В докладе И. М. Дьяконова (Ленинград) «Принципы перевода древневосточной поэзии» были затронуты общие вопросы теории перевода и некоторые проблемы, которые встают перед русским переводчиком поэзии Ближнего Востока. Поскольку перевод можно определить как искусство воссоздания оригинала на языке перевода, то на первый план выдвигается требование функционально-смысловой точности, предъявляемое как к научному, так и к художественному переводу. Перевод поэтического текста с одного языка на другой всегда сопряжен с потерями; трудности, связанные с передачей ритмической организации стиха, обусловле-

ны несхожестью фонетической и морфологической структуры языков, а несовпадение семантических полей ведет к издержкам эмоционально-ассоциативного ряда. Поэтому мастерство поэта-переводчика заключается в умении найти «угол расхождения между подлинником и переводом». Докладчик отметил высокую технику, свойственную лучшим представителям отечественной переводческой школы, открывающую русскому читателю мир иноязычной поэзии.

С. В. Смирницкая, Л. Г. Степанова
(Ленинград)

*

С 14 по 16 марта 1974 г. в Саратовском ун-те им. Н. Г. Чернышевского проходило совещание по изучению русских говоров территории позднего заселения, организованное секцией общественных наук Поволжского регионального научно-методического совета при Министерстве высшего и среднего специального образования РСФСР. В совещании приняли участие преподаватели кафедр русского языка вузов среднего и нижнего Поволжья, Урала и Сибири, а также сотрудники Института русского языка АН СССР.

С основным теоретическим докладом на тему «Говоры территории позднего заселения и проблемы их изучения» выступила Л. И. Баранникова (Саратов). Недостаточная изученность и пестрота говоров позднего заселения затрудняют их классификацию, однако возможно выдвинуть исходные принципы классификации, в которой необходимо учитывать два комплекса признаков: экстралингвистический и лингвистический. К первому комплексу относятся следующие признаки: 1) время переселения; 2) характер переселения: одновременность — разновременность; массовость — единичность; причины переселения; 3) характер отношений с окружающим населением: изолированность — контактность; в последнем случае характер контактов: равноправность — неравноправность. К лингвистическому комплексу классифицирующих признаков относятся: 1) степень однородности диалектной основы переселенческих говоров: монодиалектные, бидиалектные и полидиалектные по своей основе говоры; 2) однородность — неоднородность диалектной основы говоров переселенцев с окружающими говорами; 3) первичность — вторичность переселенческих говоров (т. е. сохранность или видоизмененность черт исходного диалектного типа); 4) характер вторичного типа говоров: переходный — смешанный, различающиеся спецификой свойственных им вариантов, в первом случае позиционно необусловленных, во втором — позиционно обусловленных; 5) диалектная принадлежность говора[1].

Л. М. Орлов (Волгоград) в докладе «Группировка волгоградских говоров» охарактеризовал диалектный ландшафт Волгоградской области, на территории которой вырисовываются два значительных ареала позднего формирования: южнорусские говоры Подонья, сформировавшиеся в донациональный период, и разнотипные смешанные говоры Поволжья, сложившиеся во второй половине XVIII в. Со спецификой истории образования этих двух групп говоров связываются принципиальные различия в их внутреннем членении. В докладе О. И. Блиновой (Томск) «О диалектной основе вторичного говора и методике ее изучения» дано обоснование самого понятия «диалектная основа переходного говора» и предложена методика ее выявления на материале среднеобских говоров.

Особую группу составили доклады, посвященные методам изучения говоров, актуальным как для развития диалектологии вообще, так и специально для изучения говоров поздней формации. В докладе С. В. Бромлей (Москва) «Некоторые предварительные результаты работы над фонетическим разделом сводного „Диалектологического атласа русского языка“» было охарактеризовано то принципиально новое, что внесло в изучение диалектных явлений русского языка картографирование их в масштабе всех его территориальных группировок (в пределах центра Европейской части РСФСР как территории древнейшего заселения). В частности, выход за рамки частных «томов» атласа (отдельных участков распространения русских говоров) позволил по-новому оценить возможности картографирования ряда тонких фонетических различий, как, например, типов редукции гласных или различий в губно-губной реализации /в/ ([ў] — [w]), картографирование которых в рамках небольших территорий представлялось бесперспективным. Положения доклада иллюстрировались картами по заударному вокализму после мягких согласных.

С. С. Высотский (Москва) в докладе «Об экспериментально-фонетическом изучении говоров» осветил работу сотрудников фонетической лаборатории Института русского языка АН СССР по созданию фондов физических характеристик звукового строя основных диалектных групп в процессе их приближения к литературному языку. Результаты акустического и артикулярного анализа, выраженные в конкретных величинах, представляют собой объективные характеристики фонетических явлений, часть из которых трудна для восприятия на слух. Описываются специфические трудности в

[1] Подробнее см. в следующем номере «Вопросов языкознания».

наблюдениях над диалектной речью, из чего вытекает необходимость разработки особых методов ее анализа. Сами понятия «полный стиль» и «норма говора», которым должна отвечать фиксация фактов речи, значительно осложнены по отношению к диалектам. Указывается на опасность смешения явлений фонетики с явлениями грамматики и лексики, что особенно часто имеет место при определении фонемного состава конкретных словоформ (ср. квалификацию различий в таких парах, как *тбнк'ий — тбнкъй* или *пасáдиш — пасбдиш*). Обращается внимание на важность различения «обратимых» и «необратимых» фонетических изменений (пример последних — цоканье), рекомендуется различать явления орфоэпии и ортофонии.

В докладе В. Г. Руделева (Тамбов) «Методы фонологического описания диалекта» говорилось о недостаточной емкости фонологических описаний, использующих понятие «дифференциальный признак» (анализирующие модели). Фонологическая модель анализа является лишь составной частью более сложной модели, обнаруживающей четыре состояния: исходное, анализирующее, синтезирующее и корректирующее. В связи с этим невозможно говорить о превосходстве какой-либо одной фонологической школы над другой, поскольку каждая из основных фонологических школ занималась разработкой модели только одного состояния фонологической системы.

Н. Н. Пшеничнова (Москва) в докладе «Статистический анализ диалектного материала, отражающего сосуществование членов междиалектного соответствия» изложила статистический метод анализа материалов, в которых в пределах одних и тех же говоров представлено сосуществование разных членов некоторого междиалектного соответствия. Метод позволяет относить рассматриваемые явления к одному из двух типов: явления, по которым выделяются группы говоров, каждая из которых по относительным частотам изучаемых признаков статистически однородна, а средние значения соответствующих относительных частот разных групп существенно различны, и такие явления, по которым группы выделить нельзя.

В докладе Е. В. Ухмылиной (Горький) «Специфика применения метода анализа лексико-семантических групп к изучению словарного состава народных говоров территорий позднего заселения» высказывается мнение о неприменимости дифференциального подхода к изучению словарного состава говоров позднего заселения и о необходимости составления полных тематических словарей таких говоров. В качестве единицы наблюдения предлагаются лексико-семантические группы, выделяемые в пределах данной лексической темы.

Специальное заседание было посвящено межъязыковым и междиалектным контактам. Данная проблема рассматривалась как в социолингвистическом, так и в собственно лингвистическом плане. Г. Я. Симина (Калининград) свой доклад «Формирование койне в разнодиалектной среде» посвятила проблеме формирования общего языка, служащего средством общения в условиях большой диалектной пестроты на ограниченной территории (Калининградская обл.). Показано, что создание койне в такой разнодиалектной среде, в говорах, оторванных от основного «материнского» диалекта,— живой процесс, особенно интенсивный в области фонетики и морфологии. Основой общего языка служит литературный язык в его разговорной форме. Иная социолингвистическая ситуация получила освещение в докладе Н. Г. Самсоновa (Якутск) «Русский язык и аборигенные языки Северо-Восточной Сибири».

В докладе А. И. Шалашовой (Целиноград) «К вопросу о фонетическом освоении заимствованных слов в территориально смежных говорах неродственных языков» был проанализирован процесс фонетического освоения башкирских слов (из говора айлинских башкир) носителями одного из русских говоров на северо-востоке Башкирии, с одной стороны, и процесс освоения русизмов в айлинском говоре, с другой. Т. Ф. Зиброва (Куйбышев) в докладе «Формирование диалектных и просторечных явлений в условиях диалектной пестроты» сосредоточила свое внимание на изучении диалектных явлений с точки зрения их устойчивости или мобильности в условиях диалектного контактирования. В докладе О. К. Сердюковой (Ростов-на-Дону) «К вопросу о взаимодействии русских говоров с языками других систем» рассмотрены результаты взаимодействия русского переселенческого говора казаков-некрасовцев с турецким языком.

Ряд докладов был посвящен описанию конкретных диалектных различий на разных языковых уровнях. В докладе Р. Д. Антоновой (Казань) «Акустическая характеристика гласных в говоре с неполным оканьем» были изложены результаты экспериментально-фонетического исследования вокализма говора, ранее описанного Богородицким. Г. С. Оксман (Новокузнецк) в докладе «Состояние и основные тенденции развития некоторых типов яканья в говорах территории позднего заселения» приходит к выводу о том, что предударный вокализм в говорах территории позднего заселения дает богатый материал для решения вопроса об условиях возникновения инноваций на основе закономерностей исходной системы. Т. И. Мурзаева (Саратов) в своем докладе «Гласные после шипящих в окающих говорах Поволжья» исследовала реализацию

гласных неверхнего подъема первого предударного слога после отвердевших шипящих в окающих говорах Саратовской области в сравнении с положением после парных согласных.

М. Н. Барабина (Куйбышев) в докладе «Изучение аффрикат в говорах Куйбышевской области» сообщила о результатах картографирования аффрикат и их соответствий в говорах данной территории. В докладе Е. Ф. Горбачевой (Волгоград) «О вариантах произношения в народных говорах» анализируется (на материале одного говора) использование вариантных речевых средств (главным образом «фонетические дублеты») в плане социально-языковой и функционально-стилистической дифференциации современных народных говоров. В докладе А. А. Скребневой (Челябинск) «Соотношение именительного и творительного в уральских говорах» рассматривается для шадринского говора количественное соотношение этих форм при глаголе *быть* во всех наклонениях, а также при полузнаменательных и знаменательных глаголах. Доклад Г. Г. Мельниченко (Ярославль) «Некоторые наблюдения над семантикой и словообразованием слов, обозначающих чердак над жилой частью крестьянского дома» содержал анализ слов со значением «чердак», отмеченных в говорах на территории быв. Владимиро-Суздальского княжества XII — начала XIII в.

В заключение был прослушан доклад В. Е. Гольдина (Саратов) «Организация диалектологической практики студентов 2-х курсов филологических факультетов».

Многие доклады, в особенности доклады Л. И. Баранниковой, О. И. Блиновой, О. К. Сердюковой, вызвали оживленные и содержательные прения.

На заключительном заседании были приняты решения, в которых подчеркивалась актуальность изучения говоров позднего заселения и необходимость регулярного (раз в три года) созыва совещаний по этой тематике.

С. В. Бромлей, Н. Н. Пшеничнова
(Москва)

•

11—12 апреля в Симферопольском гос. ун-те им. М. В. Фрунзе состоялась республиканская межвузовская конференция по проблеме «Русский язык в его связях с украинским и другими славянскими языками», созванная Министерством высшего и среднего специального образования УССР, Министерством просвещения УССР и Институтом языковедения им. А. А. Потебни АН УССР. Во вступительном слове ректор университета А. Ф. Переход отметил огромную роль русского языка в жизни многонационального советского государства.

На пленарном заседании были прослушаны и обсуждены доклады по проблемам общего и русского языкознания. В докладе акад. И. К. Белодеда (Киев) «Ленинское учение о развитии национальных языков и его воплощение в жизни народов СССР» были показаны успехи Союза ССР в языковом строительстве на разных этапах развития советского многонационального общества, которые являются результатом последовательного проведения в жизнь ленинской национальной политики. Процесс развития социалистических наций СССР способствует выработке в их языках известных черт общности определенных компонентов структуры, семантики и общественных функций.

Член-корр. АН СССР Ф. П. Филин (Москва) в докладе «Истоки русского литературного языка» аргументировал теорию, подтверждающую вероятность существования в древней Руси двух письменных языков: церковнославянского и собственно древнерусского, который был, главным образом, языком деловой литературы и устных, фольклорных источников [1]. В докладе Г. П. Ижакевич (Киев) «Роль русского языка как языка международного общения в национально-культурной и языковой жизни УССР» отмечалось, что русский язык на Украине функционирует параллельно с украинским, не подменяя его, не принимая на себя его основных функций как национального языка украинского народа. Специфика функционирования русского языка на Украине определяется генетическим родством русского и украинского языков, их лексической и структурной близостью. Параллельное функционирование на территории УССР украинского и русского языков приводит к различным формам русско-украинских и украинско-русских языковых контактов, практически охватывающим все слои населения, что в свою очередь интенсифицирует процессы русско-украинского языкового взаимодействия на Украине.

В работе шести секций приняли участие более 70 языковедов из 20 городов Советского Союза, а также преподаватели языковедческих кафедр местных вузов, студенты, учителя.

Значительное количество докладов и выступлений на конференции обеспечило детальное обсуждение как общетеоретических проблем взаимодействия русского языка с украинским и другими славянскими языками (Т. К. Черторижская, В. Г. Коломиец, Г. П. Пивторак, Н. П. Романова и др.), так и вопросов применения сопоставительного метода изучения русского, украинского и других славянских языков в области слово-

[1] Доклад опубликован в ВЯ, 1974, 3.

образования (В. А. Горпинич, А. Д. Зверев), словоизменения (А. П. Сазонов, Е. Н. Сидоренко), синтаксиса (А. А. Соловьева, В. М. Ронгинский, Н. Н. Арват, В. Н. Силина, И. Ф. Андерш, М. В. Симулик, В. И. Фурсенко, Л. С. Пастухова, А. Е. Киселев, Н. Г. Озерова, В. П. Забелина, Л. И. Демченко), лексико-семантических связей (В. А. Сиротина, А. В. Лагутина, А. А. Евграфова, А. И. Богуцкая), стилистики (М. А. Карпенко, Н. А. Вакуленко, Л. М. Стоян, В. Г. Фещенко, Н. П. Голубева, Л. И. Евдокимова).

В докладах были обсуждены способы взаимодействия восточнославянских языков, сделана попытка выяснения теоретических возможностей применения методов синхронии и диахронии в сопоставительном изучении современных восточнославянских языков, а также семантических предпосылок создания паронимических отношений в русском и украинском языках.

Значительный интерес вызвало обсуждение процессов стилистической нейтрализации в русском и украинском литературных языках советского периода, вопросов классификации семантических типов односоставных глагольных предложений в русском и украинском языках.

В некоторых докладах и выступлениях были показаны возможности сопоставительного метода в изучении истории языка (А. Н. Стеценко, В. Ю. Франчук, Я. А. Спринчак, Ю. Г. Скиба, С. Е. Морозова, Н. Г. Шелихова, Т. А. Гришенкова) и диалектологии (Е. И. Самохвалова, Е. А. Владимирская, В. В. Богачук, Ж. А. Закупра). Была предложена классификация древнейших типов сложносочиненных предложений, описаны особенности двуязычного взаимодействия в русских говорах на Украине.

В ряде докладов были рассмотрены вопросы методики преподавания русского языка в школах и вузах УССР (И. В. Муромцев, В. Н. Михайлов, А. С. Бровко, И. Ф. Нелюбова, Г. В. Павловская и Л. М. Черняк), освещались вопросы параллельного преподавания близкородственных русского и украинского языков, места и роли сопоставительного метода при обучении русскому языку в школах и вузах УССР.

На заключительном пленарном заседании были прослушаны отчеты руководителей секций, а также информационные сообщения члена-корр. АПН И. Ф. Протченко (Москва) о тематических планах Института русского языка АН СССР.

Конференция приняла резолюцию, в которой подчеркивалась необходимость дальнейшего укрепления координационных связей специалистов по русскому языку научных учреждений и высших учебных заведений УССР с Институтом русского языка, Институтом языкознания и другими языковедческими учреждениями АН СССР и союзных республик. Первоочередной задачей является создание в УССР печатного органа для публикации наиболее важных исследований по русскому языкознанию.

В. М. Ронгинский (Симферополь)

CONTENTS

Articles: V. Z. Panfilov (Moscow). Language, thought, culture; **Discussions**: N. Z. Gadžieva (Moscow). Goals and methods of Turkic areal linguistics; B. M. Zadorožnyi (Lvov). The history of language and extralinguistic factors; V. G. Admoni (Leningrad). The status of generalized grammatical meaning within the language-system; **Materials and notes**: K. S. Gorbačevič (Leningrad). Variability of the word as lexico-grammatical phenomenon; G. F. Blagova (Moscow). On the types and structural varieties of declension in Turkic languages; V. E. Ščetinkin (Novosibirsk). Evolution of tense-system of the indicative from Latin to French; N. A. Baskakov (Moscow). Origin of imperative-optative mood-forms in Turkic languages; **From the history of science**: D. S. Čanturišvili (Tbilisi). From the history of bilingual lexicography; **Reviews**; **Scientific life.**

SOMMAIRE

Articles: V. Z. Panfilov (Moscou). Langue, pensée, culture; **Discussions**: N. Z. Gadžieva (Moscou). Tâches et méthodes de la linguistique géographique appliquée aux langues turques; B. M. Zadorožnyi (Lvov). Histoire de la langue et facteurs extralinguistiques; V. G. Admoni (Léningrad). Le statut de la signification grammaticale généralisée dans le système linguistique; **Matériaux et notices**: K. S. Gorbačevič (Léningrad). Variabilité du mot comme phénomène lexico-grammatical; G. F. Blagova (Moscou). Contribution à l'étude des types et variétés structurales de la declinaison casuelle dans les langues turques; V. E. Ščetinkin (Novossibirsk). Évolution du système temporel de l'indicatif depuis le latin jusqu'au français; N. A. Baskakov (Moscou). Origine des formes du mode impératif et optatif dans les langues turques; **De l'histoire de la science**: D. S. Čantourišvili (Tbilisi). Quelques pages d'histoire d'une lexicographie bilingue; **Comptes rendus**; **Vie scientifique.**

The Editorial Board of the journal «Voprosy Jazykoznanija» expresses its appreciation to the Publishers who send us their books for review. The Editorial Board regrets that it cannot guarantee the reviewing of all the books received due to space limitations. Two offprints of each review will be sent to the Publishers. Books received are not returned.

*

Le Comité de rédaction de «Voprosy Jazykoznanija» tient à exprimer sa profonde reconnaissance à toutes les Maisons d'édition qui lui font parvenir leurs nouvelles parutions pour critique. Le Comité de rédaction ne peut pas garantir la publication d'un compte-rendu pour chaque livre reçu à la redaction. Les comptes-rendus seront publiés selon les possibilités de la rédaction. Deux tirages-à-part seront envoyés en ce cas aux Maisons d'édition respectives. Les livres reçus à la rédaction ne sont pas rendus aux éditeurs.

*

Die Redaktion der Zeitschrift «Voprosy Jazykoznanija» spricht allen Verlagen, die uns Rezensionsexemplare zukommen lassen, ihren tiefempfundenen Dank aus. Die Redaktion gibt bekannt, daß leider nicht alle bei uns einlaufenden Bücher besprochen werden können. Die Rezensionen werden den Möglichkeiten unserer Zeitschrift entsprechend veröffentlicht. Der Verlag erhält zwei Sonderabdrücke. Die von der Redaktion erhaltenen Bücher werden nicht an den Herausgeber zurückgesandt.

К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ

1. Рукописи должны представляться в двух экземплярах; текст и подстрочные примечания обязательно должны быть напечатаны на машинке через два интервала. После подписи указываются сведения об авторе: фамилия, имя, отчество, место работы, занимаемая должность, ученая степень, домашний адрес, телефон.

2. Объем статьи не должен превышать 24 стр., объем рецензии — 10 стр. машинописи.

3. Все цитаты и ссылки в статье должны быть тщательно выверены по первоисточникам.

4. При ссылках (в тексте и сносках) необходимо придерживаться порядка: автор, название книги или статьи, название издания (для статьи), заключенное в кавычки, место издания, год издания, страницы. (Страницы, определяющие границы статьи в издании, указываются лишь в критико-библиографических обзорах.)

5. Все примеры на иностранных языках должны быть снабжены переводами. Примеры в журнале принято давать курсивом (подчеркивать в рукописи волнистой чертой), а значения их в кавычках.

6. Все формулы и буквенные обозначения величин должны быть четко выполнены чернилами (следует делать ясное различие между заглавными и строчными буквами).

7. Рисунки должны быть тщательно выполнены тушью: чертежи, сделанные карандашом, не принимаются. Не рекомендуется загромождать рисунок ненужными деталями, все надписи должны быть вынесены в подпись, а на рисунке заменены цифрами или буквами. На полях рукописи указывается место рисунка, а в тексте делается на него ссылка. Фотографии принимаются в двух экземплярах (второй для редакции и ретушера в качестве контрольного). При изготовлении клише величина оригинала уменьшается в два — три раза, поэтому фотографии должны быть четкими и контрастными. Фотографии, выполненные в малом размере и нечетко, не принимаются. На обороте каждого рисунка должны быть проставлены фамилия автора, заглавие статьи и номер рисунка. Статью не следует перегружать графическим материалом.

8. Непринятые рукописи, как правило, не возвращаются.

9. Статьи, опубликованные или направленные в редакции других журналов, не принимаются (за исключением раздела «По страницам зарубежных журналов»).

10. Хроникальные заметки должны представляться в редакцию в течение двух месяцев с момента описываемого события в лингвистической жизни. Объем хроникальной заметки — 3—5 стр.

Технический редактор *Т. Н. Сенченко*

Сдано в набор 28/X-1974 г. Т-03009 Подписано к печати 14/I-1975 г. Тираж 7130 экз.
Зак. 1307 Формат бумаги 70×108¹/₁₆. Усл. печ. л. 14,0 Бум. л. 5 Уч.-изд. л. 15,2

2-я типография издательства «Наука». Москва, Шубинский пер., 10